

ISSN 0130-9500

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1981

1

10.3.57
1981

8



**С Новым
годом,
дорогие
друзья!**

10.335/3
1981



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

06.1935940
2023.0110333

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

Высокая ответственность. Беседа с председателем
правления Союза писателей Грузии, Героем
Социалистического Труда **ГРИГОЛОМ АБА-**
ШИДЗЕ. Беседу вела Л. Браиловская . . . 3

ПОЭЗИЯ

ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ. Стихи. Перевод Юрия
Анохина . . . 10
КОЛАУ НАДИРАДЗЕ. Баллада о Цинандальском
саде. Перевод Натальи Орловой . . . 29
ГУРАМ ПЕТРИАШВИЛИ. Стихи. Перевод Да-
ниила Чкония . . . 104

ПРОЗА

РЕЗО ЧЕЙШВИЛИ. Ветер доносит музыку. Пере-
вод Гины Челидзе . . . 12
ТАМАЗ БИБИЛУРИ. Помоги! — сказал он. Роман.
Перевод Ушанги Рижинашвили . . . 39

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

ВЛАДИМИР ОСИНСКИЙ. Сердце города. Очерк. 114

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Вскрывая корни зла,
именуемого алчностью . . . 132

1

1981

ГУРАМ БАТИАШВИЛИ. По пути духовного обновления	140
КАМБАРАЛЫ БОБУЛОВ. Шота Руставели и Аلكул Осмонов	148
СЕРГО ТУРНАВА. Зарубежная пресса о грузинском ученом	163



РЕЦЕНЗИИ

АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ. Рядом с писателем	169
АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ. Да здравствует Кандудос!	174
ЛЕРИ АЛИМОНАКИ. Возвращение к истокам	179
ПАВЕЛ НЕРЛЕР. О совести, или о неправоте правых	183
АРСЕНТИЙ СТРУК. Локатор души	186

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

ХАЧИМ КАУФОВ. И были люди только единым народом...	189
--	-----

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СИМОНА ДЖАНАШИА

СИМОН ДЖАНАШИА. Грузинка в эпоху Руставели	196
--	-----

НАУКА

ПААТА НАЦВЛИШВИЛИ. Скрипки на стекле или хвост леопарда. Перевод Тамары Папалашвили	200
---	-----

ИСКУССТВО

КЕТЕВАН КИНЦУРАШВИЛИ. О грузинской школе сценографии	212
ВИКТОР ДЕМИН. Притча о лесе	215
ХРОНИКА	219
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	222

ВЫСОКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БЕСЕДА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ, ГЕРОЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА ГРИГОЛОМ АБАШИДЗЕ

— Ушел в историю год 1980-й. Что, по вашему мнению, Григол Григорьевич, было в нем наиболее значительного и интересного в жизни нашей республики, в процессе развития грузинской литературы?

— Начнем с такого знаменательного факта в жизни Грузии, как большая трудовая победа — досрочное выполнение пятилетнего плана по всем показателям, и, в связи с этим, теплое, дружеское приветствие Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева.

Мы уже привыкли к тому, что каждый уходящий год приносит нам успехи: семь лет подряд республика выходит в ряды победителей Всесоюзного социалистического соревнования, семь раз подряд она получает переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Наши виноградари, чаеводы, строители Ингури-ГЭС и других важных объектов пятилетки, все труженники республики с невиданным трудовым подъемом и творческим энтузиазмом сделали почти невозможное: за сравнительно короткий срок Грузия стала одной из самых передовых среди братских республик страны. Приятно констатировать, что в этом успехе есть значительная доля усилий и наших писателей, работников искусства.

В самом деле, лучшие произведения наших писателей, спектакли наших театров, фильмы наших режиссеров, выставки наших художников, музыкальные произведения наших композиторов сыграли немалую роль в новом взлете всеобщего трудового энтузиаз-

120.256

ს. ბატაგაძის ბიბ. ნ. 1. 66/1

ма, и это неоднократно отмечалось с трибун самых высших форумов.

Невиданная мобилизованность всех творческих сил республики, исключительная организованность деятельности всех звеньев промышленности и сельского хозяйства обеспечили эти успехи.

ЦК КП Грузии, выполняя известные постановления ЦК КПСС по Грузинской партийной организации, сумел добиться первым долгом оздоровления морально-политического климата в республике, и та общая творческая обстановка, которая установилась в повседневной жизни нашего народа, благотворно повлияла на развитие у нас литературы и искусства.

Глубокая заинтересованность руководства республики в активизации творческих сил, повседневная большая помощь и забота партии принесли прекрасные плоды: и грузинская литература, и грузинское искусство могут гордиться тем, что они шли в ногу со временем, во многом способствовали всему, что привело нас к этим важным победам.

На фоне общих больших достижений писателей Грузии трудно выделить вклад, внесенный отдельными представителями литературы и искусства. Но мне все же хочется привести несколько фактов.

В минувшем году Нодар Думбадзе стал лауреатом Ленинской премии, и мы восприняли это как признание заслуг не только его личных, но и всей грузинской литературы. Автор ряда замечательных романов, которые так искренне полюбил советский читатель, Нодар Думбадзе пришел к успеху путем неустанного писательского труда, вдохновленный трудовыми победами родного народа.

Таким же радостным событием нашей литературной жизни стало присвоение звания Героя Социалистического Труда Ираклию Абашидзе.

Одним из значительных событий в нашей культурной жизни последних лет мне представляются достижения Академического ордена Ленина драматического театра им. Ш. Руставели, огромный резонанс, вызванный известными постановками Роберта Стуруа, их высокая оценка у советской и зарубежной театральной общественности.

Я не буду перечислять всех романов, рассказов, стихотворений и поэм, которые также получили большее признание как у грузинского читателя, так и у все-союзной читательской аудитории, но не могу обойти вниманием работу последних лет нашего маститого прозаика Константинэ Лордкипанидзе, активно включившегося в процесс обновления организации сельскохозяйственного производства республики. Его произведения «Что произошло в Абаше» и «Горец вернулся в горы» — замечательные образцы художественной публицистики, которая так нужна сейчас читателю и поистине вступила ныне в период своего возрождения.

— В канун 1981 года был опубликован особой важности политический документ — проект ЦК КПСС «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года» для всенародного обсуждения в преддверии большого исторического события — XXVI съезда КПСС.

Как вы расцениваете значение этого документа для развития литературы, культуры, искусства?

— «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года» — это выдающийся исторический документ, который весь советский народ встретил с горячим одобрением и изучает с огромным вниманием и интересом.

Мое поколение привыкло к тому, что жизнь наша идет и развивается дорогами пятилеток, несущих нашей стране прогресс во всех сферах материальной и духовной жизни. И одиннадцатая пятилетка тоже призвана обеспечить укрепление экономической мощи и обороноспособности нашей Родины, новый подъем благосостояния советского народа. Каждый писатель, каждый творческий работник может и должен найти для себя в этом документе точный ориентир, точку приложения собственных сил, источник энергии для своей будущей работы.

— Среди знаменательных событий нового, 1981 года будет и IX съезд писателей Грузии, на котором предстоит подвести итоги нашей «литературной пятилетки». Каковы основные ее достижения?

— Пять лет для литературы — срок небольшой и, казалось бы, материала для обстоятельного, серьезного разговора о ее развитии не так уж много... Но, к

счастью, должен отметить: именно за эти пять лет грузинские писатели поработали так плодотворно и вдохновенно, что накопился очень богатый материал для важного разговора.

Мы имеем сегодня весьма значительные произведения — как в прозе, так и в поэзии, созданные на современном и историческом материале, которые уже стали предметом всесоюзного обсуждения.

Эти произведения заслуженно снискали одобрение читателей, всесоюзной прессы и критики. Так что съезд обещает быть интересным и содержательным.

Приятно отметить, что в единый процесс развития многонациональной советской литературы грузинские писатели вносят свой самобытный, весомый вклад.

— Мы часто говорим о неразрывной связи литературы с действительностью. Расскажите, пожалуйста, об участии писателей в различных событиях в жизни республики, их дружбе с коллективами промышленных предприятий, колхозов и совхозов, НИИ, о читательских конференциях или переписке с читателями.

— Разговор о том, что грузинские писатели идут в ногу с событиями, совершающимися в республике, — не просто фраза.

В Грузии нет сейчас такого объекта пятилетки, большой стройки, совхоза, колхоза, где происходит что-либо новое и значительное и куда не проникал бы заинтересованный взгляд литератора.

Можно было бы привести много конкретных примеров. Будь то осушение Колхиды или орошение Алазанской долины, строительство животноводческих комплексов, которое в последние годы приняло в республике особый размах, виноградарское или чаеводческое хозяйство — везде находятся сегодня наши писатели. Они изучают методы труда передовиков, пристально наблюдают за их деятельностью и стараются своевременно, «по горячим следам» откликнуться на них своим вдохновенным словом.

И не упомянул здесь о том, что писательские бригады почти ежедневно встречаются в селах и городах с коллективами тружеников нашей республики и своими искренними выступлениями стараются вдохновить их на новые трудовые подвиги. Хочу отметить и то, что Союзу писателей Грузии выделены значительные суммы на долгосрочные творческие командировки, которые

помогают писателям серьезно и всецело отдаться своей увлекательной работе, оставаясь надолго в той среде, откуда они выбирают героев для своих произведений, для своих будущих книг.

— В приветствии участникам недавней Всесоюзной творческой конференции «Дружба народов — дружба литератур», состоявшейся в Баку, тов. Л. И. Брежнев, призывая писателей воспитывать в читательских сердцах «деятельную гражданственность», усматривал в этом наиболее важную сегодня общественную и одновременно духовную и нравственную задачу.

Как вы расцениваете ее применительно к нашей грузинской литературе?

— Гражданственность, служение народу — это прекрасная традиция как для русской, так и для грузинской литературы.

В прошлом году мы торжественно отметили юбилей замечательных сынов грузинского народа Давида Гурамишвили, Акакия Церетели, а несколько раньше — Ильи Чавчавадзе. Уроки классиков учат нас быть всегда с народом, жить его интересами, быть выразителями его чаяний, лучших устремлений. Страстная гражданственность, как никогда ранее, нужна сегодня нашей литературе. События, развернувшиеся за последние годы в Грузии после известных постановлений ЦК КПСС, призывали к этому наших прозаиков, поэтов, драматургов. Воспитание нового человека, человека подлинно коммунистической морали, — это главная задача художника слова. Я думаю, что грузинские писатели хорошо понимают эту свою задачу и делают все, что в их силах, для того, чтобы быть на уровне высоких требований Народа, Родины, Партии.

— Не считаете ли вы, Григол Григорьевич, что обращение многих писателей к историческому прошлому, характерное для современной литературы, объясняется именно остро развитым чувством гражданственности, поскольку без знания прошлого нельзя постичь настоящее, до конца понять, что есть Родина, судьба народа?

— Конечно, обращение грузинских писателей к историческому материалу не случайно. Такие древние народы, как, например, грузины или армяне, не могут жить только сегодняшним днем. В нашей жизни немалое место занимает интерес к славному историческому прошлому. Развалины древних крепостей, тысячелетние храмы, которые встречаются у нас на каждом шагу,

для грузина не только пейзаж, но часть его души, стимул для его формирования и развития.

Грузинская литература имеет немало заслуг в том, что наш народ перед лицом бесконечных нашествий иноземных захватчиков боролся не только за свое физическое существование, но и отстаивал родной язык, свою самобытную культуру.

Конечно, сегодня, когда писатели обращаются к историческому материалу, они ищут такие примеры из прошлого своего народа, которые были бы созвучны настроениям современников. Они нацеливают внимание на такие моральные факторы и героические поступки предков, которые станут для новых поколений ярким примером для подражания, помогут воспитанию молодых людей стойкими, честными, самоотверженными, нравственно чистыми, выше всего ставящими интересы народа, интересы Родины.

— Компартия Грузии объявила непримиримую войну всяческого рода негативным явлениям — карьеризму, стяжательству, взяточничеству, спекуляции, расхищению народного добра. Как выразилось участие грузинских писателей в этой борьбе?

— Все мы давно и, можно сказать, небезуспешно включились в ту борьбу, которую ведет Компартия Грузии против всяких извращений, еще имеющих место в жизни республики, против всяких антиподов социалистической морали.

Опять-таки я не стану перечислять те книги, в которых ставятся эти проблемы и которые давно обрели популярность среди читателей.

Можно смело сказать, что главным пафосом наших произведений за последние годы явился именно показ борьбы народа за коммунистическую мораль, за утверждение самых высоких нравственных категорий.

— Одной из важнейших черт грузинской литературы всегда были ее интернационалистский дух, традиции прочных контактов с братскими литературами. Как они будут развиваться в дальнейшем?

— Грузинская литература гордится тем, что ее считают летописью жизни нашего народа. В самом деле: и в прошлом, и в настоящем она жила тем, что в своих лучших произведениях отражала жизнь народа, его борьбу и неустанный труд во имя светлого будущего.

Это будущее было завоевано нашим народом, его активным участием в революционной борьбе, которая

30095940
302.02.0110333

привела к установлению Советской власти в Грузии. В борьбе за нее народ наш еще больше сблизился со всеми другими народами великой Страны Советов во главе с русским народом.

Наш народ готовится к празднованию 200-летия трактата о добровольном присоединении Грузии к России. Значение этого юбилея трудно преувеличить.

Наши писатели активно готовятся принять самое деятельное участие в праздновании этого исторически важного для нашего народа события. Весной этого года мы будем проводить дни литераторов Ленинграда в Грузии, и это будет преддверием и началом многих важных мероприятий, которые мы планируем в связи с 200-летием исторического русско-грузинского трактата. Чувство интернационализма, которое всегда было характерно для грузинской литературы, еще больше развилось, углубилось и стало знаменем не только в борьбе за новую жизнь, но и в строительстве социализма. Идеей дружбы народов всегда была проникнута наша литература — начиная еще со времен Руставели.

Но братство между народами, чувство семьи единой укрепилось в нас еще больше именно тогда, когда представители всех национальностей стали свободными хозяевами своей судьбы.

Патриотизм и интернационализм — те основные категории, которые движут развитием всей многонациональной советской литературы.

В ее многоголосье голос грузинской литературы вносит свое, неповторимо национальное и вместе с тем органически вливающееся в общий поток советской литературы.

Верность традициям классиков и стремление всегда быть в гуще событий — именно та черта грузинской советской литературы, которая делает ее насущно необходимой в жизни нашего народа.

Этим и оправдано то огромное уважение и любовь, которыми окружена грузинская литература, этим и определена ее высокая ответственность перед родным народом.

Беседу вела Л. БРАИЛОВСКАЯ


МОЯ ЛЮБОВЬ, О ГРУЗИЯ МОЯ!

Поднять тебя,
 как чашу,
 утром ранним,
 Чтоб ярким солнцем
 вспыхнули глаза
 И распахнулись двери
 всех марани,
 Где сок лозы бушует,
 как гроза!
 Воспеть твой путь,
 ведущий к гордой цели,
 И славные свершенья,
 и дела,
 Чтоб хлынули
 потоком «Ркацители»
 Поэзии
 высокие
 слова!
 Достичь с тобой
 такого совершенства,
 Чтоб о тебе,
 как колокол,
 гремять,
 Чтоб не было бы
 высшего блаженства —
 Лишь для тебя
 и жить,
 и умереть!
 Бурли и пой!
 Греми своею славой!
 Я без любви к тебе
 давно б зачах,



Ей нет преград —
 высокой,
 величавой,
Она ликует —
 в песнях
 и стихах!
И пусть звенит вокруг
 созревшей нивой,
И пусть летит
 в далекие края
Песнь о тебе,
 свободной и счастливой,
Моя любовь,
 о Грузия моя!

Перевод Юрия АНОХИНА

ВЕТЕР ДОНОСИТ МУЗЫКУ

* * *

ДЕНЬ был теплый, безветренный. Вокруг стояла тишина. Осеннее солнце пронизывало пожелтевшие листья. Откуда-то издалека, словно из пустоты, кричали петухи... Я сидел во дворе своего дома в ворохе палой листвы прямо на теплой земле. Сын мой собирал разноцветные осколки кремня. Делал он это так же, как и я когда-то, в этом же самом дворе, много лет назад. Дома этого тогда еще не было. Он только начинал строиться. Был вырыт котлован, закладывался фундамент.

...Сын мой прислушался к чему-то, замер на мгновение и сказал: «Все, что я вижу и слышу, мне кажется не настоящим, мне кажется, все это уже было когда-то».

...Кто знает, может быть, действительно все это уже было когда-то... А может быть, и не было?..

Когда-то, так же как и сегодня, был удивительно теплый безветренный день. Так же, как и сегодня, мир, казалось, объят был сном. Я стоял один-одинешенек среди пожелтевших листьев под ветками голых деревьев и чувствовал, что существую в чем-то большом и непонятном. Как отчетливо я помню этот день! День, с которого начинаются мои воспоминания, ясные и запутанные, как нескончаемый сон.

У нас был довольно большой для города двор. Мои небогатые родители задумали построить дом соразмерно величине двора тоже большой. И хотя с тех пор

прошло уже добрых сорок лет, строительство дома все еще не закончено.



Красноватая земля, вырытая из котлована, была насыпана вдоль фундамента. Каменщик воздвигал стену. На низких лесах у основания стены сушались двое чернорабочих. В одном углу двора была навалена груда кирпича и ломаного камня. В те дни к нам во двор втащили каштановые бревна. Их везли сюда на плоту из Лечхуми до всячего моста.

Сами мы снимали квартиру в доме Саджая. Длинный продолговатый двор наш тянулся от лестницы саджаевского дома до самого перекрестка на Военной дороге. Из окна был виден наш дом, весь в лесах, резная калитка на толстых каштановых столбах, стройное, молодое ореховое дерево, которое необычайно быстро росло вместе со мной.

В тот год, как мне запомнилось, в нашем дворе в первый и последний раз посеяли кукурузу. Она буйно разрослась, золотилась, желтела. Посреди кукурузного поля проходила тропинка. Был день отдыха, на строительстве никто не работал. Калитка была на засове, леса заброшены. Я шел по тропинке среди желтеющей густой кукурузы и ощущал необычайное тепло и тишину вокруг. Огромное небо синело надо мной, и я был совсем один под этим большим необъятным сводом.

Воспоминания бледнеют, становятся нежнее, когда близок конец. Каким-то странным образом ощущение конца сближает тебя с началом. Начало же и конец с одинаковой быстротой несутся навстречу друг другу на одном из отрезков жизни.

МАЛЬЧИК В ИМЕРЕТИНСКОЙ ШАПКЕ

У АЛЕКСАНДРЕ была самая большая в городе арба и, наверное, самые сильные буйволы. «Машина не вмещала в себя столько тяжести», — вспоминают у нас и сегодня. Красные кирпичи доверху заполняли кузов арбы. Посмотришь — душа радуется. Здоровые буйволы с белой пеной на губах, чуть согнув крепкие шеи, легко втаскивали поскрипывающую арбу на пригорок, который начинался у самого порога калитки и заканчивался чуть ли не в двух ша-

гах от нее. С одного бока арбы был прикреплен ¹ ~~гор~~ с маслом для смазки колес, с другого — матари или хапи, которое в старину называли охимора¹. В этом ² ~~самом~~ хапи всегда было вино. Александре время от времени прикладывался к нему и несколькими глотками чистого вина освежал себе горло. Иногда он пил прямо на ходу. И пить он умел с удовольствием, и есть. Не раз мне приходилось наблюдать его во время обеда у нас. Крупными негнушимися пальцами брал он со стола еду и в один присест съедал свою долю. Обмакнув в миску с фасолью огромный кусок кукурузной лепешки, он бесшумно перемалывал его железными челюстями.

У этого самого Александре был сын, старше меня года на два или на три. Он то ли не учился вообще, то ли пропускал занятия в школе, только следовал за отцом повсюду и зачастую даже погонял буйволов с прутом в руке. Ходил он в чувяках с отворотами, в брюках, заправленных в шерстяные носки, и в рубахе навывпуск.

На голове у него была папанаки². Выражение лица было всегда озабоченное, взгляд — обалделый. Он удивлялся, что я ничем не занят, считал меня бездельником и избалованным мальчишкой. Порой он утасовлялся на меня не мигая, и в этом бессмысленном любопытстве, я чувствовал, таились зависть и неосознанная ненависть. Он никогда не обижал меня ни словом, ни делом, и все-таки я его боялся. Правда, я и виду не подавал. Не ссорился с ним, не дичился его, насколько это было возможно.

Как-то раз в лунную ночь, перед тем как заснуть, я вдруг встал с постели и вышел на балкон саджаевского дома. Еще не дойдя до перил, сквозь щели дощатого пола, я увидел сына Александре. В своей неизменной шапочке, в брюках, заправленных в носки, с палкой в руке он стоял под балконом, как-то странно застыв на месте. Я закричал. На крик выбежали перепуганные родители.

— Там, — говорю, — внизу сын Александре, — наверное, тогда я назвал его по имени, сейчас я уже не помню, как звали этого мальчика, — он окаменел!..

¹ Матары, хапи, охимора — сосуд для вина из поллой тыквы.

² Папанаки — имеретинская войлочная шапочка.

— Как это окаменел? — удивились родители. — **Что**
за глупости! Как может человек окаменеть?



— Окаменел он или застыл на месте, не знаю, — говорю я, — только стоит он сейчас там, внизу. Скорее всего, окаменел, — повторял я, уже не совсем хорошо понимая значение этого слова. Да и в достоверности своего заявления я уже сильно сомневался.

Мне, конечно, не поверили, но, вероятно, для того, чтобы успокоить меня, родители спустились вниз с зажженной лампой в руках. Внизу, как и следовало ожидать, никого не оказалось. Уже тогда, когда, уцепившись за подол материнского платья, я спускался за ней по лестнице, я знал, что там, под балконом, никого не увижу.

Меня снова уложили в постель. Я долго ворочался, не мог уснуть. Слышал, как родители, думая, что я сплю, шептались насчет нервной природы своего ребенка. В дверь, специально оставленную приоткрытой, проникал свет, создавая на стене причудливые картинки. Широко раскрыв глаза, смотрел я на стенку и никак не мог успокоиться. Я знал, что это тени, что бояться их не надо, и все-таки мне было страшно.

Наутро пришла весть о том, что сын Александре за день до этого утонул в Риони, недалеко от парома, в том самом месте, где тогда еще начинали строить новый мост.

С того дня я уже никогда больше не видел и самого Александре. А вскоре и арбы перестали появляться на улицах нашего города.

ГДЕ-ТО ИГРАЕТ МУЗЫКА

СОЛНЕЧНЫЙ, ветреный день. Ветер кружит сухие листья. Сметает их то в один угол, то в другой. Я бегаю во дворе по сухой листве, среди желтизны, на солнце и на ветру. Вижу, как мелькает и преломляется моя тень на дереве и на заборе. Может ли быть что-нибудь лучше этой бездумной бесцельной беготни на ветру по сухой листве. Хорошо, когда ты совсем один бегаешь в солнечный день на ветру. И я бегаю, бегаю, не останавливаясь.

Меня зовут в дом, я не иду.

— Не бегай на ветру, а то опять разболится ухо.

— Ну и пусть разболится!

И я снова бегаю, а вокруг ветер и солнце, и тени. Вверх и вниз раскачивается ветка с несколькими упрямо уцелевшими на ней листочками.

Ночью, перед сном, у меня, как и следовало ожидать, разболелось ухо. К больному уху мне прикладывают завернутую в лоскут подогретую соль, обматывают голову, тепло укутывают, но все напрасно. Ухо не перестает болеть. Я обхватываю руками мягкую пуховую подушку и зарываюсь в нее. Мне советуют не шевелиться. Тогда, мол, сумеешь уснуть, но я знаю, что это неправда. Спать мне не хочется. Да и возможно ли уснуть, когда болит ухо.

— Сам же говорил: «Ну и пусть разболится». Чего же ты сейчас плачешь?! — сердится мама.

— Я говорил, пусть снаружи разболится, а чтоб внутри болело, я не хотел! — отвечаю я, обливаясь слезами. Никто не понимает меня, никто не жалеет.

И снова день.

Снова солнце, снова ветер. Тени облетевших деревьев испещрили весь двор. В воздухе летают одинокие трепещущие на ветру листья. Качаются голые ветки. С обмотанным ухом сижу я у письменного стола и смотрю в окно. Вижу балкон саджаевского дома, наш двор, большое ореховое дерево, стены строящегося дома, низкие леса, ворох листьев у основания стены, комья вырытой из котлована красной земли. Ветер свистит, гонит сухие листья, осыпает ими лестницу и перила балкона саджаевского дома. Откуда-то доносится звук трубы. Наверное, где-то во дворе стоит одинокий музыкант и играет. А может быть, это военные маршируют на плацу, или же просто кто-то развлекается. Нужна ли музыка, когда дует ветер? Скорее всего, мне это слышалось. Во всем виновато больное ухо. Но нет, не слышалось. Откуда-то правда доносится музыка. Ветер разносит ее звуки вместе с желтыми порхающими в воздухе листьями.

...Голос трубы умолк. Ветер уже не доносит его до моего слуха. Только сам он по-прежнему воеет, надрывая мне душу. Перестало расти ореховое дерево. Никто уже не строит нам дом. И никто не играет на трубе. В окно я вижу печальную картину. Несмотря на то, что

дует ветер и светит солнце. А в общем-то скучно жить на свете. Особенно когда у тебя болит ухо, да к тому же внутри.

ОПАСНЫЙ ДВОР

ОДНАЖДЫ свалился мне на ногу кирпич с лесов. Два раза на одно и то же место. Рабочие меня предостерегали, говорили, чтоб я убирался подальше, искал бы себе другое место для игр.

Как-то я оступился, покатился и еле удержался, уцепившись за леса. В тот же день я, как нарочно, напоролся на ржавый гвоздь. С ободранной голенью прокрался я в комнату и залепил рану клочком газеты. Родители заметили это, создали из этого целое дело. Решили отвести меня в больницу, надо, мол, сделать укол против заражения. Услышав про укол, я словно обезумел и пустился в рев. Меня спросили, почему я ору. — Как это почему, — отвечаю я, — ору потому, что болит. А гвоздь этот был совершенно новенький, блестящий, — говорю я, — вовсе он не был ржавым.

— Если ты так боишься укола, что просто разум теряешь со страху, играй где-нибудь в другом месте, — советуют мне родители. — Можешь не беспокоиться, этот дом построят и без твоей помощи.

— ...И вообще, чтоб больше не видели тебя во дворе! — уже всерьез сердится мама.

Кажется, мне удалось избежать укола, и теперь я уже ни за что не спущусь во двор. Сижу на балконе и смотрю на строящийся дом, на каменщика на лесах. Какой все-таки у нас ненормальный двор, нельзя пройти по нему спокойно, опасность подстерегает тебя на каждом шагу. Надо быть более наблюдательным и осторожным. Неплохо бы иногда пошевелить мозгами, рассуждаю я про себя и, положив подбородок на перила, смотрю вниз. Через некоторое время я встаю и снова спускаюсь во двор. Спокойно, не спеша обошел я ореховое дерево, приблизился к лесам, даже не посмотрев в сторону калитки, повернул обратно. Посреди двора я увидел оставшийся с прошлой осени, косо срезанный стебель кукурузы. Можно ли, чтобы посреди двора торчал сухой стебель? А если кто-нибудь споткнется об него, уколется им руку или, что еще страшнее,

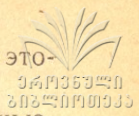
голову? Надо вырвать его отсюда. Я стал тянуть его. Ничего не выходит. Забетонировали его, что ли? ^{Соседская} Собака твякнула на меня из другого двора. Подошла к самому плетню и скалит зубы. Этого еще не доставало. Мне уже нельзя спокойно пройти по своему собственному двору, нельзя нагнуться, дотронуться до камня, вырвать высохший стебель из земли. Эта собака все время следит за мной. Хотя бы имя у нее было нормальное, а то назвали «Мурия». У нас каждая собака Мурия¹. Почему она меня пугает, хотелось бы знать! Захочу — вырву этот стебель, захочу, оставлю, захочу, хоть я и не собирался этого делать, запущу им в голову этой Мурии, пусть потом бесится. Пусть рычит и лает до тех пор, пока не лопнет, все равно ей не перепрыгнуть через ограду. Я схватил палку и стал колотить ею по прутьям плетня. Мурия осатанела, кинулась к ограде. А вдруг она возьмет и перепрыгнет через нее, или же найдет себе лазейку, что мне тогда делать? Она же проглотит меня живьем. Нет, не сможет перепрыгнуть. И лазейки нигде нет. Не надо подавать виду, что мне страшно. Если станешь убегать, она накинется на тебя и изорвет в клочья. Такая у них порода. Поэтому надо самому нападать. Врага надо побеждать в его собственной берлоге! Мурия еще больше озверела, просто охрипла от лая. Стебель вместе с корнем и с присохшей к нему землей пошли бы ей сейчас впрок. И вот я уже двумя руками ухватился за стебель. Увидев это, собака просто взбесилась.

...Гавкай, пока не лопнешь, сейчас узнаешь, где раки зимуют!..

Тяну стебель из последних сил и... уже смотрю на свою испорченную окровавленную ладонь. Нет уже ни боли, ни страха, ни слез. Это поражение, я чувствую, хуже и страшнее и слез, и боязни, и боли. Даже Мурия перестала лаять. Просунула голову между прутьями и молча смотрит на меня одним глазом. Интересуется, в чем дело. На, смотри, что со мной случилось, из-за тебя все это!

В вестибюле поликлиники я вспоминаю, что произошло. Не знаю, как быть. Слезы — наилучшее сред-

¹ Мурия — от грузинского слова «мури» — сажа.



ство от боли и страха, но я понимаю, что не стоит этого делать, во всяком случае сейчас.

С зашитой и перевязанной ладонью и голенью, с заплаканными глазами возвращаюсь я в свой двор. Вечереет, солнце садится. Багровые сумерки окутывают дома и дворы. Странно, как этот гладкий стебель вспорол мне ладонь. Я глубоко вздыхаю и вижу Мурию, которая удивлена не меньше меня — она обнюхивает как раз тот самый стебель, об который я поранил себе ладонь. Однако как она сюда проникла? При виде меня она сразу же наострила уши, кинула взгляд в сторону моей перевязанной руки, поджала хвост, побежала и пролезла через дыру в том самом месте, откуда она, взъерошенная, лаяла на меня и даже собиралась съесть. Оказывается, у нее там была большая лазейка, да еще в довольно видном месте. И через эту дыру Мурия может гулять взад и вперед, когда ей вздумается.

Спокойно жить в этом дворе нельзя. На каждом шагу тебя ждет ловушка. Никак не получается избежать опасности, как бы ты этого ни хотел. А разве усидишь дома, разве может живой человек не выходить из комнаты. В первую очередь надо заделать дыру в ограде, все остальное как-то уладится само собой.

Мурия стала приходиться в мой двор, когда меня не было, встретившись же со мной, она убегала, пряталась за ограду, просовывала морду между прутьями и одним глазом участливо поглядывала в мою сторону. Не тявкала больше, не рычала и всячески старалась убедить меня в своей порядочности, и тем не менее в бесстрашии ее собратьев я уже давно усомнился.

ТЕНИ В КОЛОДЦЕ

МЕНЯ оставили в Цагвери в детском лагере отдыха. Оказавшись там почти самым маленьким, был сдан на попечение двух старшеклассниц и одной женщины, в обязанности которой входило присматривать за детьми. Она то ли приходилась нам родственницей, то ли была подругой нашей родственницы, сейчас я уже не помню. Девочки, взявшие на себя опеку надо мной, первое время сами казались растерян-

ными и испуганными, но вскоре освоились и, если мне не изменяет память, забыли о моем существовании.

Как-то раз нас всех повели куда-то фотографироваться. На следующий день фотограф принес готовые фотоснимки, которые приобрели все, кроме меня. Брали по одной фотографии, по две, а кое-кто, наверное, и сразу десять. У меня не было денег, никого я не побеспокоил, обо мне тоже никто не побеспокоился, и вышло так, что я остался ни с чем. В тот день все носились с этими снимками до самого вечера. Наверное, мне было очень досадно. Ночью в постели перед сном я погоревал немного, но потом уснул и даже во сне увидел что-то, связанное с этим фактом.

На второй день я шел по коридору и вдруг на полу увидел одну из этих фотографий, разорванную на мелкие кусочки. Я невольно наклонился, подобрал один из кусочков и наткнулся прямо на свое изображение. Словно кто-то нарочно вырвал меня оттуда. С обрывком фотографии в руке я присел на скамейку. Сажу и смотрю на свое изображение. Я и сейчас его вижу перед собой, вижу смутно и отчетливо.

...Я смотрелся в колодец когда-то. Помню, как я еле дотягиваюсь до краев его сруба.

Приподнявшись на цыпочки, смотрю на поверхность воды и вижу свою тень. Интересно, в какое время дня отражается ребенок в колодце? Бросаю в воду кусочек извести. Изображение разбивается, колыхается, расходится кругами; через какое-то время оно снова соединяется, потом опять расходится, и опять соединяется. Я смотрю на поверхность воды, на обрывок фотографии, и то отчетливо, как сейчас, то смутно, как тогда и как сейчас, то вижу, то не вижу свое перевернутое изображение.

Один из старших ребят встал вдруг передо мной и уставился на меня. Я смотрю на клочок фотографии, а он на меня и на клочок у меня в руке. Этот парень был то ли начальником какого-то отряда, то ли еще кем-то в этом роде и, кажется, имел доброе сердце. Глядя на мое озабоченное лицо, он обеспокоился не меньше моего. Почувствовав на себе его мягкий, заботливый взгляд, я немедленно выбросил обрывок фотографии и ушел прочь. Парень подобрал с земли этот обрывок, рассмотрел его, сокрушенно покачал головой и, как

видно, рассказал об этом взрослым. Во время ужина они участливо поглядывали в мою сторону, улыбались, перешептывались и снова оборачивались ко мне. Я ел через силу, кусок застревал у меня в горле, но я и виду не подавал, будто все мне нипочем, будто мне и невдомек, о чем шепчутся между собой взрослые. Я готов был умереть, лишь бы не показать, что о чем-то догадываюсь.

Скорее всего, обо мне тут же и позабыли, но все последующие дни мне не переставая казалось, что окружающие смотрят на меня с состраданием. Остаться в этом лагере я уже не хотел, и, к счастью, меня скоро оттуда забрали.

К этому времени дом наш уже стал походить на дом. Рука человека оставила на нем свой след. Нижний этаж уже был отстроен, перекрыт и с двух сторон уже воздвигались стены второго.

Красные отполированные кирпичи, каменные выступы и карнизы уже украшали здание, которое вскоре должно было стать домом, где нам предстояло жить, есть, пить и умереть в конце концов. Все это было для меня необычным, и я позабыл о детском лагере отдыха, забыл проведенные там неприятные дни, изорванную фотографию, тени в колодце, разбитое изображение на поверхности воды, которое, кажется, кто-то разглядывал с бездумным участием, вымученно улыбаясь и перешептываясь когда-то, возможно, еще до моего рождения.

Вообще-то тяжело самолюбивому человеку становиться предметом чьей-либо жалости. Хотя, если подумать, что плохого или обидного в том, что нашелся человек, который сочувствует тебе, переживает из-за тебя? Ничего. И все-таки мне кажется, было бы лучше просто взять и подарить мне на память одну из этих фотографий.

МАСТЕР ГРИГОЛ

КАМЕНЩИКА Григола знали все в нашем городе. Он строил каменные дома, был искусным мастером кладки камня и резьбы по нему. Мастер Григол, так его называли, попал к нам случайно. Родители договорились с ним только насчет отделки фаса-

да. Заказчики, договорившиеся с ним еще раньше, навевались к нам через каждые два дня и интересовались, когда же мастер Григол закончит наконец делку нашего дома. В нескольких местах черновая работа была уже закончена, и хозяева ждали только мастера Григола. Григол торопился. Он вообще был человеком торопливым и немного рассеянным. Подвязавшись фартуком, работал он чисто и аккуратно. Подручные еле успевали подавать ему известковый раствор.

— А ну давай, живей, живей! — поторапливал он их.

Иногда он безо всякой причины вдруг застывал на месте, бессмысленно уставившись на свою работу. Махнет, бывало, рукой, точно возражая кому-то. Рабочие в это время обычно отдыхали, закуривали. Григол проводил ладонью по кирпичам, гладил их мягко, осторожно, словно лаская. Я не понимал, зачем он это делает. Неожиданно очнувшись, он снова начинал покрикивать:

— А ну давай, живей, живей!

Подручные немедленно выбрасывали окурки и начинали суетливо месить раствор.

Григол спешил, хотел поскорее закончить. Ел он так же торопливо, быстро, мало; благодарил по нескольку раз, потом возвращался, что-то искал. Всякий раз он то ли забывал что-то у нас, то ли ему это казалось. Опустив голову, ходил вокруг дома, заглядывал под леса, ничего не находил и, уходя, все-таки смотрел назад. На улице он продолжал вести себя подобным же образом, через каждые два шага останавливался, оглядывался на свою пятку, трудно было понять, боится ли он замараться или ему кажется, что у него отваливается каблук.

— ...Что-то я здесь оставляю, что-то... — бормотал он каждый раз перед тем как уйти, уставившись прямо на меня.

Я понимал, что он не видит меня в это время, и все-таки терялся, не знал, как быть. Я начинал озираться по сторонам, словно хотел отыскать то, что оставил здесь Григол.

— Ты прав, — говорил он и наконец уходил. Я не понимал, кто же был прав.

Сразу же после того, как объявили войну, этого нужного всем человека призвали на фронт. Жена, дети и родственники пришли на вокзал, чтобы проститься с ним. Григолу все время казалось, что он может отстать от эшелона. При каждом вздохе паровоза он вздрагивал и порывался бежать к своему вагону. Его успокаивали, говорили, что еще рано, что вот, мол, и остальные новобранцы еще здесь. Григол окидывал тревожным взглядом гудящий перрон, готовый к отправлению поезд и, уже в который раз, прощался с женой и детьми, снова бежал к вагону, цеплялся за поручни и все время оглядывался назад. Что-то оставалось у него здесь, а что, он не мог понять. Так он суетился и столько бегал взад и вперед, что чуть в конце концов и в самом деле не отстал от поезда. Эшелон уже тронулся, и он едва успел вскочить на подножку последнего вагона. Он еще раз оглянулся, что-то выкрикнул, помахал рукой своим близким, уехал и не вернулся. Что же оставил здесь мастер Григол?

Что оставил он здесь, кроме родины? Трех здоровых, почти выросших парней и крепко сбитые каменные дома. И сейчас, если вы пройдете по нашему городу и внимание ваше привлечет красивый полуторазэтажный каменный дом, вам скажут, что это работа Григола Брегадзе. Многие, может быть, и не знали самого Григола Брегадзе, но ведь если дом стоит, значит его кто-то построил.

В ШКОЛЕ

НЕ МОГУ сказать, будто я никогда не видел так много детей сразу, и все-таки я растерялся. Мне показалось, что взрослых было еще больше. Они толпились во дворе и на балконе до самого конца уроков.

Меня почему-то с опозданием завели в классную комнату и посадили за первую парту рядом с единственной дочерью близких нам людей.

— Твое место будет здесь, — сказала мне учительница таким тоном, что я решил, будто всю свою жизнь просижу на этом месте, возле этой девочки. Что ж, если это необходимо, ничего не поделаешь. Я и без того никого, кроме нее, здесь не знал, да и не рассмотрел

еще толком никого. Моя одноклассница, так же как и я, сидела тихо, боясь шелохнуться; даже во время перемены мы оставались на своих местах, робкие и притихшие. У девочки, наверное, были свои заботы, у меня свои. Мой двор, без сомнения, был куда лучше этой школы. И куда приятнее было бегать по двору, взбираться на леса, кувыркаться в песке и извести, чем сидеть на занятиях.

К концу третьего урока выяснилось, что моя соседка по парте числится по списку во второй группе первого класса, то есть в первом втором. В класс вошла пожилая женщина, поздоровалась с нами, улыбнулась, оглядела всех, после короткой беседы подняла с места девочку, рядом с которой меня посадили, и увела ее с собой. Скрылись за дверью большой ранец и кошечки с голубыми бантами. Оказалось, что ее переселили в другую классную комнату.

Я как бы осиротел в этой чужой непонятной комнате. Вначале я сдерживался, но потом терпение лопнуло, и я разревелся.

— Почему ты плачешь? — ошалела от удивления учительница.

Я тут же умолк. Никто не знал, отчего я заплакал, но учительница (на то она и учительница!) позднее обо всем догадалась.

— Если, — говорит, — хочешь, мы и тебя переведем во вторую группу, — попыталась она утешить меня.

Эту вторую группу, то есть вторую большую комнату, я никогда не видел, не мог себе представить, что в ней происходит, и решил воздержаться. Правда, я не стал наотрез отказываться, но и согласия своего тоже не дал.

А девочку с голубыми бантами вскоре после этого перевели еще в другую группу, потом в другую школу, а потом и вообще в другой город.

В студенческие годы я встретил ее в коридоре института и не поздоровался. Сделал вид, что не узнал ее. И она будто не узнала меня. Мы учились с ней в одном учебном заведении, ежедневно виделись, были знакомы и словно не узнавали друг друга. Странно, почему я избегал ее?.. Разве она видела меня плачу-

щим тогда? Впрочем, ей, наверно, об этом рассказали.
Мало ли на свете злых людей...



ЗИМА. МАНАНА

ЗИМА, как всегда, наступила скоро. Погода испортилась, полил дождь, подул холодный ветер, долго и протяжно свистел, и в конце концов повалил снег. На голые стены еще не покрытого дома, леса и дымоходную трубу лег толстый слой снега. Потом вдруг потеплело. Потекли ручьи. Днем снег таял, по ночам морозило, и каждое утро, просыпаясь, мы выглядывали в заиндеветые окна саджаевского дома. Зато проторенная и уже протоптанная тропинка у калитки обкаталась как нельзя лучше.

Воскресное утро. Сквозь прозрачные тучи тускло светит солнце. Светит, но не греет. От сверкающего под солнцем льда больно глазам. Я катаюсь по ледяной дорожке, съезжаю с пригорка вниз и, уцепившись за ограду, еле удерживаюсь на ногах у раскрытой калитки.

По улице идет Манана, полная рыжеволосая женщина, наша соседка. Она кутается в шаль, тепло одета, и все-таки вид у нее озябший и... озабоченный. У калитки она останавливается и пристально смотрит на меня.

— Хоть бы ты шлепнулся как следует! — от всей души пожелала мне Манана. Не успела она закрыть рот, как я упал, и если бы не подставил под себя руки, размозжил бы затылок. У меня потрескались ладони, пальцы чуть не переломились, но я не пикнул, даже не шелохнулся. Притворился, будто я кувырнулся по собственной воле, а сейчас просто лежу и отдыхаю. С довольным видом Манана пошла дальше. Я с трудом поднялся на ноги; кряхтя и охая поплелся домой. Дома я получил подзатыльник, сам, мол, виноват, и пока мне растирали и обмывали теплой водой потрескавшиеся ладони, я не переставал корчиться и стонать. Не плакал я лишь назло Манане.

Сливовое дерево, которое мы посадили после окончания войны, разрослось необычайно буйно, ветки его протянулись через ограду, повисли над тротуаром, создавая великолепную тень. Сколько раз одинокий про-

хожий, идущий из магазина домой, укрывался под ними от проливного дождя. Дерево сильно выросло и даже состарилось раньше срока. Под старость оно вдруг решило показать себя, дало обильный урожай. Никто не решался забраться на ветку, нависшую над тротуаром, и переспелые плоды на ней так и остались несорванными. Сосед наш, студент, человек услужливый, вызвался помочь нам в этом деле, я, говорит, нарву вам эти сливы, но мы отказались, сказали, ветка не выдержит. Пусть попробует не выдержать, сказал он, сам же притащил длинную расшатанную лестницу и приставил ее к дереву и к ограде одновременно. Он быстро поднялся наверх и приготовился влезть на ветку, которая, если смотреть на нее снизу, выглядела не особенно надежной.

На улице появилась Манана. Она не очень постарела за то время, пока я ее не видел. Была тепло одета даже в этот августовский зной. Шаркая шлепанцами, направлялась она в магазин, задумчивая и озабоченная. При виде ее у меня заныли ладони.

— Остановись, не двигайся! — крикнул я студенту, который из уважения ко мне карабкался в своих джинсах и новой сорочке на согнутые под тяжестью плодов ветки.

— В чем дело? — удивленно отозвался он сверху.

— Погоди немного!

Он остановился. Манана тоже остановилась. Только раз посмотрела на парня, сидящего наверху, и пошла дальше. На меня она даже не взглянула. Шаркая стоптанными шлепанцами, задумчиво понутив голову, шла она в сторону магазина.

— А теперь поднимайся! — крикнул я студенту, который, застыв в неудобной позе, удивленно хлопал ресницами. Раздвинув ветки в разные стороны, парень ловко перескочил на ту из них, которая была перекинута через ограду. Вряд ли он знает и сейчас, от чего я уберег его тогда.

Муж Мананы, высокий худой мужчина, долгое время работал кондуктором. К концу войны в вагоне у него обнаружили козу и сорок безбилетных пассажиров. Его сняли с работы. Манана тогда набегалась, жаловалась, что с ним поступают несправедливо, что, мол, обижают его, но ничего у нее не вышло, так она и не

смогла восстановить мужа на прежнюю работу и устроила его начальником охраны на стекольном заводе, а оттуда перевела в милицию. Детей у них не было. Как то им подкинули грудного ребенка. Они нашли его ночью подвешенным к дереву, решили вырастить, назвали Тарзаном, но, как оказалось, он был не жилец на этом свете.

ИЗ ЧЕГО ПОЯВИЛАСЬ ПРИРОДА

ДЕТИ, — сказала, проверяя тетради, учительница, — чем создано все, что вы видите вокруг?

Что же мы видели вокруг? Большую классную комнату, черную доску, окна, балконные столбы, глухую стену противоположного дома, верхний этаж бывшего губернаторского дворца, а также учительницу, которая, приложив к губам карандаш, многозначительно смотрела на нас. Трудно сейчас сказать, обдумала она этот вопрос заранее; или он только что пришел ей в голову.

— Чем создано, — продолжала она, — все, что вы видите вокруг, небо, человек, горы, море, курица, одним словом, все одушевленное и неодушевленное?

Дети словно язык проглотили. Я поднял руку. Долгое время учительница не хотела меня замечать. Она или не ждала услышать от меня что-нибудь путное, или же, что вероятнее всего, хотела услышать ответ от более надежного ученика, но, так и не дождавшись, позволила ответить мне.

— Все, что нас окружает, создано провидением, — сказал я.

Это было первым проявлением верности смутному мировоззрению, так явно обозначившемуся позднее.

— Чем создано, повтори, пожалуйста! — удивленно спросила меня спустя некоторое время учительница.

— Провидением.

— Можете сесть! — вежливо обратилась ко мне молодая женщина. Она водила карандашом по губам, о чем-то думала, молчала. Наконец встала и сказала:

— Все, что вы видите вокруг, создано природой. Ну-ка повторите, чем создано все окружающее.

— Природой.

— Все вместе.

— При-ро-дой...

— А саму природу что сотворило? — подумал Я вслух и снова привлек внимание растерявшейся учительницы.

— Довольно, — рассердилась она, — мальчик ты хороший, но это не значит, что надо мнить о себе бог знает что.

Я замолчал. Действительно, кто меня дергал за язык. Оказывается, все сотворено природой, откуда я взял это провидение. А если подумать, из чего появилась сама природа? Разве узнаешь. В это время как раз прозвенел звонок. Я забыл и природу, и провидение, и уроки. Пока я шел домой, учительница перевозила меня в учительской, сообщила и директору о моей незаурядности, довела и до сведения родителей свое мнение обо мне. Вообще она не поспешила на похвалу в мой адрес, хотя преподавала нам всего один год. Но несмотря на все это, она два раза разорвала мои тетради с нацарапанными в них каракулями и даже обозвала меня бездарным в присутствии остальных. Зато эта добрая женщина и сейчас нередко вспоминает тот день и этим ставит меня в неловкое положение.

Не помню, может быть, когда-то я и сказал что-то особенное, но тогда в моем стесне не было ничего необыкновенного, это я точно знаю. Во-первых, она спросила не «кем» создано, а «чем» создано. Ничего необычного в этом вопросе не было, и ответил я на него также обычно, и, несмотря на это, я и сегодня не знаю, к чему относился мой ответ: к слову «кем» или «чем». И второе: ясно, что слово «провидение» мне не приснилось, видно, я где-то его слышал, и все-таки мне известно и то, что я сказал не абсолютную глупость. И тем не менее, ребенок, который был бы умнее меня, на вопрос «чем создано» назвал бы бога, другой, с более светлым разумом, чем у меня и у нее, ответил бы что-то совсем невообразимое.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ

БАЛЛАДА О ЦИНАНДАЛЬСКОМ САДЕ

Ты открываешь
 Первых наитий
 Предвосхищенье
 И упоенье,
 Волей небесной,
 Силой знаменья
 Ты освещаешь
 Выси и дали,
 Сны и деянья —
 Душу творенья,
 Совесть ребенка,
 Веру поэта,
 Высшее знанье,
 Расплату за это —
 Сад Цинандали,
 Свет Цинандали!
 Как в Цинандали,
 В розовых куцах
 «Редкой серьги»¹
 Было время счастливое,
 Слезы роняла
 «Лоза сиротливая»²
 И набирала
 В землях цветущих,
 Преобразивши
 Страсть неземную,
 И поднимала
 В небо все выше
 Неуследимо
 Песнь серафима!
 Как в Цинандали,
 Как в Цинандали,
 Плачет поэт,
 Неутешно вздыхает,

Скорбную душу
 Сжигают печали...
 Что же ты сердце
 Возжег, словно ладан,
 В честь божества
 Затаенного сада?!
 Благоухает
 В честь девы...
 Отрада
 Переполняет
 Сад Цинандали...
 Как в Цинандали,
 В час расставанья,
 В пору утраты —
 Маленькой книжки
 Сила и тайна,
 Легкие даты —
 Передоверены
 Пальцам дрожащим
 Любящей девы...
 Только ли звуки
 Вам передали,
 Только ль напевы?! —
 Чуткие руки
 Над бездной разлуки!
 О, сад Цинандали...
 Так в Цинандали
 Вперед и заране
 Розы увяли! —
 Книжку стихов
 Здесь доверчиво пальцы
 Пальцам отдали...
 Что ж, одинокий,
 Под грай воронья

¹ Строка из стихотворения Н. Бараташвили «Серьга».

² Строка из стихотворения Ильи Чавчавадзе.

В облачной длани
В мрак без дороги
Уносит тебя
Гневный Мерани?!.
Рев урагана
Над морем могил,
Вечности своды...
Душной волною
Рок тебя смыл...
Мифы и воды,
Сны и растенья,
Сплетения сил,
Звенья
Природы!
Так и осталась —
Сильнее судьбы,
Вернее подруги,
Книга, —
Ты сон
Восхищенной души,
Переплетенный,
Высшей любви
Воплощенный огонь,
Рай потаенный.
И, пробуждаясь,
Немолчно гудят,
Бьются о руки
В ней, словно сердце
В стесненной груди, —
Мерные звуки!..
Девушка книгу —
Солнце свое —
За пазухой прячет
И плачет.
Время идет —
Все читает ее,
В книге души
Не чаёт.
И небеса
Выцветающих строф
Листает,
Взглядом ласкает...

ЦАРИЦА КОЛХИДЫ

О, это сердце
Все ты вмещаешь,
Все принимаешь,
Все переможешь —
Боль и разлуку
На годы помножишь,
Что ни случится,
Все одолеешь —
Дней безнадежность,
Судьбы безответность,
Гибельный рок —
Пересилить сумеешь,
О, только сердце!
Но для всего
Есть разумная мера,
Ни для кого
Не вернется бывшее,
То, что открыли
Блаженные двое,
Миру неведомо...
Что ж пред тобою
Снова родного дома
покои,
Счастье сестры...
И, грядущему вторя,
В дом ваш вошло
Лиховетье
И злое
Горе...
...Все тот же
Сад Цинандали,
Час полнолуния,
Трепет свиданья,
Дрожь и смятенье,
Солнечный ветер,
Смысл обрученья,
Свет и сиянье,
Дня приближенье,
Ад расставанья...
Все, что мы прошлым
Пока называем,



Все, что являло себя
Сновиденьем,
Что заключало
Единое знание...
Все, что преидет
И утратит
Название!..
Да, но неужто
Только бывшее
В шуме забвенья
Тебе достается —
Чудо творенья,
Несомое к бездне,
Пренебрегая
Ужимками смерти,
Свет предрекая,
Бредущий по тверди
Земной, —
О, человек!
...Годы прошли,
В Цинандальском саду
Дева сияет,
Как роза в цвету,
Солнцем восходит
Царица Колхиды,
Но и теперь
Вместе с царским венцом
Рядом кладет она
 маленький том,
Рукопись прячет
И плачет...
Под слабой тенью
Серьги певучей
Поэта душу
Она покоит.
Луна Колхиды,
Страниц не мучай
Молочной болью
Немых созвучий!
Ведь сердце знает —
Нет доли лучше
Горящей соли

Судьбы поэта...
И замыкает
Звездой падучей
Молчанье ночи —
Пожар рассвета!
Светла, Одиши, твоя
 улада,
Свежо Мегрелии
 волшебство...
Но чудо Грузии, прелесть
 сада,

Дотла сжигало
Июля зло...
Твоих небесных
Очей прохлада
Сдержала
Гибельное тепло,
Страницы «Сумерек»
И «Мерани»
Ресниц агатом
Обволокло.
Кто знает скудость
Ночей Колхиды,
Мятежной вьюги
Манящий гон,
Летящих сумерек
Панихиды,
Воспоминаний
Щемящий звон,
Тот слишком помнит —
Как сны и веси
В один мешает
Протяжный стон,
Уничтожает
Колхиды ветер,
И тучи гонит
Со всех сторон!
Он во дворцовом
Твоем камине
Пушинку снега
Легко вздувал,
И вот по гляncу

Парадных линий
Узор с разбега
Перебегал...
Но книгу греет
Тепло коленей,
Огня смятенные языки,
Страданья нега
И жар томлений,
Алмазы слез
И покой руки...
Снаружи — ветер,
Снаружи — ветер,
Всемирной стужи
Встающий день,
Но прост и светел
В мелканье петель
Огонь, каминная

канитель!

В душе печальной
Иное пламя,
Иное море
Стеной встает,
И шорох тайны
Уносит дальний
Снегов повальных
Размерный ход,
И кто играет
Времен шарами,
Еще сыграет
Наоборот!
Весь мир грузинский,
Весь сад ветвистый —
Метелью крупной
Заволокло.
Снег неподкупный!
Ты — облак чистый,
Ты — морок светлый,
Белым-бело...
О, как я помню
Садов мерцанье,
Лозы мельканье
В сетях пурги,

Ты — свет приветный /
Там, в Цинандали
Мечты отрадны,
Снега легки...
А здесь, в колхидских
Долинах ровных,
Средь роз увядших,
Средь дней пустых,
Ночей безгромных,
Речей бескровных,
Гостей бездомных,
Огней слепых,
Средь слез обильных,
Что давят душу
И множат память
Былых потерь,
В чаду безверья
И легковерья
Восточный ветер
Колотит в дверь!

В ПЕТРОГРАДЕ

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.

А. ПУШКИН

Что обещает
Под грохот ливней
Туман и площадь? —
Се град Петра
Тебя встречает
Как образ дивный
Иль росчерк
Пламенного пера!
Вот конь, взлетевший
Над страшной бездной
Усиьем бронзового
седока,
Полет кромешный

Уздой железной
Задушит царственная
рука!

Нева в граните,
Нева в оковах
Несет по-царски
Валов раздор,
Туда взгляните —
Притоков новых
Напрасно ищет
Усталый взор,
Он не дотянет
Короткой нити —
Навстречу прянет
Морской простор!
О, величавый,
Живой
И странный,
Неукротимый,
Как моря шум,
Российской славы
Ты брат названный,
В победном дыме
И блеске дум!
О, город славный,
Великих зодчих,
Поэтов лучших
Прямой рассказ,
Самодержавный
И своенравный,
Святых наитий
Счастливым час,
О, Петроград!

ДНИ

Что же опять
И снова
Вокруг — чужбина!
Север глядит сурово,
И океан былого
Стужей выпит.

Сила моя
И юность —
Где они?
Нет помина.
Вдали от родного крова
Снег по неделям сыпет,
Память — льдина.
Бодрость и величавость
С холодом повстречалась,
Что осталось?
О, богоматерь,
Я ли
Была рабыней?
Я ли тебя молила,
Чтобы ты отвратила
Судьбы удары?
Может быть,
Миновали
Горести и напасти
Здесь, на чужбине?
Или я согрешила?
Что же так давит сила
Небесной кары?!
Или же все —
Виденье,
Сон, не боле,
Крест мой —
Души томленье,
Память сердечной боли,
Ад неволи?!
Темное и земное
Было передо мною
Тенью слабой,
Так я в себе опору
В тяжкую эту пору
Нашла,
И взору
Тайна твоя открылась,
О, богоматерь!
Как я
Тебе молилась!
Я ли судьбы страшилась,



Что этих дней
 немилость,
Мать и надежда,
Что мне уловки, сети,
Плачущая над сыном,
Знавшем о едином,
Высшем свете?!
Стала моя молитва
Крепостью слов
 священных,

Стала
Силой!
С ней на устах блаженных
Перед тобой предстану
За
Могилой!
Ночь,
И ноябрь,
И свет лампы,
И туч громады.
Тени легко
Глощают судьбы,
Лица приметы,
Глохнут мольбы
И далеко
До рассвета.
Бешеный снег,
Как он метет!
Стон и рыданье,
Скорбный причет
Переберет
Площади, зданья!
Пеший народ,
Улиц разлет,
Час одинокий,
Гибели хмель,
Мрак и метель...
Что там? —
Далекий
В хоре речей
Вьюжный хорей —
Пушкина строки:

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя». —
В тот же ли тон
Звон завывал,
Голос метельный,
В час, когда он
Грудь открывал
Пуле смертельной?
Перемогал
Смертную ширь?..
Снежные горстки
Ветер бросал,
И монастырь
Ждал Святогорский...
Мерзлой земли
Комья легли,
И заносили
Снегом глухим —
Как же смогли?!
Солнце России!
С горькой тоской
Выла метель —
Как отпустили
В вечный покой,
В злую постель —
Солнце России!

* * *

Нахмурен лоб,
Дрожит рука,
Мигает
Пламя ночника.
Вот с полки книгу
Достаёт
И молча гладит
Переплет.
Все те же строфы
Узнаёт,
Читает,
Зная наперед.
А ветер воет



И гудит,
Дворцов гранит
Зубами рвет...
Потерян счет
Годов, минут,
Пурга ревет,
И ветер крут,
Лампада тусклая чадит,
Ты, как в могиле
Темной,
Тут...

А тот, кем память
Дорожит,
Который год
В земле лежит,
И нет родных,
Чтобы скорбеть
Да за могилой
Присмотреть.
Никто о нем
Не говорит,
В земле чужой
Зарыт, забыт...
Перед иконою
По нем
Лампада жарко
Не горит
Спокойным, ласковым
огнем.

И Цинандальский
Сад заглох,
И разорен,
А милый дом,
Забытый памятью
самой,

Стоит пустой,
Уныл и нем,
И елка к празднику
Зимой
Не наряжается
Никем...
Но все,

Что было суждено
Душе узнать,
Осталось в ней,
Все, что годами сожжено,
Что рождено
На утре дней —
В ней созревало,
Как вино, —
Оно — чем старе,
Тем верней!
Той майской ночью,
Той весной,
Под звездной той
Голубизной,
В том нестареющем саду,
Чему я даты не найду,
Поскольку даты нет иной,
Чем день свидания
с тобой!

А вьюга тянет канитель,
Снежинок резвую кудель,
Морозный, звездчатый
узор...
Как быть зиме до этих
пор?!

У нас, наверное, капель...
На Цинандали синий взор
Бросает небо.
Солнце льет
Хмельных лучей
водоворот,

А здесь — трескучая
Досель
Стоит зима.
Мороз дерет.
Российской стужи
времена.

И ты, одна,
Глядишь в метель,
В холодный мрак
Погружена!

РОСЫ НЕБЕСНЫЕ

Книгу рукой
Открывая дрожащей,
Смотрит, волнуясь,
На блеклые буквы,
Снова по памяти
Солью горящей
Строки ложатся,
Сроки
И лица...
Ах, эти слезы!
Как жемчуг тяжелый,
Метят страницы,
Не могут
Не литься!
«Пусть не усну я
в земле отчизны среди
старинных могильных
плит,
Пусть дорогая моя
останки слезой
печальной не окропит,
Мне черный ворон
выроет яму в краю
безвестном,
в пустых полях,
И вихрь бездомный
с плачем и воем песком
засыплет мой бедный
прах»¹.

Боже всеильный,
Как страшно волнует,
Сердце теснит —
Роковое творенье!
Силой какою,
Скажи, колдовскою
Чувствами правит
Властной рукою?!
Кто же хоть слово
К творенью прибавит,

Кто пролетит
Над безумья
Рекою?!

Я же, когда
Эту рукопись вижу,
Или в молчаньи
Страницы листаю,
Знаю,
Иного восторг
превращенья.

Голос твой слышу,
Улыбку, движенья,
Дальних времен
Роковое смещенье...
Произнесешь —
И придет
В исполненье!
«Не слезы милой —
дожди и росы мне в час
прощальный омоют
грудь».

О, это так!
Все, как в книге,
случилось,

Он угадал
Все, что в будущем
крылось,

Все, что писал,
Что, мрачней, таилось,
Он предсказал...
И над грудью твоею
Росы пролились,
Иль зыбкая осыпь
Прошелестела
Дремотно над нею?
«Не слезы милой...»
Не слезы милой —
Земля чужая,
Не миг свиданья —
Но смертный час,
Насмешка злая...

¹ Строки из стихотворения Н. Бараташвили «Мерани».

Всего лишая,
Пришло изгнание,
И свет погас...
Судьба, за что ты
Сердца связала
И наказала
Разлукой
Нас?!
Но книга эта —
Она со мною...
Но чудо света —
Всегда во мне...
Душа поэта
И жар ответа...
Возможно ль ближе
Быть на Земле?..
И лишь за смертной
Доской тяжелой,
Под непосильной
Ее тоской,
Где неразъемны
Времен засовы,
Уснет со мною
И образ твой!
Так прах мешает
С землею время,
Забытый всеми,
Спишь под плитой...
Так ты — исчезнешь,
Как сон легчайший?
Как свет—растаеть,
Как день—пройдешь,
Как искра — канешь
В мрак глубочайший
И жизни повесть
Перечеркнешь?!
И все, что было,
Что будет дальше,
В виду могилы —
Тщета и ложь?!
И я сумею
Свершить такое,

Раба господня,
Отчизны дочь?!
Все, что писалось
Его рукою,
Река забвенья
Уносит прочь!
Одно осталось
Успокоенье —
Сейчас, сегодня
Ему помочь!
И ни единой
Его строкою
Я не посмею
Насытить ночь!
Как все, что было
Дано навеки
Всему народу,
Родной стране,
Я в слабом сердце
Похоронила,
И эту мысль
Я еще любила,
О, мать божья!
Презренье мне!
Его творенья
Возьмет могила
И тленье...
Что ж я
Так согрешила?!
Кому доверить
Смогу вполне
Мой клад зарытый,
Мой свет вечерний?..
А впрочем, кто же,
Как не поэт,
С душой открытой
Натуры верной
В часы смятенья
Мне даст совет.
Кто сам провидит
Судьбу с рожденья,
Кто вдохновенье,



Как воздух, пьет,
 Пусть разрешает
 Мои сомненья...
 И на коленях
 Восторг моления
 Царица — Дева
 С улыбкой шлет.

ВИДЕНЬЕ

Если у роз
 Ароматно дыханье,
 Если лоза
 Свои слезы роняет,
 Если янтарных лучей
 колыханье

Множит луна,
 Полыхает и тает,
 Если в ночи
 Соловей прощепечет
 И слышится
 Трель его и порханье! —
 Так, что видна
 Вся в алмазном сияньи
 Вечности бездна,
 Небесная млечность —
 С силой нездешней
 Тогда расцветает,
 Весь оживает —
 Сад Цинандальский!
 Как в Цинандальском
 Саду поднимался
 Столп — к небосводу,
 Свет — к поднебесью...
 Как в Цинандальском
 Саду повторялся
 Миг лицезренья,

Морок виденья,
 Тайна сердец
 Или — соединенвет
 Розы ли этот
 Миг возвратили? —
 Преображенный
 Мукой напева —
 Юноша мнится,
 Скользящие лики,
 Чудится дева
 В облаке света,
 Тени обвили,
 Синие блики.
 Соединили
 Руки навеки,
 Их размыкает
 Утра приметя —
 Быстро мелеют
 Лунные реки...
 Станет заря
 Заниматься
 От солнца,
 Станет луна
 Угасать,
 А за нею —
 Сад Цинандальский
 От грезы очнется,
 Снегом — растает

виденье,

Мутнея,
 И, исчезая,
 Небесною дымкой
 В воздух нырнет
 И уйдет
 Невидимкой...

Перевод Натальи ОРЛОВОЙ

ПОМОГИ! — СКАЗАЛ ОН

Р о м а н

В начале было слово...

— Мор! — воскликнул кто-то, и одно это слово внезапно в щепы разнесло селение, словно мор и вправду, подобно зверю, ворвался на сельскую площадь.

Я огляделся вокруг, но бросившего это слово не было видно, словно небо поглотило его, словно слово было сказано не здесь, среди столпившегося и потрясенного народа, а упало с неба.

Этого единственного слова дотоле, видно, ждали все, но страх был настолько велик, что даже подумать о нем никто не смел. А слово было словно во плоти, — оно как живое крутилось тут же, даже рукой можно было коснуться его, но имени у него все же не было. И вот теперь ему дали имя! Слово было уже произнесено, и огорошенное, растерянное селение в ужасе искало произнесшего.

Но произнесшего все не было видно. Народ зашептался. И коль скоро произнесение этого единственного слова оказалось столь легким, коль скоро был сдернут покров с глубоко загнанной в сердце, затаившейся мысли, село разом загалдело.

Старейшины села, предводителя сельского люда моего друга Георгия Балиаури нигде не было видно, и толос галдящего люда не достигал его слуха. Запершись в башне, он был глух ко всему и ничего не ведал о том потрясении, о том единственном слове, словно гром поразившем все селение. Старейшина еще не знал, что сила того слова, или, если сказать, вернее, страх, взбаламученный тем словом, пода-

вил теперь все селение и увлек с собой страх даже перед самым старейшиной, страх, который и вправду был велик. Предводитель селения был сам по себе селение само по себе. И в ту минуту у меня впервые мелькнула мысль, а есть ли вообще у селения старейшина? Может, и нет, а селение еще даже не догадывается об этом? Может, среди этих крепостных башен нашептывается лишь легенда о старейшине, а сам старейшина давным-давно уже ушел туда, куда рано или поздно должен уйти каждый грешный смертный. И может, башня, где должен обретаться старейшина, пуста? А может, оттуда исходит лишь страх, страх, не имеющий ни цвета, ни плоти, но живущий дольше любого смертного, страх, бередящий душу и скрывающийся в ее тайниках?.. И едва успев подумать об этом, я тут же испугался собственных мыслей и огляделся по сторонам, словно кто-то сумел бы проникнуть в них и, сделав их достоянием сельского люда, мог еще больше взбаламутить и без того потрясенное селение.

Огорошенное мором селение, обеспамятев, раздробилось. Одно-единственное слово вдруг размножилось, рассыпалось по селению, словно картечь. И теперь не было в мире силы, сумевшей бы собрать эту дробь. Пороховой запах объял все селение и застил дымом башни. Мор! Мор! Мор! — лишь это слово и сыпалось из бойниц.

Это было началом повести. Но одно это слово словно бы поведало нам и о ее конце. «В один прекрасный день...» — говорит нам о великом событии сказка или легенда, и мы понимаем, что день тот был прекрасен лишь своей значимостью; что событие это на протяжении многих лет, в длинной непрерывной цепи дней и ночей тихо, незримо развивалось, росло, набиралось сил, обрастало плотью и приобретало цвет, пока и впрямь не наступал тот один прекрасный день, когда событие внезапно взрывалось, тайное становилось явным, все струны натягивались, все страсти оголялись и эта хаотическая явь нуждалась лишь в порядке и обретении формы. Для нашего селения этот «один прекрасный день» наступил именно сегодня. И день этот пришел на поводу именно у того одного-единственного слова, которое подобно надтреснутому

набатному звону оглушало селение из бойниц и зубцов башен.



Я стоял, по-прежнему страшась тех мыслей, которые неожиданно осенили меня. Теперь меня тревожило только одно: как бы эта бесшумно скользнувшая мысль не пришла в голову и селению. Много воды утекло с тех пор, как селение даже в глаза не видало старейшину. Народ знал лишь то, что старейшина, запершийся в высокой серой башне, в думах о селении бдел все ночи напролет. Из башни этой исходили вести, окутанные тайным страхом и спокойной мудростью. И сельский люд, уверовавший, что старейшина не спит ночей в думах о селении, и убежденный в справедливости и мудрости старейшины, с беззаветной и слепой преданностью следовал за ним, словно бы всячески избегая размышлений. Селение жило как раз под тем покровом, когда легенда уже превратилась в действительность, а вымысел дороже, нежели сама действительность. Ведь вымысел успокаивает нас, а действительность страшит... Вот и я со страхом вознес взор к башне, а потом со страхом посмотрел на селение, но потрясенное селение целиком погрузилось в заботы о своем спасении, и ему было не до размышлений.

В селении воцарилась такая тишина, словно все живое покинуло его, а здесь остались лишь серые башни. Но башни не были пусты, нет, в башнях хранился народ, и народ этот с неясным ожиданием наблюдал за развитием событий. И хотя сами люди были участниками этих событий, они ждали толчка откуда-то извне — будь то крик, гром или лавина.

Теперь, когда после тех событий прошло много времени, когда перед моим взором нет уже ни селения, ни башни старейшины, когда догорает свеча и вот-вот над моей головой взойдет заря, а в углу кельи неустанно скребется мышь, мысли мои то и дело возвращаются к той минуте, когда я стоял посреди опустевшего селения, а вокруг не было уже ни селения, ни его старейшины. Именно тогда пришло мне в голову, что в одном маленьком селении сосредотачиваются борения страстей всего подлунного мира; селение — сжатая в один кулак и уменьшенная вселенная — со своим людом и сборищами, мирским и духовным, с царем и придворными, возвышенными и униженными,

добром и злом... Развяжи ему руки и ноги, развея страх малочисленности, надели его верой в себя, и оно, сжатое в один кулак и, на первый взгляд, крошечное, расширится, распространится и превратится в бескрайнюю вселенную.

Я вырос и прозрел мир в том крохотном селении. И когда я думаю о том крохотном селении, мнится мне, что думаю я обо всей вселенной. Мысль об этом придавала мне силы, когда я сел писать. И то крохотное селенье внезапно увеличилось — едва ли сотня сельских всадников выросла до войска, сельский старейшина превратился во всемогущего царя и вождя, сельские башни обратились в великолепные дворцы, а сотня дворов — в народ и человечество. И я, сын этого подлунного мира, начал жить вместе с ним.

Предводительство, по сельскому обычаю, доверялось лишь мудрому, сострадательному и мужественному человеку. Селение, несомненно, нуждалось в умном и опытном вожде, могущем созерцать селение несколько со стороны, умеющем отрешиться от повседневной дребедени и глядеть на все как бы сверху.

Старейшиной были и отец Георгия Балиаури, и его дед. Сказывали, что и прадед Георгия был старейшиной.

Дед — Гула Балиаури — дожил до ста лет и ни разу не покривил душой при разборе сельских дел. Гула Балиаури бывал и гневен, и милосерден, не раз выигрывал сражения, да и поражения терпел не раз. На малые прегрешения он, бывало, закрывал глаза, но никому не спускал большого греха. «Большого греха прощать нельзя, сострадай, но не прощай, за одним непокаренным грехом неминуемо последуют другие, большие», — часто говаривал он и следовал этому всю свою жизнь, пока и сам не совершил большого греха.

В один грешный день явилась к старику пятнадцатилетняя соседская дочка Шукья. При виде этой девочки старик застыл, как громом пораженный, — сказывают люди, а люди любят примешивать небо к земным человеческим страстям. От красоты девочки свет померк в очах у старика, но этого никто не узнал и не заметил. И старик возлелеял надежду — лишь раз, один лишь раз допустил я в сердце свое греховный

помысел, но видит бог, ничего дурного не помышляя, а коли так, бог простит меня.

Но глаза старика и на следующий день не открылись, а зались лицезреть Шукию (солнцеликую Шукию, как говорят люди). Старый Гула словно бы впервые увидел девочку, выросшую на его глазах, впервые увидел прекрасный юный побег, обещавший вскоре вынырнуть из трав и наполниться соком и кровью. Пока что девочка была полна лишь солнцем, ослепительным, жгучим солнцем. И свет этого солнца словно бы разверз небо перед старым старейшиной и вернул его в навеки позабытую, схороненную юность. И старик с мальчишеской доверчивостью подумал: оказывается, все начинается снова! Все повторяется! Страсть, мнившаяся ему навеки погребенной, была, оказывается, не погребена! При этой мысли старик, словно бы в душу его пролился свет, бездумно и самозабвенно с головой погрузился в юность, призванную из прошлого, погрузился безоглядно и теперь вслепую плавал в чуде, освещенный блаженным светом. Этот блаженный свет туманил ему глаза, и туман этот был так сладок, что старик не желал открывать глаз.

Но блаженство возврата в прошлое и призрачная надежда оживить юность сменились внезапно страхом. Страх с глухим гулом прошелся по телу старика, встряхнув и отрезвив его. И отрезвевший старик сразу открыл глаза и, словно прячась от ослепляющего света, закрыл лицо руками. И возвратился в дом.

Но старик не смог выдержать в доме. В доме стоял лютый холод. Солнце и тепло были вовне, и тепло это не могло проникнуть в узкое, затворенное оконце. Старик вышел наружу и вновь пошел за тем светом. Он все преследовал и преследовал его, и эта погоня была столь же безнадежна, как и погоня за заходящим солнцем. Солнце уходило, и старик тщетно гнался за ним, бесконечное расстояние не уменьшалось, а погоня казалась смешной и предосудительной для дряхлого старейшины.

Тогда старый Гула дал себе обет, что отныне он никогда не станет ждать и преследовать ту девочку, не станет цепляться за юность, постыдную для старика. И старик верил, что этот слепящий свет погаснет так же, как последний луч заходящего солнца.

Но старый Гула ждал «восхода солнца» и на следующий день. Ждал, подобно готовому к прыжку, но обессилевшему льву... И понял тогда старейшина, что грех подобрался к самым дверям его дома, грех бродил тут же, напротив башни и терпеливо выжидал подходящего мгновения, чтобы ворваться к нему, наброситься на него, помутить зрение и подавить разум.


Так в мучительном ожидании проходили ночи, бессонные ночи, проведенные в тягостных раздумьях. В такие ночи старейшина окончательно и, бог весть, в какой уже раз давал себе обет, что шагу не ступит из своей башни и, словно прокаженный, будет избегать той девочки. Но наступало утро, вновь всходило солнце, и ночь уносила с собой ночные раздумья. От ночных обетов не оставалось и следа. В это сияющее утро ночные раздумья казались такими же бессмысленными и предосудительными, какими казались утренние мысли после захода солнца.

И вот в один вечер все кончилось само собой... Однажды вечером, когда неприкаянный старик бродил в сумерках словно тень, едва слышный шепот, доносившийся из развалин крепости, заставил его вздрогнуть. Старик, словно кто-то невидимый толкнул его, сделал неверный шаг, и ноги у него подкосились: восемнадцатилетний Утурга, племянник старейшины, словно бык теленка, облизывал ту солнцеликую девочку, прижав ее спиной к стене крепости.

Старик застонал, словно получил пощечину. И тут же опомнился... Разум его мгновенно прояснился!

Старик плакал. Это были слезы несчастного и униженного человека. А несчастный человек должен быть покорен лишь своим чувствам. Дряхлый старейшина понял, что отныне он никогда уже не обретет спокойствия духа, никогда уже не сумеет совладать с собой. А несчастный, покорный и жалкий, он никогда уже не сможет править делами селения и охранять чужую совесть. Старейшина понял, что он уже не был старейшиной, что жизнь кончена и та пара-другая дней, оставшихся еще на его веку, ничего, кроме позора, ему не сулит.

И Гулу Балиаури, — так сказывают люди, — обуял страх явиться пред очи господа с этим роковым грузом. Страх этот поглотил все его существо. Он



уединился, долго ни с кем не общался, питаюсь лишь водой и пресными лепешками. В конце концов он явился миру, словно желал возвестить ему что-то. Очищенный и просветленный своим решением, он попрощался с домочадцами — детьми и внуками — и с одним лишь посохом в руке тронулся в путь. Растерянные домочадцы сначала не вымолвили ни слова, но затем, придя в себя, нагнали старика и спросили, куда он держит путь... Иду на встречу с богом, — отвечивал старик и с таким испугом покинул своих домочадцев, как направляющийся в рай — грешников... Чего только не говорили ему домочадцы, как только не молили его остаться, но старик, ни разу даже не обернувшись, пошел себе и пошел. Никто из смертных не знает, где повстречался Гула Балиаури с богом. На то есть воля господня, лишь он распоряжается всем сущим. Селение, озадаченное уходом старейшины, порешило призвать в старейшины старшего сына Гулы — Мангию Балиаури.

Мангия Балиаури был мирный человек, а поскольку и соседи быстро раскусывают миролюбие человека, больших сражений и приключений выпало на его долю немного. Разве что по пальцам можно было сосчитать случаи, когда на село нападали чужаки, угоняли скот, да и были таковы. Но зато у Мангии Балиаури были другие заботы: он денно и ночью думал о своем сыне Георгии Балиаури, пытаюсь разгадать его природу, доискаться источника его непреклонности. Это тот самый Георгий, который стал старейшиной после Мангии Балиаури. Это он заразит селение своей неутомимой страстью и упрямством, делается грозным бичом для соседних селений, не давая спуска ни себе, ни другим. И это будет продолжаться до той поры, пока, в конце концов, все не надоест ему, и пока он, не падкий до богатства, не укроется от глаз людских в своей башне. И тогда, охваченный мыслями о тщетности всего сущего, в долгие зимние ночи станет он судьей своих грехов и добродетелей.

Мы оба, я и мой друг Георгий Балиаури, росли под сенью дома Мангии Балиаури — сын Мангии, и я — приемный семейства Балиаури. Мангия Балиаури, сказывают, считал моего отца своим большим другом.

И когда в одной из войн отец мой погиб, а мать умерла от горя, он, как говорят, привел меня в свой дом и заявил домочадцам: не обделяйте ничем сего ^{отрока}. Память моя не удержала ни этих слов, ни того дня, когда я впервые пришел в семейство Балиаури. И эта история навевает на меня такую же смутную и отдаленную печаль, как история о ком-то другом.

Мои воспоминания о детстве начинаются с семейства Балиаури. Прежде всего вспоминается мне сам Мангия, старейшина, — хмурый и грозный, как мне казалось тогда. Затем уже все остальные домочадцы. И больше всех, конечно, мой друг и сверстник Георгий Балиаури. Ясно помню взаимоотношения моего друга и Мангии Балиаури, больше походившие на упорный, неуступчивый поединок, нежели на отношения отца с сыном. Что бы ни случалось в доме — доброе ли, злое, но чаще всего, конечно же, злое, — вменялось по настоянию отца в вину своевольному и упрямому Георгию. И друг мой упорно и вызывающе брал вину на себя. Не было случая, чтобы Георгий изворачивался, не я, мол, натворил все это, пусть даже он и впрямь был ни в чем не повинен. Вечные выпады отца закаляли мальчика так, как закаляют сражения удалых солдат. У мальчика пропало даже малейшее желание оправдываться, и он, и без того вспыльчивый и упорный, раз и навсегда пошел против течения. Река текла вниз, в долину, он же в лодке, построенной своим воображением, настойчиво стремился к ее истоку. Течение было сильным, и оно валило с ног еще не возмужавшего мальчика, то швыряя его на камни, то прибывая к берегу. А мальчик вновь бросался в реку и упрямо греб против течения. Дух противоречия отточил бойцовскую натуру мальчика, словно клинок. У клинка этого было острое лезвие, но острота эта растрачивалась лишь на детские проделки и ждала своего часа. Впрочем, нет, не ждала, а с нетерпеливой жадностью уповала на его наступление.

— Я непременно сделаюсь старейшиной! — с горячностью воскликнул он однажды, повергнув в негодование всех своих домочадцев.

Старейшина взглянул на него и долго не отводил взгляда. Потом, не вымолвив ни слова и оборотясь к

сыну спиной, ушел к себе навверх, сопровождаемый гостным молчанием домочадцев.

— Я непременно сделаюсь старейшиной! — повторил вдогонку удаляющемуся отцу мальчик, но отец, не останавливаясь и не оборачиваясь, молча продолжил путь.

Я и теперь еще слышу ржание мальчика, с утра до вечера раздававшееся в башне-крепости Мангии Балиаури. Жеребец-непоседа ржал, с нетерпением ожидая поры, когда он вырвется за ограду и встанет на большую тропу. Мне ни разу не довелось брать в руки ни щита, ни меча, он был для меня и щитом, и мечом, делая это с огромной охотой, и, как мне казалось, скрытой гордостью. Он защищал меня, как старейшина защищает своих подопечных. Ограждать других было для него источником радости, словно он имел уже собственное княжество и был выделен тем самым среди других. Да, он изначально был неистов и неуступчив. Рожденный для преодоления препятствий, он жаждал битвы, великой или малой, но битвы, и если битвы этой не было, скука одолевала его. В пору же скуки (как сказал ему однажды старейшина) друг мой походил на печального ослика с увядшими ушами.

Но он не желал быть печальным осликом с увядшими ушами. Когда ему, смеясь, сказали об этом, он расовирепел и втихомолку дал себе обет, что никогда и никому не позволит отныне говорить что-либо подобное. Но пуще всего снесало его другое желание — он жаждал завладеть жеребцом, томившимся у коновязи дома Мангии Балиаури. Жеребец этот во мгновение ока мог взлететь на хребет, возвышавшийся над селением, где острое зрение мальчика различало лишь облака, солнце и парение орлов.

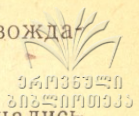
Боже всевышний, каким же отважным был мой друг! Как происходит, что одному ты даруешь столько силы и отваги, а другого обделяешь даже малостью? Все было доступно моему другу, для него не существовало запретного плода, а вот я обо всем думал со страхом в душе, и все мнилось мне запретным и недоступным. Мой друг дневал и ночевал с кинжалом. С кинжалом сходил он к роднику, чтобы умыться, и с кинжалом сидел возле очага в долгие зимние ночи, слушая рассказы стариков о давних походах. А вот

мне ни разу не довелось взять кинжал в руки. Я смутно помню день, когда меня впервые взяли фехтовать, но зато отчетливо помню только одно — как протянул мне кинжал старый Чалхия. Кинжал был тяжелым, и мне казалось, что он вот-вот выпадет у меня из рук. Я не знал, что мне надо делать с этим кинжалом. Тогда ко мне подошел Мангия Балиаури, отец моего друга и мой приемный отец, забрал кинжал и протянул его старому Чалхии. Потом взял меня за руку и повел к башне.

Кабы не Мангия Балиаури, все село подняло бы меня на смех, ибо я обещал вырасти мужчиной без кинжала. А мужчина без кинжала немного стоил в глазах селения. Мангия Балиаури явился моим спасителем, и в тот день я впервые ощутил теплоту этого сильного и большого человека. И теплота эта с той поры вечно сопровождала меня, и если все, как близкие, так и чужие, испытывали перед ним не только стеснительность, но еще и страх, то на мою долю осталась лишь стеснительность. Он ни разу не повысил на меня голоса.

А однажды зимней ночью, когда все вокруг было покрыто снегом и село, не зная, чем себя занять, предалось пьянству и хмельной суматохе, гнев старейшины раскатами грома обрушился на селянский люд. Старейшина не пощадил никого, и съезжившееся от страха село забилося по своим башням. Тогда старейшина подошел ко мне, погладил рукой по голове, взял за руку и повел к себе. Всю ту ночь Мангия Балиаури, погрузившись в раздумья, просидел возле очага. А я, укутавшись в бурку, играл с маленьким щенком. Так наступила полночь, и я, смежив веки, сладко уснул, согретый теплом бурки. Когда я проснулся, на дворе был уже день. Старейшина по-прежнему сидел возле очага, но огонь в очаге давно уже погас. В оконце башни заглядывало солнце. Я вылез из-под бурки. Старейшина поглядел на меня и, улыбнувшись, отправил умываться. Я словно бы заново родился в тот день. Надежда снизошла для меня на землю. И надежда та имела лицо Мангии Балиаури и крупные, натруженные, сильные и теплые руки Мангии Балиаури. Я ощущал на своей голове тепло этих рук и ничто на свете не страшило меня. Где бы я ни был и что

бы ни делал, надежда на эти руки всёгда сопровождала меня.



Вокруг наших крепостных башен возвышались хребты. Тогда мне казалось, что мир кончается за этими хребтами, а над хребтами простиралось лишь небо, безначальное и бесконечное синее небо, по которому плавали белые облака. Казалось, что стоит только вскарабкаться на вершину хребта, как тут же коснешься рукой звезд, а по ту сторону хребта круто уходила вниз бездонная пропасть. Меня пугала эта пропасть, и я никогда даже не помышлял взобраться на этот хребет или заглянуть в пропасть. Мое воображение ограничивалось вершиной хребта. Была зима, и я с нетерпением ждал весны, когда с вершины с грохотом двинется лавина, потом покажутся лиловые расселины, снег растает и хребет зазеленеет. На исходе лета желтизна затопит хребет, а в одно прекрасное утро вершина хребта вновь забелеет от первого снега.

И опять-таки он — мой друг и названный брат — впервые сказал мне, что за тем хребтом вовсе не бездонная пропасть, а неведомый и таинственный мир с манящими горами и реками, тропинками и дорогами, селами и ущельями, где высились крепостные башни и жило разливанное людское море. Вот и тот всадник, что в прошлом году завернул сюда, ехал как раз из-за хребта, именно оттуда, из-за хребта и пришли в полночь позапрошлого года те всадники в бурках и в папахах, нахлобученных на самые брови, что угнали скот. Туда, за хребет, не раз ходил старый Чалхия, возвращавшийся затем с ворохом самых разнообразных новостей, которые молча слушают лишь завсегда на сельской площади...

Вот если бы попасть на вершину того хребта! Вот если бы перевалить за тот хребет! Вот если бы повстречаться с тем всадником! Вот если бы лицом к лицу столкнуться с теми, в папахах и бурках!

Но сие было невозможно... Я даже думать об этом не осмеливался. Но друг мой только об этом и мечтал и делился со мной своими мечтами. Я пугался его горячности и с трепетом и восторгом смотрел на него. С трепетом потому, что он смел об этом мечтать, и с восторгом потому, что в эти минуты мой друг был таким,

каким я не смог бы стать никогда. Он был сильнее меня, он был решительнее и ловчее меня. В те минуты, когда друг мой размышлял вслух, и во мне тоже пробуждалась отвага, словно передававшаяся от него. Я забывал о страхе и стеснительности, забывал тепло и покой очага, и единственное, о чем молил я тогда бога, это чтобы он не оставлял меня в одиночестве в крепостной башне, чтобы он не отпускал за тот хребет моего друга без меня, чтобы и я мог вместе с ним хотя бы одним глазком поглядеть на безграничный мир, а в случае надобности и умереть вместе с ним. В тогдашних моих мыслях это и была самая счастливая смерть, и смерти этой я не страшился. Однако, зачарованный подобной счастливой мечтой, я вновь опускался на землю и понимал, что жажда очутиться на вершине хребта была предметом лишь вечерних наших разговоров и никогда не превратилась бы в дело. Никто не выходил за пределы нашей крепости, а если выходили, то лишь старшие, да и то на короткое время. Отрокам и юношам даже думать запрещалось о том, чтобы перевалить через хребет. Там был враг, и за каждым кустом таилась враждебность. И мы лишь мысленно следовали за запретной мечтой, и запретные мысли будоражили наши еще неокрепшие тела, гибкие, как ветви ясеня.

И кто мы такие? За тот хребет переваливают лишь облака, за тот хребет перелетает лишь жеребец старейшины, — твердил я про себя, и тут же в ушах громко звучали слова моего друга: «Я непременно сделаюсь старейшиной!» И так как друг мой не слушался никого (в ту пору ему уже исполнилось двадцать, и походил он скорее на жеребца старейшины, а вовсе не на ослика с печальными глазами), его страстная мечта то и дело вставала на дыбы.

Ах, значит даже мысленно нельзя перевалить через хребет?! Тогда тем более необходимо это сделать!

Стоило нам лишь подумать об этом, как покой был безвозвратно утрачен. Во сне ли, наяву ли мы не переставая думали о вершине того хребта, а перед нашими глазами все время маячили тропинки, которые приведут нас в другое ущелье и по которым мы обойдем весь мир. Мы с трепетом ждали дня, когда наша мечта, порвав все постромки и удила, словно безумная,

вырвется на волю. Так носится необъезженный жеребец, носится, пока его не возьмут в кольцо, носится, пока не выбьется из сил, пока не схватят его за холку дабы обуздать и научить покорности. День тот принимал в наших мыслях все более явственные очертания. Он наступал, постепенно приближаясь, и с таинственным ликом, чье значение было понятно лишь нам, призывал нас. И наконец наступила последняя ночь, долгая бессонная ночь. На заре (да, обязательно должна была быть заря, как не раз рисовалось в наших мечтах), когда крепостные башни будут сморены крепким предутренним сном, когда весь мир будет объят тишиной, мы молча покинем селение.

В ту ночь, завернувшись в бурки и лежа голова к голове, мы, не смыкая глаз, ждали зари. Мы оба думали о том неведомом пути, который лежал впереди. Обоих нас била дрожь: моего друга оттого, что, решив уйти, он непременно должен был уйти, меня же страшило само ожидание этой неизбежной зари. Да, я страшился той, покрытой неизвестностью зари. Мне мнилось, что я должен был восстать против всего света. В моем теле, лишенном желаний, никак не могло уместиться столь большое желание. Оно словно бы раздавило меня, и теперь я со страхом ожидал наступления зари. Откуда-то издалека неслась огромная черная река, которую мне предстояло проплыть против течения. И я со страхом глядел на эту реку, замирал и, зажмурив глаза, ждал, когда она свалит меня с ног. И задремав с этим страхом, я внезапно почувствовал прикосновение сильной руки моего друга... Я открыл глаза — наступила пора ухода. В узкое оконце башни сочился рассвет. В то же мгновение страх куда-то улетучился. Мой друг уходил, и я должен был уйти вместе с ним! Мы словно бы превратились в одно существо. Теперь наши души обуяла лишь одна-единственная страсть — уйти, и эта страсть покорила нас, заставляя делать то, что ей заблагорассудится.

Когда мы вышли из башни, холодный рассвет пронизал нас до костей. Я слышал стук собственного сердца и чувствовал, что дрожу. Теперь вся надежда на спасение воплотилась для меня в моем друге.

— Подожди меня тут, — прошептал он, тихо приоткрыв дверь загона, и растворился во мраке.

Я остался стоять на месте и с пугливым беспокойством смотрел в темноту, из которой должен был появиться мой друг. Ожидание это длилось, как казалось мне, целую вечность. Наконец до меня донеслось конское фырканье. Потом вновь воцарилась тишина. Еще через мгновение послышался топот копыт, и тут же предо мной возник мой друг. В руках он держал кинжал, а по пятам за ним выступало два коня. Кони печальными глазами смотрели в ночь.

— На, держи, — сказал мой друг, протягивая мне кинжал.

Я попятился в испуге.

— Держи, не бойся, — свистящим шепотом повторил он. Шепот этот походил на приказ, и я повиновался приказу. Мы были схожи с войском, выступившим в путь. А войску требуется предводитель, приказаниям которого все подчиняются безропотно. Этими «всеми» был я, поэтому нерешительно, но быстро опоясался, придерживая рукой кинжал, протянутый мне моим другом.

— Без кинжала нам нельзя, — сказал он, и я тут же поверил ему. Как только острие кинжала коснулось моего колена, мне показалось, что все во мне изменилось и теперь я гораздо ближе к своему другу, поблескивающему в ночи горящими глазами и едва скрывающему то ли смех, то ли восторг.

— Вот теперь ты настоящий мужчина, — сказал он и, взяв под уздцы своего коня, пошел впереди. Ухватившись рукой за своего коня, я двинулся следом за ним. Мы шли, то и дело, словно воры, озираясь по сторонам. И то сказать, чем это было не воровство: ни кони, ни кинжалы не принадлежали нам, и то и другое было чужим. Вот так, завернувшись в чужое одеяние и как бы став другими, оставляли мы спящее селение.

Теперь, когда все осталось далеко позади, когда мою обитель едва освещает свеча, вот-вот грозящая погаснуть, когда свинцовая толща времени отделяет меня от той счастливой ночи, от ночи, пронизанной мальчишечьим страхом и своеволием, наиболее отчетливо вспоминается мне именно тот непомерно длинный кинжал. О, какая это была счастливая ночь! Каким счастливым смехом я посмеялся бы над той ночью... Если бы кто вздумал посмотреть на нас со стороны, то

наверняка вместо нас, вместо двух юношей, отправившихся в путь, он увидел бы два огромных кинжала, выучившихся ходить. Да, по дороге двигалось два кинжала, два кинжала вели под уздцы заспанных коней.

Как только мы вышли из села, а башни скрылись с глаз, мой друг издал торжествующий клич, отпустил стремя и, словно вырвавшийся из стойла жеребец, вылетел на тропу. Конь отозвался ржанием и припустил рысью. Огрев коня плетью, я попытался держаться за моим другом, но угнаться за ним было не по силам даже черту. Упоение свободой было так велико, что он с улюлюканьем, песней, угрозами и визгом летел по тропе. Все вокруг пробудилось — пробудились горы, проснулась задремавшая на рассвете река, проснулись цветы и травы. Мой друг с громкими возгласами врезался в ущелье, то и дело окликавая и подбадривая меня, держись, мол, какие тут, дескать, страхи, вот, мол, она, дорога. И я не щадил ни себя, ни коня. Мчался мой друг, и за ним мчался я, лишь бы только он не скрылся с глаз, лишь бы мне не остаться в одиночестве, лишь бы вместе очутиться в том таинственном и чужом мире... И когда мы, преодолев последний подъем, оказались на вершине горы, взошло солнце. Это был тот самый хребет, желанный хребет, за которым кончался наш мир и начиналась бесконечность.

Но за хребтом расстилался новый мир! Открылись ущелья и разлились реки... А за ними новые заснеженные хребты, и вновь хребты, хребты и еще хребты, хребты, покрытые белыми шапками облаков.

— Вон наше селение! — воскликнул мой друг, в восторге соскакивая с коня.

Запыхавшийся, с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, мой друг походил на предводителя войска, одержавшего славную победу. Да, он поверг врага и теперь, полный достоинства, сверху вниз глядел на поле битвы. Однако под нами, под ногами у нас было не поле битвы. Под нами было наше селение — крохотное, прилепившееся к склону горы, с плоскими кровлями домов и башнями с бойницами, тесно прижавшимися друг к другу — селение, затаившее дыхание в ожидании солнца. Селение начинало пробуждаться лишь теперь, лишь теперь оно терло глаза спресонок, теперь лишь ловило оно первые лучи солнца, да-

же не догадываясь о том, что мы, блудные его сыновья, унесенные ветром, усталые и счастливые, смотрим на него сверху. Селение съезжилось, уменьшилось прямо на глазах, и мы уже не боялись этого маленького селеньица. И прежде чем мы пришли в себя, прежде чем селение, безмолвно погруженное в думы, успело сказать нам что-либо, дабы заставить одуматься и вернуться, мой друг вновь вскочил на коня, вновь издал воинственный клич и, ни разу не оглянувшись, стал спускаться вниз по склону. И я, так и не успев прийти в себя, вскочил на коня и, нахлестывая его по бокам, последовал за стремительно удаляющимся другом.

Селение скрылось с глаз. Обернувшись, чтобы еще раз увидеть его, я обнаружил на месте селения лишь хребет и лазурное небо, освещенное солнцем.

Полдень настиг нас в ущелье, раскинувшемся по обе стороны реки. Стараясь не смотреть друг на друга, мы молча трусили берегом реки. Первые восторги улеглись, и теперь, присмирев и низко опустив головы, следовали мы своим путем, не зная, что готовит нам этот путь.

Мы спешили у самой кромки воды, пустили пастись наших коней, а сами присели тут же, на траву. Мой друг открыл переметную суму, разломил надвое лепешку, протянув мне половину. То же самое проделал он с сыром. Мы стали есть и вновь развеселились. Не успел я откусить и нескольких кусков, как мой товарищ уже разделался и с лепешкой, и с сыром. Я протянул ему оставшуюся у меня часть. Он, не отказавшись, тут же взял у меня половину и, не мешкая, мигом прикончил и ее. Теперь мы сидели, давясь от смеха и потешаясь над нашим волчьим аппетитом. За смехом мы вновь позабыли обо всем на свете и расфыркались, словно жеребцы.

Друг мой вскочил на ноги. Оправив талавери¹, словно собираясь произнести речь перед старцами на сельской площади, он обнажил кинжал и крикнул мне: «А ну, выходи, коли ты и впрямь мужчина!» Мне даже в голову не пришло обнажить кинжал. Я по-прежнему сидел, не шелохнувшись, и хохотал. А друг мой вновь орал во все горло и теснил невидимого врага, чествуя и

¹ Мужская одежда типа кафтана, расшитая крестами.

кляня его за трусость. Потом он вновь кричал мне, а ну, выходи, мол, попробуй, если не трус! Но я по-прежнему сидел на месте и смеялся. Тогда он утихнул и, оборотясь ко мне спиной, с размаху вогнал кинжал в землю.

Я понял, что он обиделся!

Я вдруг почувствовал огромное расстояние между нами и испугался этого расстояния. Я понял, что его конь по-прежнему несется впереди, и я со своим конем никогда не смогу нагнать его. Да, конь мой тащился еле-еле и ни понукания, ни угрозы ничего тут не могли поделать. Понукания мои были едва слышны, а угрозы моих коней не боялся. Мой друг вихрем несся впереди, и расстояние между нами увеличивалось все больше и больше. Я никогда не сумею догнать моего друга, он вечно будет далеко впереди, и я лишь издали смогу судить о его поступках. Он всегда будет делать то, что ему заблагорассудится, и никогда не спросит у меня совета...

Он вновь вскочил на ноги, вытащил из земли кинжал и навис надо мной. «Возьми кинжал!» — крикнул он, не сводя с меня взгляда. Я глянул ему в глаза и устранился! Передо мной стоял кто-то другой, кто-то чужой и яростно бросал мне вызов. Я повернулся спиной к этому чужаку и направился к реке.

И внезапно меня вновь обуяли давешние страх и зависть. Я завидовал его безудержному и бесшабашному мальчишеству, завидовал тому, что сейчас, когда он предавался самозабвенным мальчишеским страстям, я был не с ним. Он был сам по себе, я — сам по себе. Эти яростные глаза и этот кинжал отдаляли нас друг от друга, и я понял, что по-прежнему остался в одиночестве. И я, как и прежде, устранился одиночества, а еще больше — потери друга. Его безотчетный взрыв словно бы отбрасывал нас в разные стороны и повергал меня в отчаяние. И отчаяние это заставило меня повернуться к нему и схватиться за кинжал. «А ну, выходи!» — взревел я, внезапно пугаясь самого себя. Злость душила меня. Я терпеливо ждал, когда мой друг возьмется за кинжал и встанет лицом к лицу со мной. В это мгновение все словно бы исчезло, и меня захлестнуло лишь одно смутное желание — повергнуть, поставить на колени того чужого, кто

стоял передо мной. «А ну, выходи!» — во все горло орал я и ждал, ждал...

Он так и взвился, схватился за кинжал и прыгнул на меня.

Потом все вокруг померкло...

Когда я открыл глаза, он стоял передо мной разгоряченный и смеялся.

Кровь текла по его лбу.

Закрыв лицо руками, я отступил.

— Не бойся, — донесся до меня голос моего друга.

Я поглядел на него и вновь вздрогнул.

Кровь моего друга сияла на солнце.

Мой друг стоял и смеялся.

Внезапно, словно бы подгоняя лошадиный табун, друг мой взвизгнул и, возбужденный, со всех ног бросился к реке. Он плеснул себе в лицо водой, откинул голову, поглядел на солнце и вдруг, широко раскинув руки, стал приплясывать на месте с озаренным лицом. Он был лицом к лицу с солнцем, горящий, раскрасневшийся и счастливый, он состязался с солнцем, торжествующим кличем призывая к себе разлегшиеся вокруг горы.

— Иди сюда! — крикнул он и засмеялся.

Я стоял, издали поглядывая на него.

Тогда мой друг подбежал ко мне и обхватил меня руками за плечи, продолжая приплясывать. Я не помню, как задвигались мои руки и ноги, вторя восклицаниям моего друга, и как я окончательно скинул с себя груз страха и стеснения. Друг мой вскинул мою руку вверх и, вытянувшись в струнку перед солнцем, огласил горы восторженным криком:

— Эге-гей! Взгляните на нас!

За криком вновь последовало приплясывание. Да, мы плясали, а в ушах звучала музыка природы. Все вокруг источало музыку — горы и река, родники и солнце. И мы, освещенные лучами заходящего солнца, свободные, как ветер, пели, как бы вторя этой музыке, пели собственной свободе, пели во весь голос, пели всей душой и всем телом. Мы словно бы были один на один с миром и увлеченные, раскрепощенные этим одиночеством, этой единичностью, подобно единственному детям этого мира, металась между небом и землей. Мы во все глаза смотрели на солнце, и никто в мире не ве-

дал и не видел эту нашу бескрайнюю свободу, никто, кроме самого заходящего солнца.

Боже, помилуй нас! Это была наша первая и последняя свобода...

Солнце уже садилось, когда мы вновь вскочили на коней и собрались тронуться. Собрались, говорю я, ибо мы сами не знали толком, куда нам держать путь. Ветер первой свободы утих, мы ступили ногой на желанный хребет и увидели мир. И теперь мы уже не знали, что готовит нам этот мир, по какой тропе нам надо двигаться, куда держать путь и зачем. Я только собрался было сказать, давай, дескать, повернем назад, как мой друг, словно бы угадав мои мысли, хлестнул коня плетью и пустился в дорогу. Я безмолвно последовал за ним. Ехали мы лениво и нехотя. Страсти улеглись. Вокруг царил тишина, и не было слышно даже цокота копыт наших коней. Оба мы думали о неизвестном, скрытом в тумане завтрашнем дне, но старались ни о чем не говорить друг другу. Внезапно злость охватила меня. Покорность, пронизывавшая меня до мозга костей, вдруг подевалась куда-то, и только я собрался было крикнуть, куда, мол, мы прем, скажи на милость, не то я поверну назад, как кони наши выпрыгнули из ущелья на маленькую зеленую лужайку. В конце лужайки у родника сидело два человека. Один из них был высок и сухощав, другой же мал, но пузат. У обоих папахи были надвинуты на самые глаза. Едва завидев нас, они, словно только того и ждали, встали, сдвинули папахи на затылки, открыв лица, и улыбнулись. На душе у нас сделалось легко: два путника, устроившихся поужинать на траве, улыбаясь, звали нас к себе. Видно, та наша дорожная лепешка не очень-то нам помогла, голод напомнил о себе с новой силой, и мы оба, не сговариваясь, устали на снесь. Наш взгляд не укрылся от хозяев. Не успели мы спрыгнуть с коней, как они тут же пригласили нас к застолью. И мы не заставили себя упрашивать. Усевшись на траву, оглядели еду: сыр, ветчина, лепешка, и тут же возле камня прикорнул небольшой бурдюк из козьей шкуры.

Худощавый, улыбаясь и поглаживая черную бороду, допытывался: из какой мы деревни, чьи сыновья, ушли ли из селения по своей воле или нас попросту изгнали. Они посмеивались, мы посмеивались то-

же, а за этими смешками и солнце зашло. Художавый обратился к пузатому: как же так, встретить таких славных ребят и не выпить за их здоровье, нехорошо вроде. Пузатый тут же засуетился, налил из бурдюка водки и передал моему другу. Мой друг, не мешкая, принял у него маленький рог с водкой, крикнул, сказал: «Будем здоровы» и осушил сосуд. Я перепугался, ведь наступал мой черед, и я со страхом следил за рукой, ухватившейся за шейку бурдюка, и одновременно за маленьким рогом, наполнявшимся медленно, но верно. Мне ни разу еще не доводилось пить водку, и она представлялась мне волшебной жидкостью, меняющей лик человека, заплетающей ноги и развязывающей язык. Сердце мое сильно забилося, когда я, протянув руку, взял рог. Видно, они заметили, что я трушу, заметили, что это мой первый в жизни рог, и стали подбадривать меня: ну, давай, мол, не робей, можно подумать ни разу не пил, чего ломаешься, а если и впрямь не пробовал, посмотришь, какой сладкой она тебе покажется, может, еще и повторения попросишь. Мне не хотелось пить, но мой друг пронзительно поглядел на меня и отрубил: пей. Одно это слово вернуло мне уверенность. Я поднес рог к губам и залпом выпил его содержимое. Не успел я перевести дух, как сотрапезники мои разом загалдели, что и говорить, настоящий, мол, мужчина, смотри-ка, выпил залпом, да так и нам не под силу. Но в то мгновение я ничего не слышал. Во рту разлилась горечь, острая, как огонь. Потом горечь постепенно улетучилась, оставив лишь огонь. Огонь этот разлился по всему телу, неся приятное тепло.

Я сидел, выставив вперед руки, согретый и убаюканный этим приятным теплом. И даже не заметил, как в руку мне вложили еще один рог, как я поднес его ко рту и опрокинул. Но второй был уже не столь горьким -- горечь исчезла, уступив место огню, приятному огню, более сильному, более жгучему и, что самое удивительное, более притягательному. И я с благодарностью посмотрел на своих добрых хозяев. Мне уже хотелось сидеть возле этого огня, я изо всех сил тянул к нему руки, и они согревались все больше и больше. Я осмотрелся вокруг и понял, что и мои друзья находятся в том же состоянии. Из глаз у них

УДК 82.09
ББК 84.030.01
012-0110333

сынались такие же искры, какие я ощущал в собственных глазах. И когда по кругу пошел третий рог, уже весь мир принадлежал нам, мы любили его, и двое этих добрых путников в папах, напозших на самые брови, были теперь самыми близкими нам людьми во всем мире. Мы доверились им, поделились с ними тайнами нашего побега и жажды увидеть мир, тайнами, которые так долго терзали нас и которые нам с большим трудом удалось воплотить в действительность. И теперь эти два добрых путника стали поверенными наших великих тайн. Мы рассказывали им всякую всячину и, сделавшись вдруг поразительно словоохотливыми, перебивали друг друга, пели и беспричинно хохотали. Наши хозяева охотно подпевали нам. Между тем наступили сумерки. А когда по кругу пошел еще один рог, сумерки превратились в глубокую ночь. Да, вокруг была ночь, хозяева наши клевали носами, шум реки доносился все глуше и глуше, язык едва ворочался во рту, а ухо уже не улавливало смысла сказанного...

Я встал и, шаря руками, забормотал: «Георгий, Георгий...» Но голоса Георгия я уже не слышал, и друга моего нигде не было видно. Вокруг словно бы не стало ничего, ни хозяев, ни коней, ни родника, ни моего друга Георгия. И вот так, шаря руками и бормоча, я с трудом наткнулся в темноте на своего друга. Мой друг тоже шел мне навстречу, и он тоже искал меня, и он тоже выкрикивал мое имя, призывая меня. Наконец мы нашли друг друга и чуточку приободрились, прижавшись плечом к плечу, щека к щеке, словно костыли, поддерживая друг друга. Теперь мы были уже вместе, и ничто больше не тревожило нас. Вокруг сгустился мрак, и вот так, подпирая друг друга, мы повалились на траву.

Когда мы проснулись, солнце светило нам прямо в глаза. Мы оглянулись по сторонам, но все вокруг было нам вчуже. На мгновение мы как бы позабыли, где находимся.

Потом мы вспомнили все и, лениво потянувшись, приподнялись с земли.

Ни наших хозяев, ни наших коней не было видно. Мы осмотрели себя — кинжалов как не бывало.

Мы не могли поверить собственным глазам. Потом мы вскочили, крича, взбежали на пригорок и осмотрелись. Горы повторили наши крики, но никто другой на них не отозвался. Правда, словно молния, поразила нас: нас обманули! Напали! Увели коней и украли кинжалы! Встали в полночь и по-воровски удрали... «Быстрее по коням! Хватай кинжалы!» — орала мы, но не было ни коней, ни кинжалов.

Потом мы бежали. Мы и сами не знали, куда, за кем и за чем. Бежали потому, что стоять на одном месте нам было невозможно. Мы должны были что-то предпринять, что-то сделать и мы делали: бежали! Мы гнались за ворами и чем дальше мы сбегали вниз, тем меньше надежд оставалось у нас найти кого-либо. В конце концов, выбившиеся из сил, взмокшие и голодные, мы повалились на пригорок и, повернувшись друг к другу спинами, заплакали.

Так сидели мы спиной друг к другу и плакали, пытаясь скрыть один от другого, что плачем. Я знал, что он плачет, и он знал, что я плачу. Когда слезы высохли и мы, выплавав всю подступившую к горлу обиду, успокоились, мой друг поднялся, подошел к роднику, умылся и, не глядя на меня, произнес:

— Куда нам теперь идти?

Он спросил меня, куда идти, ибо идти нам было некуда. До сих пор мы еще знали, чего хотим и куда идем, и до сей поры предводителем был он — он шел, и я покорно следовал за ним. Но теперь мы уже ничего не знали, свободный, бескрайний и вольный мир, который, заставив забыть обо всем на свете, манил нас к себе, обернулся врагом. Мы не любили больше этот мир, и чем быстрее мы убежим от него, тем быстрее возвратим себе свободу, которую мы уже имели, не догадываясь об этом.

И была ли вообще свобода в этом мире? Стоило ли выходить на дорогу и искать ее, подобную ветру в пустыне?

Горделивая уверенность моего друга исчезла без следа — теперь он стоял спиной ко мне, не зная, что предпринять. Но я видел его глаза, в которых вчерашняя запальчивость мальчишки уступила место горечи, отвращению и недоверию. Он был уже не давешним

задирой, а беспомощным и растерянным ягненком, оказавшимся на берегу реки.

Внезапно сознание мое прояснилось, и перед нами возникло то крохотное, прилепившееся к ущелью селение, которое с высоты хребта показалось нам непомерно съезжившимся и незначительным и на которое мы поглядывали несколько свысока, словно полководцы на повергнутые к их стопам побежденные города. Теперь нас притягивало тепло того крохотного селения, и мой друг был уже не торжествующим полководцем, а повергнутым солдатом, которому не оставалось ничего другого, как, с трудом одолев подъем, отыскать собственное жилище. И я, не обронив ни слова и не глядя на своего друга, повернулся и пошел по тропе, ведущей к горе. Я знал, что и у него не оставалось иного выхода, что и он должен был пойти этой тропой, молча, не сказав ни единого слова.

И он пошел за мной... Мы шли, слыша собственные шаги. Разговаривать мы не осмеливались, стесняясь друг друга. И только собрались было перевалить через хребет, как на дороге нам повстречался еще один путник.

Поравнявшись с нами, он поздоровался.

— Кто ты?

Услышав за спиной голос своего друга, я остановился.

— Путник я, — спокойно ответил знакомец.

И тут я тревожно оглянулся..

Мой друг ударил незнакомого путника!

Все случилось в мгновение ока, и я не успел помешать ему.

Мой друг топтал знакомого ногами.

Мне с огромным трудом удалось вырвать его из рук моего друга. Путник ошарашенно глядел на нас и плакал. Потом он встал, приблизившись к моему другу, плюнул ему в лицо и, оборотясь к нам спиной, продолжил путь.

Мы долго не могли отвести глаз от удаляющегося путника. Он шел, согнувшись в три погибели, одинокий, униженный и оскорбленный.

— Почему ты ударил его? — тихо спросил я.
— А почему нас ограбили? — вопросом на вопрос ответил мой друг.

— Но ведь это же был не он. Ведь то были другие... — сказал я.

— Какая разница... — отрезал мой друг.
Я ничего не сказал больше. Мы молча продолжили путь и вскоре оказались на вершине хребта.

— Какая разница! — еще раз повторил он.
Я понял, что он по-прежнему думает о незнакомце...

Вскоре нас настигли преследователи и, связав по рукам и ногам, отвели в село.

Старейшина — Мангия Балиаури не пожелал нас видеть и другим не дал на то права. Нас разлучили и заточили в погреб. Тогда мы еще не знали, что ожидает нас, что решили и вписали в книгу судьбы неблагодарных детей сельский старейшина и его соратники. В те мгновения нас угнетали лишь потеря уважения, бесчестие и унижение. Старейшина был мудр и он прекрасно понимал — ни побои, ни угрозы, ни даже страх смерти не шли ни в какое сравнение с тем, что называлось потерей уважения, бесчестием и заточением в погреб как каких-нибудь злоумышленников. Ничто не могло подействовать сильнее на мальчишескую гордость. И когда нам объявили, что изгоняют нас за тридевять земель, и я, и, наверное, мой друг вздохнули с облегчением. Мы все едино не смогли бы взглянуть в глаза сельскому люду и своим ровесникам, а мой друг уже никогда не смог бы пройти гоголем по сельской улице. Поэтому изгнание за тридевять земель должно было показаться ему и его гордости величайшим благом и спасением. Мы знать не знали, что ждет нас там, за тридевятью землями. Вот так оно и было. Нам даже мельком не удалось поглядеть друг на друга. Меня усадили на коня и вывели на дорогу. Провожали меня два стража, вооруженные кинжалами и пистолетами. А я никуда не собирался убежать и думал лишь о своем друге.

Меня отвезли в монастырь.

А друга моего Георгия Балиаури отдали в царское войско.

Да, это было давно, в нашей юности, когда мой друг был всего лишь мальчишкой и только. Теперь это всемогущий старейшина селения, многое повидавший на своем веку, удалившийся от селения и запершийся в легендарной башне. И мысль, которая осенила меня тогда, вновь не дает мне покоя: а есть ли вообще у селения старейшина? Может, его и нет, а селение даже не ведает об этом? Может, среди этих крепостных башен нашептывается лишь легенда о старейшине, а сам старейшина давным-давно уже ушел туда, куда рано или поздно должен уйти каждый грешный смертный? И может, башня, где должен обраться старейшина, пуста, и селение это, огорошенное и потрясенное приближающимся мором, трепещет лишь от надежды на пустоту? Может, все уже завершилось, и я вернулся тогда, когда возвращение потеряло всякий смысл? Откуда вернулся я? И чего я желал, что привело меня сюда?.. Сколько воды утекло с тех пор, как я навсегда удалился из этих краев? Кто знает, сколько прошло времени... Теперь я знаю лишь одно, что я стар и что я жду появления постаревшего старейшины в распахнутых дверях башни... Постаревшего, одряхлевшего старейшины, некогда бывшего моим другом...

Откуда пришел я?

Да, я пришел из монастыря...

Настал день кончины моего друга, и я должен присутствовать при его кончине...


Такова воля всевышнего...

О, как далеко осталось все, в какой сумеречный сон погрузился первый день моего прихода в монастырь... Как утомителен оказался долгий день брэнного мира. Как утомительно и это ожидание, стояние у разверстых дверей башни и ожидание дряхлого старейшины. Ждешь его, ждешь, а он не появляется. Ждет его появления и уstraшенное мором селение, ждет, с ужасом озираясь по сторонам, словно из башни вместе со старейшиной выйдет мор со своей смертоносной косой. А я ничего не желаю: ни этого селения, ни мыслей о море, ни счета оставшихся дней. Все осталось далеко, очень далеко... Буквы путаются, буквы словно бы разбегаются, страшась друг друга и не желая складываться в слова. И в хаосе этих букв

я вижу дрожащую, морщинистую, восковую руку. Эта рука отца Стефанэ, настоятеля монастыря. Рука дрожит, трепещет, и гусиное перо медленно выводит слова... Слова ложатся на бумагу, становятся явью, оживают, наполняются мыслью, и вот я уже отчетливо вижу изборожденное морщинами чело и потухшие очи отца Стефанэ... Вот он предо мной, «духом прост и сердцем чист». Он по-прежнему поражает меня своей незлобностью, благородной бородой, закрывающей грудь, непорочностью детских своих очей... Да, это он, достойный пастырь, терпеливо сносивший многоликие беды, дух, собравшийся отринуть плоть. Лик этот зрел лишь в келье сей, с челом, склоненным над древними манускриптами, освещенными светом свечи, с очами, безмолвно вперившимися в вещие буквы.

Я любил мгновения, когда монастырские братья, завершив вечернюю молитву, растекались по своим кельям и в монастыре воцарялась тишина. В эту пору я тихонько, крадучись, выходил на монастырский двор и, притаившись в укромном уголке, созерцал залепленные мраком затворенные окна. Лишь в одном из узких монастырских окон теплился слабый трепещущий свет. Это была келья отца Стефанэ, оконце его кельи. И я знал: отец Стефанэ бдит, вглядываясь в испещренные письменами, выцветшие и истрепанные манускрипты, освещенные неверным светом свечи; в этих древнейших, пожелтевших манускриптах — иной мир, и отныне мир этот принадлежит и мне. Мир этот полон житиями мучеников и святых, пронизанными страданием, скорбью, верой и верностью. И в этом сумеречном мире, словно свеча, теплится и светит отец Стефанэ.

Каково было первое чувство, охватившее меня тогда, давно, при первом моем вступлении в монастырь?! Страх пред мрачными сводами, страх пред распятым на кресте Христом, страх пред окаменелыми очами богородицы. Страх пред затхлой кельей, страх пред затемненными уголками молельни, страх пред людьми... Теперь страх этот исчез. Морщинистые, слабые и добрые руки отца Стефанэ побороли страх. Страх этот был побежден его благородной бородой, его доверчивыми глазами и более всего теми древнейшими манускриптами, изящная и безошибочная переписка, раз-



рисовка и украшение которых стали делом всей моей жизни. Из этих изящно вырисованных букв мне слышатся то печаль из-за греховности человеческой природы, то утешение и жалость, отпущение грехов и искупление зла добром. Благодаря этим книгам я как бы заново родился на свет. Во мне проснулась дотоле дремавшая сила, и сила эта перетекает в меня из, казалось бы, покорных, коленопреклоненных, молящихся с вознесенными руками книг. Но за этой покорностью мне видятся бунтарство молящихся и та скрытая сила, которая всегда запружена в душе каждого покорного. Я уже человек.

Да, весь этот монастырь, тонущий во мраке, освещает лишь одна слабая свеча, и свеча эта — отец Стефанэ. Но словно кто-то резко срывает с петель затворенные двери кельи, и ветер, ворвавшийся в келью, задувает свечу. А в открытую дверь до меня доносится одышливый храп нашего вездесущего и всевидящего Хечины — он же отец Тэвдоре.

Что напомнило мне Хечину здесь, возле крепостной башни моего селения, когда мор подступил к его крепостному валу и уstraшенный сельский люд видит спасение лишь в явлении старейшины, старейшины, которого давно никто не видел и неизвестно, есть ли он вообще под мрачными сводами башни? Что нужно здесь Хечине, день и ночь словно гроза грохотавшему над монастырем и являвшему собой гром небесный?

Там, где отец Стефанэ, там и Хечина. Я и сейчас слышу его гудение, вижу его черную, беспокойную фигуру, настающую среди тихих монастырских стен, и никому неведомо, откуда он явится, когда обрушится на голову и куда исчезнет, чтобы явиться вновь и вихрем пронестись в монотонной тишине монастыря.

Хечина был повсюду, все слышал и все видел. Не страшился он ни бога на небесах, ни отца Стефанэ в монастыре, не страшился до той поры, пока не предстал перед очи настоятеля в его келье, как предстают обычно пред богом... А это случалось крайне редко... Отец Стефанэ не часто призывал к себе кого-либо, и если кто и осмеливался на сие по собственной воле, так это Хечина, да и то чтобы возвести хулу на кого-нибудь либо предать анафеме. Но никто еще не помнил, чтобы Хечина, он же отец Тэвдоре, вышел из кельи

святого Стефанэ оправданным. Хечина лгал! Сатана поселил ложь в его теле, и теперь плоть Хечины не в состоянии говорить правду. Лгал он и тогда, когда подобно грифу шипел на весь монастырь, и тогда, когда, уронив голову на грудь, с оскорбленным и покорным господу ликом представлял пред очи настоятеля монастыря, дабы воззвать к справедливости.

Да, Хечина был неправ и там, в келье старца, пред настоятелем, но все равно он ни разу не вышел побежденным из божьей обители. Стоило захлопнуться за его спиной двери кельи, как во мгновение ока покорный и согбенный Хечина распрямлял плечи, и вот уже его пронзительный голос, подобно повозке, перекатывался в притихшем монастыре.


Почему же не изгонял Хечину монастырский настоятель? Почему не отсек его раз и навсегда, дабы в холодных монастырских стенах восторжествовала истинно монастырская тишина? А дело в том, что монастырю были необходимы и святой старец — отец Стефанэ, и Хечина. Хечина был самой жизнью, словно буйвол ворвавшейся внутрь монастырской ограды. Монастырю, видимо, требовался хотя бы один такой Хечина, время от времени баламутивший пресный быт старцев, изменявший привычное русло реки и вновь возвращавший ей прежнее течение.

Заря вступала в монастырский двор с криком Хечины. Это был крик раннего петуха, но только более резкий, горделивый и звучный, Хечина быстро управлялся с молитвой (во мгновение ока осеняя себя крестным знаменем) и пока честная братия продолжала бормотать в темных уголках молитвы, Хечина уже шнырял по двору с быстротой кошки и коварством тигра. Хечина был повсюду: вот он выныривал в модельне, а уже через мгновение голос его доносился из кладовки и, не успев еще затихнуть здесь, рокотал уже во дворе, подкатываясь к воротам. Стоило только уединиться двум монахам, чтобы пошептаться, как третьим тут же оказывался Хечина. А вечерней порой, когда сельские женщины возвращались от родника, Хечина то бросится, бывало, к калитке, а то приникнет к бойнице в ограде и давай выкрикивать слова, совершенно неподобающие устам старца. В такие минуты Хечина был похож уже на осла, на пепельного

сгорбленного осла, и голос его доносился из бойницы совсем как ослиный крик из загона в часы кормежки. В полдень Хечина исчезал. Время это в монастыре напоминало появление солнца в ненастную погоду. Старцы высыпали во двор, молодежь собиралась вместе, перебрасываясь шутками. Все, что копилось долгое время, говорилось, выплескивалось сразу, без утайки. Казалось, что Хечины не существует в природе, что Хечина — навсегда позабытое прошлое. Светлая улыбка обещала бескровные лица юных братьев, неиссякаемая благодать осеяла морщинистые лбы старцев. И если к тому же в то великое мгновение с привычной умиротворенностью и легким покачиванием головы пересекал монастырский двор настоятель отец Стефанэ и с таким же спокойствием и умиротворенностью прикрывал за собой двери кельи, либо модельни, всем монастырем овладевало божественное мягкосердечие, и солнечная ласковость, божественный покой нисходил на бранный мир, ручейком растекалась пора ангельской жизни.

Но пора эта продолжалась недолго. Еще немного, и к ограде словно бы подступал нагруженный вол. Он, сопя, переступал через дубовый порог, скидывал хурджин, вытирал пот со лба огромным красным платком и окидывал взором монастырский двор. В такие минуты Хечина безмолвно и беззвучно говорил монастырю: а вот, мол, и я, и я не из тех, кого так просто забыть, нет, я из тех, кто всегда возвращается, куда бы ни пришлось идти, возвращается с неизменным лицом и неизменной душой... Глядел Хечина на монахов, съжившихся под ореховым деревом, и в эти минуты он был уже не волон, а грифом. С грифовой жадностью хватал он хурджин (хурджин этот был святая святых для него, и боже упаси кого-нибудь притронуться к нему!), еще раз оглядывался по сторонам, словно предостерегал, чтобы никто не осмелился дотронуться до хурджина, и уносил в свою келью бог-весть где и каким путем приобретенную добычу.

Монахи расходились, зная, что для Хечины наступала пора утоления голода. А аппетит у него был более чем ненасытным. Долго сиживал он в своей келье, поглощая в полном одиночестве огромные свои припасы. Никто бы не осмелился зайти к нему в эти




святые мгновения. Не осмеливался на это и мальчонка, стороживший возле его дверей и оповещавший многоопытным своим видом весь монастырь: ^и тише, святой старец изволит трапезничать! Узкоплечего, глазастого, худосочного мальчонку Хечина привел самолично. Мальчонка этот походил на таинственный хурджин — никто не ведал, где добыл и откуда доставил его монах. В один из дней мальчонка возник возле дверей кельи Хечины, и сидел он так уверенно, будто всю жизнь просидел тут, сторожа монаха. Мальчонка прислуживал Хечине, не отпускавшему его ни на шаг от себя, и горе тому, кто осмелился бы косо посмотреть на службу: Хечина учинял в монастыре такое, словно было произнесено всуе имя самого господа бога.

Вечера Хечины, конечно, если можно назвать вечерей убаживание урчащего желудка одного-единственного человека, продолжалась довольно долго. Наконец, Хечина рычал, как нажравшийся лев... Мальчик тут же взвивался, влетал в келью и спустя некоторое время с объедками в руках спешил в конец двора. После этого поднималась тревога: наступала пора хождения на цыпочках и перешептываний — Хечина засыпал... И дабы он, не приведи господи, не проснулся невзначай, вся жизнь в монастыре замирала на несколько часов, пока солнце не опустится за голубой хребет, возвышающийся над пустыней. Лишь орел, паривший над монастырем, имел право ненароком задеть когтями звонницу, но и он, встревоженный мергвой монастырской тишиной, пропадал где-то в пустыне.

Но стоило солнцу сесть, как проснувшийся Хечина вновь рычал, и мальчонка, дремавший возле двери, тут же пружинно подскакивал, влетал в келью и спустя мгновение с кувшином в руке несся к роднику. Дверь кельи оставалась распахнутой настежь и из нее, словно из черноты пещеры, зевая и грохоча, вылезал заспанный дэв...

Во дворе сгущались вечерние сумерки, монахи топились в молельню, вечерняя молитва обволакивала глухие монастырские стены, а нажравшийся, выспавшийся и вошедший в силу Хечина все рыскал по кельям, темным закоулкам и кладовым, пока в конце



концов не запрется, бывало, опять в своей келье, что бы сотворить окончательный суд над увиденным и наруженным. Для Хечины все двери были открыты, повсюду он входил без стеснения, как на поводу водя за собой своего худого и мелкокостного мальчонку. Возвращавшиеся с вечерней молитвы монахи находили полный разор в своих кельях, распотрошенные тахты, отомкнутые сундуки — следы Хечины, у которых не было ни начала, ни конца.

И если среди ночи вас пугало что-то — либо шаркающий шаг, отдающийся в келье, либо шепот и громкое сопение возле двери кельи, либо воровато хлопнувшая вдруг дверь вашей же кельи, так и знайте — то был Хечина... Стоит и смотрит... Да, Хечина любил вот так стоять и смотреть посреди ночи, смотреть, не отрывая глаз и не мигая, на тебя спящего...

Так что же все-таки напомнило мне Хечину? Я стою возле крепостной башни моего селения и ожидаю моего друга Георгия Балиаури, думаю о Георгии Балиаури так же, как думал о нем тогда, много лет тому назад в монастырской тишине и выхоленной, выжженной пустыне, простиравшейся сразу за монастырем, по ту сторону маленькой речки. Да, я любил бродить по пустыне и наблюдать, как опускалось солнце за горы, голубеющие вдаль у самого горизонта. Я сидел на камне и наблюдал, как пустыня приобретала сумеречный оттенок, но оттенок этот существовал недолго — лишь несколько мгновений, потом он сгущался, темнел, и наступала ночь. В эту пору я думал о горах, о своем друге, и в мыслях моих горы и мой друг сливались друг с другом. Мой друг мнился мне вершиной, наряженной в белую чоху снегов. И в этой белой чохе он вскакивал на белого коня и несся по тропинке. Горы были далеко, и мой друг был далек, как эти горы. Мне была невыносима эта отдаленность, и я хотел бежать тотчас же, бежать сразу, без оглядки. Но стоило мне сделать лишь шаг, как я тут же вспоминал доброе лицо Стефанэ, его благородную бороду и более всего — его одиночество и благостную умиротворенность. Вспоминал и обессиленно, безвольно падал ничком на землю, припадая сердцем к пустыне.

В монастыре нельзя плакать, нельзя думать о го-
рах и призывать своего далекого друга. Только мельк-
нет, бывало, запретная мысль, и тут же надо мною вы-
растает Хечина, словно бы увидевший и угадавший
мои тайные помыслы. И я чувствовал, как опускались
на мои плечи тяжелые могучие лапы, когтившие и под-
брасывающие мою плоть. Мы стояли лицом друг к
другу, скрестив взгляды, но я недолго выдерживал
его всевидящий, всезнающий взор и, понуря голову,
брел к монастырю. В эти минуты Хечина не скрывал
радости: я покорился! Он все проведаль! А я брел к
монастырю и думал, что уединение невозможно даже
в заброшенном и богом позабытом монастыре, где
вокруг пустыня и всего два десятка монахов. А я жаж-
дал уединения, жаждал одиночества в своей пустыне
один на один со своими думами...

Я думал о девушке... Эта мысль, словно живая,
выросла предо мной и не давала покоя... Я не знал,
кто эта девушка, откуда она взялась и как ее звали.
И лицо ее было словно в тумане, но лицо это было
прекрасно. Девушка обязательно должна была быть
красивой, обязательно невысокой и худенькой, чтобы
я мог подхватить ее на руки и понести так по песку
пустыни. Девушка эта во мгновение ока должна была
угадывать мои мысли и делить со мной все радости и
печали. Девушку эту осенял голубой ореол далеких,
сумеречных гор, она была теплой и нежной, от нее
исходил дурманящий аромат то ли яблоневого цвета,
то ли благоухающего дикого шиповника. И мне каза-
лось, что стоит лишь одолеть высокую монастырскую
ограду, перейти через реку и очутиться в пустыне, как
девушка эта бросится мне навстречу, улыбнется и про-
тянет руки. Потом мы опустимся на жухлую, низко-
рослую траву пустыни и забудем обо всем на свете,
кроме друг друга, наше дыхание смешается, а вокруг
будет тьма... Я убегал в пустыню, но чем дальше оста-
вался монастырь и чем сильнее дул мне в лицо ветер
пустыни, тем больше убеждался я, что никто не ждет
меня там, куда стремилось мое тело. Здесь, на этой
земле, не было никого, кроме меня. Земля словно бы
уменьшилась, превратившись в одну горсть пустыни,
и я стоял один в этой выжженной пустыне, а над го-
ловой холодно светили мириады звезд.

Девушка пришла... Когда это было, на следующий день или много времени спустя? И сколько ждал я ее в пустыне: годы или дни? Но это было сладостное ожидание. Я верил, что девушка придет, и она пришла. Это случилось в один знойный, подернутый пыльной завесой день, в пору полдника, когда в ограду монастыря внезапно ворвался деревенский гам.

Селение за рекой было невелико, до сотни, от силы, небольших дворов. Это заброшенное, крохотное, молчаливое, неулыбчивое и безрадостное селение едва переводило дух в битве со зноем, скудостью и безводием пустыни. Монастырь влачил свое брренное существование отдельно, селение — отдельно. Мы как бы не нуждались друг в друге, и сельский гам лишь изредка врвался в тихие кельи монастыря.

В этой полуденной дреме гомон угрюмого селения оказался для всех большой неожиданностью.

Монастырские ворота отворились, и гомон сделался еще сильнее.

Едва я вышел на дорогу, как на меня тут же обрушились собачий лай и мальчишечье улюлюканье.


По дороге бежала оборванная и зареванная девчушка. Следом за ней неслась целая свора беснующихся псов. Толпа гомонящего сельского люда с батогами, вилами и мотыгами натравливала и без того обезумевших псов. Девчушка, не издавая ни звука, бежала, словно немая. Она то падала на землю, с ужасом ожидая настигающей ее своры, то вновь вскакивала и неслась дальше. Ощетинившиеся вилами и батогами старухи, женщины, дети, обгоняя друг друга и сотрясая воздух проклятиями и угрозами, пытались взять девчушку в кольцо. Подбадривая псов и друг друга, мол, чего там, хватай и рви на части эту бродяжку, нечего, мол, с ней цацкаться, нашли, мол, чего бояться, они преследовали беглянку по пятам.

Девчушка пошатывалась, словно лунатик, и вот-вот должна была упасть. Но стоило ей согнуться, подобно кукле, как ее тут же хватали руками и вновь ставили на ноги, потом вновьогревали батогами чуть поостывших и высунувших языки псов, и те, залившись лаем и визжа, опять неслись по пятам за девчушкой. На дороге пыль стояла столбом. Толпа, дети и девчушка смешались. Палило солнце, и пыль, прине-

сенная ветром из пустыни, соединялась с пылью, поднятой бегущей толпой. И девочка, похожая на сломанную куклу, вся обратившись в лохмотья, тонула, выныривала в этих клубах пыли, в лесу батогов и вил, в этой взбаламученной реке, то поглощавшей, то вновь выталкивающей ее на поверхность.

«Сюда ее тащите, сюда!» — дурно визжал кто-то и пощелкивал кнутом, призывая народ к настоящей реке. «В воду ее, в воду!» — истошно вопила женщина. «В пустыню ее, в пустыню, пусть солнце поджарит ее хорошенько!» — старалась перекричать всех беззубая старуха. «Вяжите ее к дереву, да голышом!» — орал юнец с загоревшимися глазами. Но голоса юнца никто не слышал, и он еще пуще надрывался в крике: «Голышом, голышом!» В глазах людей светились жажда расплаты, злорадство и жалкое желание разыграть сцену в лицах. Это не было весельем или представлением скоморохов, нет! Селение жаждало вовсе не смеха, ему не терпелось показать себя, унизив другого, и ценой этого унижения очиститься от собственных мелких грешков. Это было содрогающееся от мести селение, мутная река ненависти, сметающая все на своем пути и увлекающая своим течением вилы и топоры, треснувшие кувшины и плети, батоги и колья. А посреди этой реки плыла поникшая, опозоренная и насмерть запуганная девушка, загнанно озирающаяся по сторонам в поисках лазейки для побега, чтобы как-то избежать жала плети, острия кола и безжалостных рук, хватающих ее за волосы.

А селяне приблизились к реке. Мужчины подстегивали и подзуживали друг друга, мол, быстрее тащите ее сюда, хватит, мол, с ней канителиться. Вспотевший и запыхавшийся юнец с горящими глазами все твердил тупо: «Голышом ее, голышом!» Женщины вопили, стыдя мужчин — тоже, мол, мужики, трусы да и только, чего жалеть ее, в реку и дело с концом. Мужчины разводили руками — утонет ведь! Утонет, как же, — вопили женщины, — а утонет, туда ей и дорога, поделом! Да в нашей речонке только ноги мочить, ничего с ней не станется, от грехов только и отмоеся! Коли от грехов отмываться, зачем тогда в реку — ведь до монастыря рукой подать? — уперлись



мужчины. Заслышав такое, женщины завопили пуще прежнего, обращаясь к мужчинам: бросьте ее настырским монахам на растерзание, проклятую! Да на нее и одного Хечины за глаза хватит, в одну ночь ее заедит! «Да разве монахи на такое способны?» — захохотала предводительница женщин. «Да не сомневайся ты, еще как способны!» — продолжая тащить к реке девчушку, успокаивали предводительницу соратницы. И тут толпа грохнула! Внезапно все обратилось в скоморошью игру! В глазах потух гнев, пот высох, забавная затея высекла искры, и все стали вновь тормозить девчушку. Девчушка снова лишилась сил, ноги у нее подкосились и только собралась было рухнуть ничком бездыханная кукла, как чья-то рука вновь подхватила ее и повернула к нам.

Боже! Как она была красива! Платье ее разодралось, по щекам ручьями текли слезы, огромные глаза безнадежно искали спасения в гогочущей и взбуряженной толпе.

Меня словно гром поразил! Божий свет померк в моих глазах! Кое-как избавившись от монахов, я выскочил на дорогу и смешался с толпой. При виде меня толпа развеселилась еще пуще, крики и гогот огласили всю округу. Кто-то что-то кричал мне, кто-то тянул за рясу, подталкивая к девчушке. Кто-то совал мне в руки вилы и подбадривал, иди, мол, не бойся. Кто-то, размахивая плетью, прорезал толпу, дайте, мол, дорогу и станьте кругом, потом втащил меня в центр круга. Толпа угомонилась. Беззубая сморщенная старуха протянула мне кол.

«На, — вопила старуха, — бери, не бойся!» — Я отступал назад, а старуха чуть ли не в глаза тыкала мне колом: «Кольни, кольни эту дрянь!»

Я протянул руку и взял у старухи кол.

Толпа притихла. Старуха подбежала ко мне и, дрожа от возбуждения, закричала:

— Коли, не бойся!

— Что она натворила? — спросил я прерывающимся голосом, сам пугаясь этого своего голоса.

— Воровка она! Хлеб украдала... — кривлялась беззубая старуха.

Я отшвырнул кол.

Толпа ахнула.

И не дав толпе опомниться, я подошел к девчужке, поднял ее поникшую голову и повернул к себе, заглядывая в глаза.

Жалкие глаза девчушки молили о помощи.

Я никогда еще не видел таких глаз.

— Отец Стефанэ! Отец Стефанэ! — внезапно воскликнул я и бросился к монастырю.

Я бежал, а вдогонку мне неся гогот толпы.

— Отец Стефанэ! Отец Стефанэ!

Я распахнул дверь кельи и рухнул на колени перед старцем.

Старец поднялся и, словно узрев все своими глазами, увлек меня за собой.

В эту минуту старец был для меня святой свечой, осветившей мне путь во мраке.

Я шел за этим священным светом, и в груди моей разгоралась надежда.

Отец Стефанэ вышел из ворот монастыря и прошествовал мимо преклонивших головы монахов. Монахи последовали за своим настоятелем. Он шествовал по дороге, а за ним тянулся длинный ряд монахов в черных рясах с опущенными долу очами.

Толпа раскололась надвое перед старым настоятелем, и теперь он оказался лицом к лицу с поникшей, напуганной девчушкой.

— Отец Стефанэ! Отец Стефанэ... — шептал я, не сводя глаз со старца.

Старец приблизился к девчушке и заглянул ей в глаза.

Девчушка плакала.

Старец оглянул толпу и спросил:

— Чья она? Чья она?

— Сирота она, святой отец! — выдохнула толпа.


— Коли сирота — значит дитя селения, — провозгласил старец. — И хлеб брала она из родительского ковчежца.

Толпа замерла. Лишь сто пар глаз испытующе и недоверчиво глядело на старца.

Старец нагнулся к девочке, приподнял ее голову и вновь заглянул ей в глаза:

— Ты покаялась в своих грехах, дитя?

— Помилуй меня, отец... — прошептала девчушка.



Старец склонился к ней и поцеловал в лоб. Когда я огляделся по сторонам, толпы уже не было. Лишь юнец с горящими глазами, дрожа всем телом, шевелил губами: голышом, голышом, голышом...

— Помилуй меня, отец... — повторила девчушка и бросилась на колени перед старцем.

Старик поднял ее и, повернувшись к ней спиной, пошел к монастырю. Я послушно последовал за ним, но оторвать глаз от девчушки был не в силах. Босая, в лохмотьях, девчушка осталась одна-одинешенька на пыльной дороге в жарком мареве...

Теперь я стою и жду появления моего друга. Дверь распахнута настежь, но ни души не видать. И даже покажись в ней кто, то будет не мой друг Георгий Балаури, а старейшина села. А вокруг колобродит сельский мор... Что это за село? И зачем эти крепостные башни в пустыне? Где та девчушка? И к чему селению, устрашенному мором, взятые на изготовку вилы, колья и мотыги? Куда подевались псы? Почему они не лают? И где тот юнец с горящими глазами, что стоял здесь давеча и, дрожа всем телом, беззвучно шептал: голышом... голышом... И зачем мне, спрашивается, дожидаться появления сельского старейшины? Что даст мне его появление... Господи, помилуй, но теперь я думаю вовсе не о дряхлом старейшине, а о той девчушке, плавающей в знойном мареве и молящей о помощи. Я должен помочь той беспомощной девчушке. Никому другому на свете не требуется моя помощь... И вот уже нет ни крепостных башен, ни мора, ни дряхлого старейшины. Я тихо открываю тяжелую монастырскую дверь и выхожу наружу. Я жду и надеюсь, что девчушка обязательно пройдет здесь. Я нужен ей, ей нужна моя помощь... Но дорога, ведущая от селения, плавится на солнце, а на ней не видать ни души.

И когда не осталось уже никакой надежды, когда солнце зашло и подступили сумерки, девчушка оказалась... Ни единая живая душа не могла увидеть ее в эту пору, никто не смог бы напомнить ей о вчерашнем грехе — краже хлеба из чужого ковчегца. Девчушка шла, понурив голову, словно скрываясь от недобрых глаз, и, подобно тени, кралась к роднику. Но уже не было вчерашних лохмотьев — пестрое ситце-

вое платье доходило ей до пят. Волосы были тщательно расчесаны. Печать страдания и стыда бесследно исчезла с лица. Теперь лицо ее было умиротворенным и прекрасным. Да, это была та самая девчушка и никто другой, та девчушка, которую я ждал по ночам в наполненной ветром пустыне.

Я сошел с дороги. Было уже темно, и я ничего не боялся. Я последовал за идущей к роднику девчушкой, и в ушах раздавались лишь звуки ее и моих шагов. Я не сказал ей ни слова, но она чувствовала, что я иду за ней. Я слышал ее дыхание, и она слышала мое, но ни разу не обернулась и даже не замедлила шаг. Она шла, и я упрямо следовал за ней. Когда она остановилась возле родника, и я остановился в стороне. Девушка наполнила кувшин, поставила его себе на плечо и, пройдя мимо, взглянула на меня. Это был мимолетный взгляд, и был ли он вообще — не знаю. Девушка вновь двинулась по дороге, и я опять чуть поодаль последовал за ней. Я шел за ней, не в силах вымолвить ни слова. Да и что я мог ей сказать, все и так было ясно без слов. Вот так безмолвно прошли мы весь путь, и когда подошли к селу, была уже ночь. Девушка обернулась и посмотрела на меня. Долго простояли мы так, глядя друг на друга и не говоря ни слова. Потом девушка повернулась и пошла. Я остался один. Я глядел на дорогу еще долго, до тех пор, пока девушка не скрылась с глаз и пока не замерли в отдалении звуки ее шагов.

Весь следующий день я просидел в келье, не поднимая головы от рукописей. Я знал, что девушка покажется точно во вчерашнее время при наступлении сумерек, точно в то время, когда повстречалась со мной, не раньше и не позже. Мы ничего не сказали друг другу, но все было сказано между нами. Девушка должна была прийти в условленное время и к условленному месту — к роднику, где никто нас не мог увидеть. В этот день солнце было ленивым и неторопливым. Оно никуда не торопилось и, казалось, лишь одно у него на уме — как бы получше высушить и выжечь землю пустыни. Солнце не двигалось с места, и когда, наконец, наступил вечер, я несказанно удивился тому, что ленивое и неподвижное солнце, весь день

простоявшее в карауле над монастырем, все же склонилось к хребту.

Не успел я пересечь монастырский двор, как у самых ворот столкнулся с Хечиной. Хечина, как ни в чем не бывало, прошел мимо меня и остановился неподалеку. Я в упор посмотрел ему в глаза, распахнул калитку и вышел за ограду монастыря. За моей спиной скрипнула калитка. Хечина стоял и смотрел на меня. Я остановился и скрестил с ним взгляд. Хечина огляделся по сторонам, словно ему нет до меня никакого дела и ищет он кого-то другого, потом нехотя притворил калитку и исчез. Я стоял, стараясь угадать, из какой бойницы сверлит мне спину его пронзительный взгляд, но я не боялся этого взгляда и, сказать по правде, в это мгновение я вообще ничего не боялся. Я скатился вниз по склону и, выйдя на дорогу, побежал. Я бежал, не заботясь ни о монастыре, ни о Хечине, ни о жестоком, злопамятном и мстительном селении, затаившемся во мраке. Я думал лишь о девушке и о роднике, куда девушка обязательно должна была прийти.

А девушка уже ждала меня... Ждала меня! Кувшин был полон, и она поставила его в сторонке... Увидев меня, она вылила из кувшина воду, снова наполнила его и поставила себе на плечо. Я подошел и остановился прямо напротив нее. Девушка поглядела на меня и потупилась. Потом, еще раз взглянув на меня, собралась идти. Я преградил ей путь и, улыбнувшись, протянул руку к кувшину. Девушка безропотно повиновалась, отдала мне кувшин и, покорно опустив голову, остановилась. Я повернулся и тронулся в путь. Я нес огромный холодный кувшин, радуясь тому, что кувшин этот принадлежит девушке, что в нем плещется вода, предназначенная ей, что сама девушка, потупясь, безропотно идет за мной. Я прошел всю дорогу, ни разу не обернувшись, страшась, что все это сон... Мне казалось, что стоит вымолвить слово, и вся моя огромная радость, подобно кувшину, разлетится на куски. И я, содрогаясь душой, тряся над кувшином и этой своей радостью.

Подойдя к селению, мы вновь остановились на прежнем месте. Я опустил кувшин на землю, не зная, что предпринять дальше. Потом внезапно повернулся

спиной к девушке и, не оглядываясь, бросился бежать по дороге. Когда я оглянулся, девушки уже не было. Я тщетно искал ее, злясь на себя, чего это я вдруг повернулся к ней спиной, почему оставил ее одну, зачем бежал от нее. В сердцах я обзывал себя жалким трусом.

И в эту минуту вспомнил я своего друга. Где теперь мой друг? Мой друг сидит взаперти в башне. Народ ждет его, а он не выходит. Мой друг страшится, он постарел и стал всего бояться. А тогда он был юношей и не боялся ничего на свете. Нет, он ни за что не опустил бы кувшин на землю и не убежал бы сломя голову. Он ни за что не оставил бы девушку в пустыне в полном одиночестве, спасая себя. Он не испугался бы Хечины — патлатого, черного как ворон, здорового и изловредного Хечины. Господи, помилуй! Я пришел сюда ради своего друга, вернулся спустя годы. И вот стою я теперь возле распахнутых настежь дверей его башни, с минуты на минуту появится мой друг, а я думаю о девушке, оставшейся в одиночестве в палящем зное пустыни. Но, может быть, и друг мой думает о том дне, когда мы, покинув крепостные башни, взобрались на вершину хребта, о той первой и последней, единственной свободе? Может, и другу моему нестерпимо захотелось вернуться в детство? И, может, этот день вовсе не день конца, а день возвращения в детство? Да, мы опять возвращаемся в детство... Я иду к реке. Жарко. На дороге — пыль столбом. В кустах шиповника заливается какая-то пичужка. При моем появлении она перелетает на можжевельник.

Я спустился в лощину. Оглядевшись по сторонам, торопливо скинул рясу, сорочку и рубашку. Оставшись нагишом, посмотрел на себя и вздрогнул. Тело мое было белым-бело, словно снег. Я испугался собственного тела, своих слабых, белых рук, сторбленных плеч и впалой груди. А испугавшись, я тут же нырнул в реку. Речушка была мелководная, теплая и едва покрывала меня. Я лежал на спине и, не жмурясь, глядел на солнце. Вода легко скользила по моей груди, словно лаская и успокаивая меня. Потом я перевернулся на грудь и коснулся воды щекой. Река была подо мной, в моих ладонях, и я мог прижать ее к своей груди. Потом я лежал на траве, и солнце покалывало мою грудь тоненькими,

незримыми иглами. Я подставил солнцу спину, и теперь оно покалывало мою спину. Потом я вновь вступил во власть вод и, уткнувшись ничком в реку, раскинул руки. Теперь по спине моей перекачивалась река, согретая солнцем, и я погрузился в блаженные раздумья.

Внезапно в меня угодила знакомая стрела! Я оглянулся. В кустах стоял Хечина. Я нырнул в воду, с трепетом ожидая Хечину.

Он направился прямо ко мне и, улыбнувшись, сказал:

— Не бойся, вот и я собрался купаться!

Я выскочил из реки и прикрыл свою наготу рясой. Хечина смотрел на меня, хохоча во все горло.

— Чего это ты испугался, парень?

Я не знал, чего я испугался, но объятый дрожью и страхом, на ходу натягивая одежду на мокрое тело, я, не оглядываясь назад, побежал что было сил. Хечина словно бы ударил меня своей лапой и царапнул когтями. Я слышу его сопение, чувствую, как льется пот по его возбужденному лицу. Я испугался этой лапы, но более всего напугало меня то, что Хечина пытался залезть мне в душу и трепетал, предвкушая разведать мою сокровенную тайну. Ему требовалось, чтобы душа моя была у него как на ладони, распахнутая настезь и легко читаемая. Я бежал, зная, что никто на этом свете не в силах спасти меня. Девушка не могла меня спасти, она сама нуждалась в помощи, и я полюбил (да, полюбил!) ее именно за то, что она искала спасения во мне. Я был для нее сильным, всемогущим, всепонимающим святым Георгием, восседающим на белом коне с копьем в руке. И этим копьем я мог поразить всех, кто обидел бы ее, кто осмелился бы науськивать на нее собак и изгонять в пустыню. Так кто же был моим спасителем? Настоятель, отец Стефанэ? Но я ничего не мог сказать отцу Стефанэ. Он был святым, а святым никто не рассказывает о том, как влюбляются в девушку, теряют сон и, молитвенно стоя на коленях перед иконой богородицы, кощунственно ищут в ее глазах глаза любимой. Ведь не скажешь же старому настоятелю, как мучительна ночь, когда девушка далеко, а ты лежишь один-одинешенек в своей затхлои, мрачной келье, как томительно ожидание, когда солнце лениво и нехотя ползет к закату. И ничего не скажешь

старому настоятелю о Хечине, а все потому, что Хечина не делает ничего дурного. Напротив, все его рыскания и метания направлены на благо монастыря, ибо он охраняет чистоту и святость отцов, оберегает от посягательств божье имя. Да, Хечина ни в чем не повинен. Он лишь воровато крадется к тебе и слушает, или стоит и смотрит, как ты, в чем мать родила, предавшись сокровенным думам, ласкаешь реку, думая, что ты один на всем белом свете... Разве скажешь об этом старцу Стефанэ — святому, настоятелю всего монастыря, переводчику философских трактатов, идущему прямо в рай? Так кому же поведать об этом, кто хотя бы на мгновение снимет с души тяжелый камень? Где теперь мой друг Георгий Балиаури? Мой друг за высокими горами, далеко, очень далеко отсюда! Мой друг находится за разинутой пастью двери этой угрюмой крепостной башни. Двери давно уже разинули пасть, но никого не видно. Старейшину ждет селение, потрясенное, разнесенное в щепы селение. Селение ждет избавления от мора, надеется на старейшину, но укрывшимся от всего стариком владеет настойчивое и зряшное стремление — возвратиться в детство... Потому я и пришел сюда. И я жду того же. Здесь остались наши следы. Здесь должны мы повстречаться с детством. Я не могу думать ни о чем больше, я никому не нужен на этом свете... Я должен думать о своем друге и я пришел на встречу со своим другом. И какое тут время вспоминать ту ночь, ту пустынную ночь, одну-единственную и подлежащую вечному забвению ночь, с воспоминаниями о которой я боролся всю жизнь и которую не смог забыть... Ту, дарованную матерью-природой одну-единственную ночь, как первую и последнюю свою свободу поры юности.

Да, в ту ночь сама мать-природа позвала нас — идите ко мне! И, связанные по рукам и ногам, мы разорвали свои гнилые путы и, потеряв голову, бросились бегом к той самой матери-природе, которая раскрыла нам свои объятия. Мы прибежали к ней, и природа прижала нас к своей груди. А вот и мы! — восклицали мы оба, крепко и нетерпеливо сжимая друг друга в объятиях. Ибо природой были мы сами... Над нашими головами нависло небо, усыпанное звездами, под нашими ногами дышала горячая земля пустыни, и мы, оторван-

ные от всего мира, оставшиеся друг для друга, стремящиеся друг к другу, были в полном одиночестве. Девушка была одета в легкое ситцевое платье, а я был в тяжелой черной рясе. Я целовал ее глаза, губы, шею... Она целовала меня только в глаза и плакала. «Я пришла!» — восклицала она. «И я пришел!» — вторил ей я, и это мы говорили не друг для друга, а для матери-природы, призвавшей нас к себе, накрывшей нас своим подолом, оставившей нас наедине друг с другом. Мы уже все знали, ничто не осталось для нас заповедным... Мы постигли все тайны древнейшего человеческого знания, и знание это неосознанно направляло наши души. И наши души неслись по пустыне. Прохладный ветер бил нам в лицо и бежал наперегонки с нами. Девушка целовала меня и вновь убегала. Я догонял ее, и она вновь убегала от меня, счастливая и напуганная, убегала, чтобы я вновь догнал ее, чтобы плоть наша смешалась, сплелась, а души, ликуя, вознеслись в небеса.

«Ты — бог!» — задыхаясь, шептала девушка. «Нет...» — отвечал я. «Ты — бог!» — шептала девушка и вновь убегала. «Хочешь, я умру?» — быстро шепнула она. «Что ты говоришь?!» «Хочешь, я умру... ради тебя...» «Нет, не хочу», — ответил я, и девушка вновь побежала. «Ради тебя... ради тебя...» — трепетала девушка.

Мы бросились на траву и посмотрели в небо. Звезды мигали. Луна скрылась за тучей. Ночь еще больше скрыла нас и оставила одних. Девушка лежала на спине и шептала в забытьи: «Ради тебя... Ради тебя...» Губы ее дрожали, плечи сотрясались, а руки, слабые и восковые ее руки трепеща трогали мои глаза, брови, губы... Я швырнул рясу на песок и почувствовал несказанное облегчение, словно тяжелый груз упал с моих плеч. Внезапно я почувствовал, как, смеясь, призывала меня к себе высшая свобода. И я вновь устранился этой свободой, но девушка избавила меня от страха. Протянув ко мне руки, она молитвенно твердила свое: «Ради тебя... Ради тебя...» И я уже ничего не боялся, не думал ни о чем... Ночь объяла нас, подвела нас друг к другу и укрыла нас, подобно одеялу. И мы остались одни, в чем мать родила, так, как некогда, в далекие времена наши далекие предки.

Там, в пустынной ночи, девушка пожертвовала мне

всем, чем владела. Я был для нее богом, и для бога своего она не пожалела ничего... Она подарила мне свою душу и свою плоть... И мы оба подумали, что пустыня стала для нас домом...

Это была самая счастливая ночь в моей жизни.

А теперь я стою в пустыне и жду ту девушку. Но почему? Ведь то, что случилось ночью, не может не быть вечным. Подарить человеку лишь одну-единственную такую ночь — насмешка и больше ничего. Но зачем всемогущему богу насмехаться над нами? И, если богу не угодно насмехаться над нами, почему не идет девушка, почему не повторяется та, минувшая ночь? Селение уже спит. Из пустыни доносится вой шакалов. Ни единого другого звука не слышится окрест, и не мигают огоньки в окнах домов. Она должна прийти, она не может не прийти....

Но никто не идет... Монастырская калитка открыта. Почему открыта калитка ночью? У калитки стоит Хечина. Я низко кланяюсь ему и направляюсь к своей келье. Хечина не сводит с меня глаз... Что-то останавливает меня возле двери кельи отца Стефанэ. Я тихо отворяю дверь и застываю на месте. Уже ночь, и старец с изумлением смотрит на меня. Я стою, как в столбняке, не в силах отвести от него глаз. Старец улыбается. «Прости меня, отец», — шепчу я и, понуря голову, отступаю назад. Я чувствую, как провожает меня изумленный взор старца... Лежа на топчане, я разглядываю стены своей кельи и в предчувствии беды слушаю монастырскую тишину, словно беда та должна заявиться в мою келью самолично и обрушиться на меня, голодного, обескровленного и бессонного. Сколько минуло дней и ночей? И что теперь: день или ночь? Кто-то останавливается возле моей кельи, кто-то шепчется и тут же замолкает. Наверное, Хечина... Я отвожу глаза от бумаг и манускриптов, от толстенных старинных фолиантов, скучившихся на столе. Они ничего не говорят мне больше, им не под силу спасти меня. Холодная мудрость не в состоянии меня успокоить. Мое спокойствие обретается лишь в пустыне, в той пустыне, которая стала нам домом...

Еще немного, и я оказываюсь у сельской околицы.

Пастушок пасет коз, а я как обвиняемый стою перед ним и бормочу:



— Девушка...

— Какая, девушка-воровка? — ухмыляется юнец.

Я прячу лицо.

— Исчезла она! — говорит юнец.

— То есть, как исчезла?

— А вот так, взяла и исчезла в один день. Устыдись и исчезла...

— Куда она могла пойти?

— А кто ее знает, мир велик.

Пастушок оглушительно свистит козам и, попрощавшись, убегает, но я ничего не слышу...

Я рухнул оземь и вцепился пальцами в траву. Земля куда-то уходила, и я боялся отпустить ее. В ту минуту я подумал, что все кончилось, солнце навеки закатилось и остался лишь этот мрак и эта земля, убегающая куда-то, а я в испуге цеплялся за нее, чтобы не потеряться и не остаться в полном одиночестве. «Все кончилось... все кончилось...» — думал я, и в душе моей возникала огромная пустота. Но я не знал тогда, что все заканчивается лишь в ту минуту, когда бог закрывает нам глаза и уводит в вечный мрак, и никому из человеческого рода не дано знать, является ли это концом всего. И до тех пор, пока до этой сокровенной минуты останется хотя бы одна-единственная ночь или одна неяркая заря, один восход солнца, пусть никто не думает, что пришел конец всему... Все начинается именно тогда!

Я был богом, и девушка пожертвовала мне всем... А богу не пристало ползать по земле и плакать! Девушка подумала, что бог должен быть далеко, с богом надо встретиться лишь раз и притом тогда, когда подумаешь, что все кончено. И девушка встретила со мной именно тогда, когда решила, что все кончено, встретила и пошла своей дорогой. На земле тысячи дорог, и на этих дорогах бродят девушки... Я не знал, как кончится та ночь или что принесет мне день грядущий. Я ничего не знал! В тумане не было видно грядущего дня. Я мог тотчас же подняться и пуститься в неведомый путь, ибо на земле тысячи дорог и по дорогам этим бродят юноши. Но в душе зияла такая пустота, что мне ничего не хотелось; ни той девушки, ни селения, ни мира, ни тех дорог. Я мог уйти в свою уединенную келью и, уткнувшись лицом в топчан, ду-

мать о бессмысленности своего прихода в этот мир, проклинать свою судьбу и, не покидая кельи, ждать, пока бог услышит мою мольбу и приберет меня к себе. Я мог встать и убить Хечину, оплатив тем самым за ту девушку, за ту горбушку хлеба, украденную ею у деревни, за тех злющих псов, что с лаем преследовали девушку, но душевная пустота отнимала у меня способность рассуждать и я уже не понимал, в чем повинен Хечина, в чем повинно селение, в чем повинна девушка или где был я сам и чего хотел. И хоть бы понимал! Разве мог я стать судьей чужих поступков, ибо в то мгновение иной глас нашептывал мне (я и сейчас еще слышу этот голос), что человек отвечает пред богом и людьми лишь за собственные грехи. А судьей всех иных является господь, и человеку не прощается быть богом. Забота о собственной душе является заботой о других, ибо душа твоя частица вселенской души...

Я мог встать и вновь зайти в келью отца Стефанэ. Я знал, что будь даже ночь, он все равно бы бодрствовал. Свеча горела в его келье до самой зари. Я войду в келью, он поднимет голову, улыбнется мне и вовсе не удивится моему позднему посещению. Я войду и поведаю ему обо всем. И он поймет все, отпустит все мои грехи, утолит все мои печали, но я не встаю и не вхожу в келью старца, ибо терпение по отношению к собственным бедам — лучший и величайший лекарь этих бед. И единственное, что было мне по силам в эту минуту — это побег, побег в горы, откуда я ушел, откуда началась моя жизнь. Я мог тотчас же, не мешкая, пуститься в путь, перевалить через хребты и горы, возвратиться в свое крохотное селение, заявиться в полночь к моему другу Георгию Балаури и сказать одно-единственное слово: «Помоги!» Я бы сказал ему это одно-единственное слово, а он, перевернув при надобности весь мир, помог бы мне. Стоило мне подумать об этом, и теперь одно это слово утешением пролилось в меня: «Помоги, помоги!..» — шептал я, но не было предо мной моего друга Георгия Балаури. Предо мной были серые стены кельи и потрескавшийся потолок. А у меня, выжатого и словно тряпка заброшенного на топчан, не было сил ни на что, кроме как шептать: «Помоги...» Но это одно-

единственное слово не имело никакого смысла в моей глухой келье. Слово это было напрасным. И слова этого не существовало. Я должен был покинуть здешние места и отправиться на поиски этого единственного слова, которое уже приняло облик моего друга Георгия Балнаури.

Я открыл глаза и увидел человека во мраке кельи.

У двери стоял Хечина.

— Чего тебе надо? — громко крикнул я.

— Ничего... не бойся, — прошептал Хечина, укрывшись за дверью.

— Так зачем ты стоишь тут и зачем подглядываешь за мной? — еще громче крикнул я, вскакивая с топчана.

Хечина встревожился.

— Тише, зачем так орать? — шепнул он, закрывая за собой дверь.

Я распахнул дверь и вышел вон. В темном коридоре не было ни души. Я оглянулся по сторонам и, пробежав коридор, оказался возле входной двери. Дверь была распахнута настежь, и я вылетел во двор. Теперь я знал все... Не оглядываясь, я перемахнул через ограду. На мгновение я остановился, чтобы взглянуть на монастырские стены. Я искал окно отца Стефанэ, освещенное свечой. Но окно залепил мрак. Свеча погасла. Приближался рассвет, и старец отошел ко сну... И теперь это погасшее окно открывало мне путь, словно бы говоря, что ничто больше не удерживает меня здесь, что здесь нет мне места и я должен навсегда покинуть монастырь.

— Прости меня, отец! — в полный голос воскликнул я и преклонил колена, как не раз, бывало, преклонял их перед настоятелем монастыря.

Старец не вымолвил ни слова и, осенив меня крестом, благословил в дорогу.

И когда, погруженный в дремоту прощания, я склонил голову пред старцем, вдруг послышался стук засова монастырской калитки. Потом калитка распахнулась, и в ней возник ревуший Хечина. И это было так, словно разверзлась пасть сказочной пещеры, пробудившийся дэв отбросил камень и, заревев, пустился в погоню за мальчиком-с-пальчик. Бежал

мальчик-с-пальчик, и, топоча лапами, неся за ним дэв. Он бежал, и в тишине ночи преследовал его оглушительный рев: «Куда ты, куда?» «Погоди, не убегай!» «Ну, погоди, ну, погоди ты у меня, вот догоню, а там увидишь! Убью, задую, скину в пропасть, мясо твое брошу крысам на растерзание! Стой, тебе говорят!» Но теперь ничто уже не могло остановить меня. Я бежал, а под ногами хрустел песок пустыни. Я бежал, а за мной трусцой мчался Хечина. Я слышал его хрипение, его сопение, и ноги мои подгибались от ужаса перед дэвом. Я чувствовал, что вот-вот упаду, а расстояние меж нами все сокращалось, и меня уже настигло дыхание Хечины, жгучее, как ветер пустыни. Песок пустыни хрустел под его огромными лапищами... И вдруг, когда нас разделял всего лишь шаг, Хечина остановился, воздел руки к небу и завопил:

— Лю-юди!

Вот так, с воздетыми руками, остановился он и прислушался.

Я тоже остановился и прислушался.

— Помогите, лю-юди! — вновь возопил Хечина и умолк.

Селение было погружено в сон. Селение не слышало призывов Хечины.

Дэв прыгнул, ударив меня мощной лапой.

Я рухнул оземь, и дэв навалился на меня сверху. Запыхавшийся дэв, сопя, глядел на меня. И в это мгновение я вспомнил свой первый приход в монастырь, когда за моей спиной со скрипом захлопнулись тяжелые ворота, а я, оглянувшись, увидел лишь угрюмую кладку ограды. «Это он?» — спросил тогда огромный, черный, как ворон, чернобородый дэв, тяжело опустив мне на плечо руку. Я согнулся под ее тяжестью и тогда же, не сходя с места, твердо решил бежать отсюда... И вот я убегал, но вновь опустилась на мое плечо тяжеленная лапа дэва и швырнула меня оземь. Тяжесть этого дэва словно глыба давила на мое тело, сковывала мои руки и ноги, вжимала в землю и с неподобающей для такой мощи мольбой шептала:

— Останься, не уходи... Только не уходи... Останься только.

Я с изумлением глядел на умоляющего великана, внезапно лишившегося сил и обратившегося в тряпку.



Я сбросил с себя эту тряпку и встал на ноги.

— Останься, только останься... — согнувшись в три погибели у моих ног, бормотал он.

И я почувствовал, как коснулись моих коленей обе его могучие лапы.

Я убрал эти лапы и уставился на Хечину.

Хечина был жалок...

Я повернулся к нему спиной и ушел в пустыню...

Когда я отошел на внушительное расстояние, издалека до меня донесся хриплый возглас:

— Неблагодарный!

Я остановился, ожидая продолжения.

— Неблагодарный! — твердил голос.

— Но почему я неблагодарный?

— Я пришел туда ради тебя... Боялся, как бы ты не натворил чего с собой...

Я не откликнулся.

— Я знаю, ты не веришь...

— Верю, — проговорил я про себя, продолжая путь.

Я шел, не слыша ничего и не боясь ничего на свете.

Туманный свет зари опускался на пустыню.

Благодарю тебя, господи, что ты вернул меня сюда! Вновь удостоился я узреть места, где ты дал мне начало, где ты соизволил сотворить меня во плоти, даровал душу и где ты можешь вновь отнять ее у меня!.. — шептал я в забытьи, вжимаясь в прохладную, росистую, травянистую землю, словно эта земля обратилась в бога и теперь я, приобщенный к высшему блаженству, положил голову на грудь создателя. Это было святейшее блаженство, исполнения ночных келейных желаний, возвращения в собственное гнездо. Это был душевный трепет, овладевающий человеком лишь в пору одиночества, при вознесении на небо, когда он никому не дает права узреть трепет сей души, услышать шепот, являющийся достоянием одного лишь бога. Да, вознесение души не может быть увидено чужим глазом, а сказанное шепотом самое правдивое слово не должно быть никем услышано. И я, страшась, как бы никто не узрел мое блаженное вознесение, огляделся по сторонам.

Внизу раскинулось наше селение, и я стою на вершине именно того хребта, откуда некогда глядели

на наше селение, мы с моим другом, взбрыкнувшись, как необъезженные жеребцы. Селение уменьшилось еще больше и приняло цвет хребта, к подножию которого оно прилепилось. Это — мое гнездо, а я — итенец, с писком выпавший из него. Теперь я возвратился в собственное гнездовье, ибо человек, подобно ласточке, в конце концов должен вернуться туда.

С опушки леса покотился хохот.

Я пристыженно вскочил на ноги и отряхнул колени. Застыв, как застигнутый на месте преступления, я с замиранием сердца ждал того, кто наблюдал из лесу за высшим моим блаженством и хохотал, хохотал.

Кусты раздвинулись, и на поляну вылетело четыре всадника.

Я отступил, уступая дорогу незнакомым всадникам.

Передо мной остановился белый конь. Я поднял голову. На белом коне сидел мой друг Георгий Балиаури и хохотал во все горло.

Я подскочил к коню и схватил его руками за шею.

Конь фыркнул и, подняв переднюю ногу, оттолкнул меня.

Я в испуге отпрянул и взглянул на своего друга.

Боже мой! Друг мой был чужим, он уже не был тем юношей, к которому во сне и наяву, явно и тайно стремился я на протяжении всех этих лет. На коне восседал мужчина, который лишь глазами походил на того Георгия Балиаури, каким хранила его моя память.

Я почтительно отступил и поклонился чужаку.

Чужак, оглушительно захохотав, подозвал к себе друзей.

— Ведь это ты? Наверняка ты. Стоило мне тебя увидеть, как я тут же подумал, что это ты... Во что ты это вырядился? А ну-ка поворотись, дай хорошенько посмотреть на тебя! Как ты одолел столь длинный путь, отец? Как же ты не устранился ни бога, ни зверя? Вот так, без ружья да без сабли? В одной руке... Ты думаешь, крест уберег бы тебя, отец мой? Дай-ка присмотреться к тебе... Подходит, ничего не скажешь, сй-богу, подходит! Ты для нее, видно, и рож-



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ден... Вы только посмотрите на него, как он таскает эту хламиду, баба, да и только! Прости нас, отец! Мы вас не ждали... Оттого и удивлены...

Произнеся это, он стегнул коня...

Чужак, которого звали Георгий Балиаури, мчался вниз, в лощине.

Я стоял и глядел на селение. Теперь и это село стало чужим и неприступным, гнездовье опустело и никто не дожидался меня тут, никто не сохранил для меня места. Напрасно прошел я столь далекий путь, напрасно явился сюда и преклонил колена, напрасно обнимал руками землю, земля эта оказалась не моей... Я стоял, не зная, что делать! Возвратиться назад, вновь перевалив хребты, горы и пустыню, вновь войти к отцу Стефанэ, рухнуть перед ним на колени, подобно оголодавшему оленю, и просить прощения? Или, может, спуститься по этой тропинке и войти в чужое селение, где никто не ждет меня. Знаю, отец Стефанэ обратит на меня свои светлые очи, ласково погладит меня по голове (о, я воистину твердо верил в это!), отпустит все мои прегрешения и в ту же минуту в знак того, что ничего не произошло и все подлежит забвению, протянет мне старинный манускрипт... Я вернусь в свою темную келью, а мимо двери кельи, соня, пробежит Хечина, не гладко выбритый и молодой, но клонящийся к старости...

Я решил уже было вернуться обратно, но нечаянно посмотрел на себя и ужаснулся. Обтрепавшаяся, запылившаяся в дороге ряса лохмотьями свисала до земли, чувяки прохудились, волосы и борода развевались, как ослиная грива. Изможденный и голодный, с воспаленными от бессонницы глазами и износившейся на долгих непроходимых тропах рясой, я, видимо, походил на явившегося из преисподней и вызывал лишь жалость и смех. Конечно, должен был хохотать мой друг, глядя на мое одеяние! Ведь и он, подобно мне, ожидал увидеть того юношу, вместе с которым впервые взобрался на вершину хребта и издали взглянул на свое родное селение... И при виде чужого, к тому же износившегося, изможденного, голодного, он был потрясен точно так же, как и я, когда вместо моего друга Георгия Балиаури увидел вдруг чужого человека. Так почему он не должен был хохотать? Едва я

подумал об этом, как друг мой был тут же оправдан, оправдан так же, как не раз бывало в пору юности. И тот чужак вновь превратился в Георгия Балиаури, к которому так долго стремился и пробирался я. И оставшее было село, прилепившееся к скале подобно ласточкину гнезду, вновь согрелось, наполнилось людьми, ожидающими меня людьми, и простерло ко мне руки.

Я вошел в село так, что заметили меня лишь двое мужчин, да и те, не признав меня, нерешительно поглядели в мою сторону и о чем-то перемолвились вполголоса. Я подошел к ним и назвался. «Да будет мирным твой приход», — отозвались они и тут же сообщили о моем возвращении сельскому старейшине Мангии Балиаури. Все окрест выглядело угрюмым и мрачным, и меня вновь одолело то ощущение чужеродности, которое овладело мной на перевале и едва не заставило повернуть обратно. Высыпавшие за каменные ограды мужчины глядели на меня как ни в чем не бывало, словно я лишь вчера закрыл за собой сельскую дверь и мое возвращение сюда так же обыденно, как приход коней с пастбища: утром конь вышел попасись, а к вечеру возвратился обратно сам, по собственному почину, да за ним никто и не собирался идти, ибо заранее было известно, что коли конь ушел пасть, то он непременно вернется. Я сидел возле своего очага, посреди голых стен и ждал, и сам не ведая, кого и чего я жду... Я ждал своего друга Георгия Балиаури! Всадники, верно, уже миновали ущелье и в сумерки возвратятся восвояси, а мой друг позовет меня, как звал он, бывало, пять лет тому назад. А до его возвращения я скину эту рясу... Он выйдет, глянет на меня, а я вновь тот самый мальчишка, как и встарь. Ему не над чем будет смеяться, и чувство отчуждения, которое поразило нас обоих там, на вершине хребта, исчезнет навсегда. Да, то чувство сразило нас обоих — и меня, и его... Я опрометью кинулся к стенной нише и едва не вывернул ее наизнанку. Я искал свой старый талавери, страшась, что вдруг его не окажется на прежнем месте. Но талавери был тут. Я лихорадочно скинул рясу, швырнул ее в нишу, навеки распрощавшись с ней. Передо мной лежал мой пестрый талавери с расшитой грудью, и я с

16935940
2102 0110333

нежностью разглядывал его. Этот талавери был моей юностью, юностью, проведенной в этих башнях, и теперь вся моя надежда сосредоточилась на этом пестром талавери. Он должен был возратить мне все, согреть эти башни, рассеять отчуждение. Я осторожно взял талавери в руки и стал облачаться. Я с трудом просунул ноги в брюки, с трудом натянул на себя рубаху и почувствовал себя так тесно, словно оделся в железную кольчугу. Я осмотрел себя, и рыдания подступили к горлу: теперь я был смешон еще больше.

Селение уже спало. Я вышел во двор и принялся ждать. До меня донеслось конское ржание, и словно небо осветилось надо мной — я догадался, что всадники возвращаются, а с ними возвращается и мой друг Георгий Балиаури. Я вернулся в башню и присел на тахту. Мне не хотелось столкнуться со своим другом между прочим. Он должен был прийти сам, подойти к дому и позвать меня точно так же, как звал он меня встарь, много лет назад. Я сидел и напряженно слушал, как проскакали всадники мимо моего дома, проскакали, не замедляя шага, и никто из всадников не поотстал, никто не остановился. Они проскакали по дороге, и вскоре конский топот затих вдали. Воцарилась тишина. Я по-прежнему сидел на тахте, не смея выглянуть наружу. Я мог денароком столкнуться с кем-то, а мне хотелось, чтобы этот кто-то, кто бы он ни был, явился сюда самолично...

Да, но ведь не мог он прямо верхом въехать во двор? Так-то оно так, но сколько раз, бывало, врывался он сюда верхом! То было другое время и оно давно минуло... Тогда он был мальчишкой, и ему все сходило с рук. А ведь однажды в мальчишестве он въехал верхом прямо в дом, с восторженным хохотом объехал вокруг очага и выскочил вон. Было. Но теперь он мужчина, сын старейшины Мангии Балиаури, и кто знает, быть может, уже завтра он и сам делается старейшиной. И, как и подобает будущему старейшине, он должен быть сдержанным, уверенным и к тому же (что в том дурного) гордым! Он заедет к себе домой, снимет с коня седло, умоется, переоденется и только потом придет сюда, чтобы до рассвета просидеть со мной на тахте и поделиться всем тем, что накопилось за долгие годы...

И хватит ли нам одной ночи, дабы высказать все
наболевшее?

Но ночь шла к концу, а никого не было видно, ни-
кто не звал меня.

— Хватит, он не придет уже! — решил я на рас-
свете и как подстреленный повалился ничком на тахту.
Еще немного, и я заснул как убитый.

Когда я проснулся, был уже день и с улицы до-
носился шум. Ржали кони, окликали друг друга всад-
ники, женщины протягивали всадникам провиант.
Лаяли собаки, старик пощипывал струны чонгури.

Я встал, украдкой выглянул в окно. Да, это был
он, мой друг Георгий Балиаури, верхом на своем бе-
лом коне, а рядом гарцевали его друзья.

Я распахнул дверь и вышел во двор.

Георгий Балиаури оглянулся и громко крикнул:
— Как поживаешь, поп?

Я молчал.

Мой друг соскочил с коня, со смехом подошел ко
мне и обнял за плечи. Потом он вновь вскочил на ко-
ня, стегнул его плетью и умчался вдаль.

Я стоял, не сводя глаз с всадников.

Весь тот день я провел во сне. Усталой плоти тре-
бовался покой.

К вечеру меня позвали: тебя, дескать, призывает к
себе сельский старейшина Мангия Балиаури.

Вот и теперь стою я, дожидаясь появления старей-
шины, но не Мангии Балиаури—другого, его сына и
моего друга — Георгия Балиаури. Мангия Балиаури
давным-давно уже в земле. После его ухода много воды
утекло, и теперь мы почти того же возраста, в кото-
ром ушел из мира Мангия Балиаури. На меня вновь
опускается туман воспоминаний, и все селение со свои-
ми башнями и плоскими крышами тонет в тумане.
Мангия Балиаури все еще жив, Мангия Балиаури при-
зывает к себе меня, возвратившегося после стольких
лет, дабы просить у меня прощения за мое отторже-
ние от села и пострижение в монастырь. Я брошусь
пред ним на колени и вознесу ему благодарение, ибо
это он открыл мне глаза, выпустил из крохотного ла-
сточкина гнезда и показал мир. В башне Мангии Ба-
лиаури темно, и, ничего не видя, я останавливаюсь на
пороге. Дряхлый старейшина сидит возле потухшего

очага. Я подхожу, опускаюсь на пол и кладу голову на колени старцу, сидящему на низенькой скамейке. Старик, не отпуская, держит в руках мою голову и дрожит всем телом. И я чувствую, что возле очага сидит лишь призрак Мангии Балиаури, а в его одряхлевшем теле едва теплится утомленный дух. «Я молю его, чтобы он прибрал меня к себе, но он не слышит. Может, хотя бы ты объяснишь ему что-нибудь, ты ведь божий человек...» Это о боге говорит трепеща старик. «Хорошо, что ты вернулся... Ведь я просил, чтобы тебя привезли ко мне, но никто меня не послушался. Никто уже не слушается меня..» Не в силах произнести ни слова, я чувствую лишь знакомое тепло старика, а в ушах у меня все слышится его дремотный шепот: «Теперь мне легко уйти, теперь я уже не печалюсь о тебе...» От приятного тепла я и сам погружаюсь в дремоту, радуясь тому, что старик печалился обо мне. «Никак не смог я уйти!» — вдруг сердится старик и, отпустив меня, пытается подняться: «Моя старуха еженощно призывает меня к себе!» Я отступаю назад, не спуская со старика глаз. Он с трудом распрямляется, прислоняется к закопченной стене и вдруг кричит на весь дом:

— И сыну моему уже невтерпез!

Потом он вновь нашаривает рукой скамью, подрагивая, садится и шепчет:

— И чего это ему торопиться в этом неблагоприятном мире...

Я наклонился к очагу, пытаюсь в ворохе золы отыскать угольки.

— Не надо, все равно я должен уйти... — сказал старик.

Я оставил очаг в покое и потянулся за кувшином. Кувшин был пуст.

— Я так ему и сказал... Не торопись, говорю... Потом он поймет, как трудно быть пастырем.

Голова старика поникла.

Я посмотрел на него. Он плакал.

— Не бойся...

— Ничего я не боюсь! — громко выкрикнул старик и, загоревшись, вновь вскочил на ноги.

— Ничего я не боюсь! — снова выкрикнул он и подошел к дверям. Он распахнул дверь, простер руку и позвал домочадцев:

— Входите!

Вошли домочадцы и застыли тут же, у дверей... Старик повернулся к ним спиной, подошел к стене и сорвал с нее ружье.

Я испугался и шагнул к старику.

Он сделал мне знак, чтобы я не подходил к нему, и дрожащими руками проверил ружье.

Домочадцы перепугались и собрались выйти вон. Старик приказал, чтобы они не двигались с места, и домочадцы остались.

Потом старик медленно развернул ружье и выстрелил себе в сердце.

Сельский старейшина Мангия Балиаури упал грудью на потухший очаг.

В ту же минуту в дверь ворвался мой друг Георгий Балиаури.

Георгий подошел к старику, взял его за руку и тут же выпустил ее. Потом он двинулся ко мне, встал лицом к лицу со мной и пристально посмотрел в глаза.

Боже мой! В глазах его сверкала злоба.

Я зажмурился.

И вдруг мой друг дал мне пощечину.

Я закрыл лицо руками и, пошатываясь, направился к трупу Мангии Балиаури. Теперь я видел лишь тело, опрокинувшееся на потухший очаг, вокруг что-то глухо гудело, а мои губы щептали в забытьи:

— Попомнишь... Попомнишь...

Да, Мангии Балиаури давно уже не было на свете, Георгий Балиаури постарел, да и во мне глухо стучит бессильное старческое сердце. Я даже не помню, сколько прошло времени с тех пор, время замерло, и ход дней ничего уже не говорит мне... Но и теперь я не знаю, что означало то слово: «Попомнишь...» Оно не было ни упреком, ни мольбой о пощаде. Я не просил его о пощаде, а упреки утеряли всякий смысл. Это не было и напоминанием о вместе проведенном детстве, о том первом побеге из села и о возвращении в него. Не было это и угрозой. Я не мог угрожать ему, и если я даже грозился, то угроза эта все едино осталась бы лишь на словах, никогда не претворившись в дело. Он

161935040
8102-010933

был сильнее, и меж нас двоих верховодил всегда он, и коня всегда настегивал он, а я всегда либо наблюдал за его скачкой со стороны, либо трусил за ним в отдалении, словно захромавший, оступающийся жеребец. Так что же все-таки означало то слово, произнесенное во тьме, вслепую нашаренное и с трудом обретенное слово? Может, надежду на раскаяние, которое, по моему глубокому убеждению, когда-нибудь, словно туман, неминуемо охватит моего друга, и раскаяние это заставит его задуматься о себе, о теле, которое распластавшись валялось на потухшем очаге. Да, мысль эта должна была возникнуть, должна была неминуемо посетить его, и притом в пору, когда уже минует молодость, когда охладает бунтующая кровь и когда уймется брожение сил, когда конь состарится, плоть одряхлеет, а душа примется искать спасения. Тогда в ночных бдениях вся жизнь вновь пройдет перед глазами, и холодный рассудок старика непредвзято рассудит ложь и правоту, тьму и свет.

Было темно, передо мной валялось залитое кровью тело Мангии Балиаури, вокруг что-то глухо гудело, а мои губы по-прежнему бормотали в забытьи: «Попомнишь... попомнишь... попомнишь...»

В ту минуту у меня еще раз мелькнула мысль, что все завершилось, но ничего не кончилось. Все начиналось сначала, либо невидимо и незаметно продолжалось старое. Вихрю дней требовалась дань, и мы платили им эту дань—своей душой и телом. В ту минуту я устрасился своего друга. Ведь смог же он без причины дать пощечину человеку. В ту минуту я понял, что отныне я должен был запереться в собственной душе, ибо уже не принадлежал селению. Я был чужд ему и навсегда остался бы чужим для него. Теперь я мог лишь созерцать селение и холодным рассудком судить о его поступках. Отныне душа моя должна была обрести свой собственный путь — молча, незримо для постороннего глаза, удалившись от людей, одиноко. Этот путь был подобен дороге через пустыню, вокруг ни дерева, ни кустарника, ни живой души и лишь земля — голая, безлюдная, а над этой безлюдной землей опрокинута бездонное небо, ночью усаженное звездами, между которыми проплывали луна и заблудшие планеты. Теперь я думал о своей темной

келье. В той келье распростертая на толчане черная ряса шепотом призывала кого-то: «Спаси меня... спаси меня... спаси...», и слова эти терялись в пустоте, подобно бессмыслице, ибо слово осталось лишь словом, полным и ничего не значащим. Напрасно я гнался за этими словами, напрасно казались они мне устойчивыми, живыми и достижимыми. Эти слова уже утратили силу, затерялись и растворились во мраке. Я нагнулся, и там, где я ожидал увидеть тело Мангии Балаури, лежал омытый кровью отец Стефанэ. Боже всевышний! Куда увел ты моего названного отца Мангию Балаури и почто омыл кровью святого отца Стефанэ?.. «Прости меня, отец», — шепнул я едва слышно и вышел вон.

Может, все было не так, как виделось мне. Может, все было гораздо проще и происходило то, что неминуемо должно было произойти. Может, в этом случае не было ни виноватых, ни невинных, ни лживых, ни правых, была лишь жизнь со своими недоразумениями, и в этих недоразумениях все были лживы и все правы...

Наше детство кончилось. Мы лишь раз ощутились на вершине хребта и лишь раз ощутили свободу наших тел и душ. Мы лишь раз объявились пред солнцем, как его ненасытные дети, и с вызовом бросили ему — погляди на нас. Да, такое случается лишь раз, да и то в детстве. Я был счастлив лишь раз, да и то в ночи пустыни, когда звезды отводили глаза, луна скрылась за тучу, а ночь, нежно шепча, укутала нас своим одеялом. А все оставшееся время будет лишь тщетным поиском счастья — ведь детство кончается, и ничто не повторяется вновь. Мы изменили нашему детству, и чем дальше отойдем мы от него, чем больше удалимся, тем больше изменим самим себе. И, постарев, с печалью вспомним те утраченные дни, наше утраченное детство, и чем ближе подступит к нам судный день, тем неистовей и горше начнем мы искать, авось найдется, авось отыщется. Но и это будут тщетные поиски, и в этих тщетных поисках поглотит нас мрак.

Но может, поиски эти не столь тщетны? Ведь вернулся же я, странник-пустынный? Может, старость и есть возвращение в детство? Так станем же ждать ста-

46935940
802-0110333

рости, как обретения утраченного прошлого, как явления пред очи спасителя, подобно тому, как являются пред ним усталые, возвратившиеся после дорог неведомых и выполнившие свой долг.

Я должен был остаться в этой башне, башне моего детства, и дожидаться здесь. Ведь ничего не оставалось у меня, кроме ожидания. Я знал, что жизнь здесь и без меня пойдет своим путем, ибо никому из здешних я не был нужен и ни от кого из них мне не нужно было ничего. Но была тогда неведомая мне, необъяснимая некая сила, которая вязала меня по рукам и ногам, никуда от себя не отпускала. И силой той была повесть, начавшаяся в этих башнях, такая же явственная и живая, как сам человек. Я заранее ощущал всю остроту повести, начавшейся на моих глазах и теперь упорно набирающейся сил, повести, где мне как будто не было отведено места, но где я все едино подразумевался волею судеб. Я с упрямой верой ощущал свою незримую жизнь в этой повести. Все было заранее известно и заранее записано в книге судеб, а люди разыгрывали всего лишь то, что было предначертано им в этой книге. Книга эта уже была прочитана мной, и начало и конец повести были изначально известны мне. Образы, воочию возникавшие предо мной, подстегиваемые страстями и неугомонными желаниями сломя голову неслись к концу. Канва, обозначенная моей мыслью, подводила меня лишь раз из тысячи. Я знал, что за чем последует, где запрудится река повести, где она вновь вырвется на волю и где сорвется в пропасть, где она теснима ущельем и где разольется привольно, вбирая в себя тысячи ручейков. Повесть шла своим чередом, по своему извилистому пути, ни о чем не спрашивая меня, но я все прекрасно ведал об этом пути. Конец был все же один, и я со страхом ждал конца.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О чем подумал Георгий Балиаури, сделавшись сельским старейшиной? Может, он, подобно глупцу, вознесся от радости на седьмое небо. А может, ощутив на плечах непосильное бремя, тут же понял, что отныне он должен ходить склонив выю, пока прови-

дение само не избавит его от этого бремени и не от-правит, подобно любому смертному, своим путем. С того самого злого дня, когда мой взбешенный друг дал мне пощечину, я ни разу не видел его в глаза. Однако, как мы ни избегали друг друга, пытаюсь забыть о нашем совместном существовании на этом свете, провидение все же накрепко связало наши судьбы. Книга его жизни писалась на моих глазах, и как бы ни старался он укрыться от меня, я все же ощущал и явственно видел его, как самого себя. Призрак моего друга, запертого в возвышающейся передо мной башне, постоянно стоял рядом со мной, созерцая издали своего двойника. А ведь издали все отчетливо видно. Я создавал новую действительность из пары-другой невзначай оброненных слов, из отрывочных сведений, из мимолетного взгляда, из сопоставления воспоминаний, из полустертых человеческих следов, и это была моя собственная действительность. У истоков этой действительности мы оба — я и мой друг Георгий Балиаури. Потом наши пути-дороги разошлись, но конец повести был мне известен изначально, явственно воображенный в моей собственной действительности. Этим воображением заполнялись и те страницы книги жизни моего друга, которые были сокрыты от чужих глаз и в которых обнажилась душа моего друга. И если заранее увиденный конец оправдывается и в действительности, то все воображаемые страницы моей собственной действительности истинны больше, нежели сама действительность.

И все же, что ощутил мой друг в ту минуту, когда он сделался сельским старейшиной, — простую радость или тяжкое бремя? В моей собственной действительности мысли молодого сельского старейшины выражаются одним-единственным словом — страх!

Что из того, что молодой старейшина предстал перед селением барсом, скинувшим оковы и разорвавшим путы, в которых держал сына безобидный Мангия Балиаури, и, подобно горячему жеребцу, вырвался на простор. Но жеребец не был беззаботным. С той самой минуты, когда он, стоя возле бездыханного тела Мангии Балиаури, оглянулся на свою будущую паству, сгрудившуюся у дверей, страх обуял его, дотоле бесстрашного, яростного и бездушного.

Да, это было дотоле неиспытанное чувство: страх!
И страх потряс моего друга.

УДК 82.09
202.02.01.01.03.33

При жизни отца юноша предавался лишь охоте. Он отменно сражался и в царском войске, и там он был среди первых, пока роковая пуля не прошла через плечо, вынудив его возвратиться восвояси. Тогда страх ему был неведом. Не думал он о нем и в отчем доме. Мангия Балиаури был по природе человеком мирным, ни одно из окрестных селений не испытывало перед ним страха, и селение, которым он предводительствовал, жило в безобидном миролюбии. Юноше Балиаури было противно это дремотное миролюбие, особенно после того, как, получив в плечо пулю, он был вынужден распротиться с царским войском. Привыкший к воинской жизни, полной опасностей и риска, искушенный в отношениях с женщинами и не умеющий ни в чем отступаться, он с язвительной насмешкой взирал на убогий мирный быт селения и с нетерпением ждал дня, когда что-нибудь да изменится в этом однообразном и монотонном существовании.

Но что-нибудь могло измениться лишь смертью.

Георгий Балиаури любил отца, но в силу того, что отец и сын были совершенно разными по природе людьми, они все больше и больше становились чужими друг другу, и годы не только не уменьшали, но и усугубляли эту отчужденность. И в конце концов, когда одряхлевший Балиаури окончательно отвернулся от сына, юный Балиаури самозванно взялся вести дела своего отца, ни в чем с ним не советуясь. Мангия Балиаури лишь на словах остался сельским старейшиной, а на деле все управление селом перешло в руки Георгия Балиаури. Но единственное, чего не мог добиться Георгий при жизни отца, так это нарушения мирного уклада, дремотного существования села. Георгия Балиаури грызли сомнения, что уклад этот был мирным лишь по видимости, что в один прекрасный день осмелевшие соседи нападут на безобидного Мангию Балиаури и от мирного бытия селения не останется и камня на камне. Соседние селения должны были трепетать в страхе перед его селением, даже во сне не избавляясь от этого страха. Лишь в этом случае село станет селом, а сельский старейшина — истинным ста-

рейшиной и предводителем. Юноша понимал, что мирный быт не мог порождать страха. Для страха нужны были походы, грабежи, искушенные всадники и угон скота, похищение красавиц и захват пленников, предание огню опустошенных, покинутых жителями селений. А для свершения подобных деяний был необходим повод, дабы войско и село были правы даже тогда, когда похищали красавиц и предавали огню селения.

Вот о каком страхе мечтал Георгий Балиаури, когда он еще не был старейшиной, когда дух Мангии Балиаури обитал еще в его дряхлом теле и когда мой друг еще не ударил меня за то, что перед смертью дряхлый старейшина позвал к себе меня, а не своего сына Георгия Балиаури.

«Я запугаю село», — думал юный Балиаури, не подозревая о том, что когда-нибудь он сам будет поражен этим страхом. А страх этот обуял его тут же, как скончался отец, как внезапно опустело место, где восседал его отец и сельский старейшина, и если бы кто-нибудь не взял бразды правления в свои руки, то селение, оставшееся без руля и без ветрил, перестало бы быть селением. Георгия Балиаури, стоявшего возле трупа отца, поразил именно страх овладения этим опустевшим местом и покорения селения, и с той поры это чувство страха ни на мгновение не покидало его.

Сельская тишина нарушилась. Осмелевший от страха и страхом же подстегнутый юный предводитель огляделся по сторонам. Селение было маленьким, но и другие селения были не больше. Из этого маленького селения, если пробудить его и заронить ему в душу страх перед соседними селениями, вполне могло получиться безжалостное и неуступчивое войско. Молодой предводитель уже достаточно хорошо разбирался в шаткой природе села, понимая, что оно без труда сможет сбросить с себя личину блаженной дремоты и миролюбия, легко облачившись в кольчугу задиристости и непримиримости.

Страх вынудил старейшину построить башню выше и неприступней всех других башен. Из башни этой все село было видно, как на ладони. Башня была угрюма, могуча, как хребет, и окружена тяжелой огра-

дой с бойницами. Возле огромной дубовой двери стояли стражники, и отныне ни единая живая душа не смогла бы проникнуть за порог ограды, не заручившись предварительно соизволением старейшины. Страх и робость обуяли все окрест.

Башня и ограда наложили на все отпечаток угрюмости и недоверия. Ограда вознеслась между старейшиной и селением, дерзко требуя ото всех страха, повиновения и любви. Прежде в селении все были едины и сплочены вокруг своего старейшины. Было селение и был у него свой старейшина. Теперь же появились избранные — телохранители старейшины, доверенные старейшины, близкие старейшины или нужные люди старейшины. Да, теперь в первую голову были старейшина и преданные ему люди, а потом эти люди, бывшие посредниками между старейшиной и селением, доносили до слуха старейшины все сельские дела.

У телохранителей старейшины был еще и свой соглядатай — надежный и преданный старейшине человек. Но найти надежного и преданного человека оказалось делом довольно трудным. Сначала назначили было одного, но едва селение успело к нему привыкнуть, как тут же был назначен другой. Этот другой тоже продержался недолго, и теперь на смену ему явился третий. И селение ждало, когда же и этот будет заменен следующим. Объятому подозрениями старейшине требовался человек, которому он доверял бы, как самому себе. Но такого человека было не видать. Каждый взводный телохранителей давал старейшине повод к подозрению, подозрение же не нуждалось в доказательствах, и подозреваемый взводный переставал быть взводным.

Старейшина словно бы ждал чьего-то появления, и в ожидании этого взводные менялись один за другим. Этот «некто» обладал, верно, собачьей преданностью, и взводного меняли именно тогда, когда сравнивали с тем грядущим «кём-то». А тот запаздывал... И в этом опоздании чудилось его величие. Он, подобно богу, должен был явиться именно тогда, когда его появление станет неизбежным. Он должен был ворваться в реку повести, словно ливень, изменив ее цвет и русло.

Так пришел Хирчла... И тот день тоже был одним прекрасным днем.

Никто не знал, откуда взялся Хирчла... Он словно бы свалился с неба и занял свое место. Селение уже ничему не удивлялось, но явление Хирчлы, свалившегося с неба, стало в глазах селения поводом для изумления и страха. Этому изумлению в немалой степени содействовал и сам Хирчла: он не был ни Хирчлой, ни вообще кем-либо. Он просто сказал — зовите меня Хирчлой, и селению не оставалось ничего другого, как звать его Хирчлой. По мнению селения, Хирчлой должен был зваться древний витязь, герой, борец со злыми духами и дэвами, с близкими и дальними врагами. А за этим пришлым чужаком никто не замечал ни особой удали, ни благородства души, подходящих Хирчле, и потому селению было невмочь звать его Хирчлой. Этот неведь откуда взявшийся человек без прошлого не мог быть Хирчлой, но старейшина удостоверил, что тот воистину был Хирчлой: другом старейшины, верным и испытанным Хирчлой, служившим вместе с ним в царском войске и, что более всего удивило селение, спасшим жизнь самому старейшине. Никто не ведал, как и где спас Хирчла Георгия Балнаури — подставил ли он грудь пуле, летевшей в старейшину, или же переломил надвое вражеский клинок, занесенный над его головой, но, так или иначе, Хирчла сделался первым человеком для старейшины в тот же день, как свалился с неба.

Хирчла был чужаком. Никто не ведал ни его веры, ни обычаев. Среди всех лишь один сельский старейшина знал о его происхождении. Но, во-первых, никто не осмелился бы справиться об этом у сельского старейшины, а во-вторых, никого лучше этого чужого для селения, неведь откуда взявшегося человека без прошлого не смог бы найти старейшина в качестве своего телохранителя и осведомителя. И селение поняло это. Для Хирчлы селение было чуждым, и потому Хирчла должен был стать неподкупным первым человеком. С той поры старейшина мог быть спокоен и целиком отдаться делам внешним, доверив внутренние Хирчле.

Когда мы встретились впервые, Хирчла повернулся, впился в меня глазами и заорал:

— Что это еще за поп?

Никто не подал голоса.

— На что нам поп, когда нет церкви? — вновь заорал Хирчла.

И на этот раз никто не осмелился подать голоса.

— Сейчас же сбрось ясу! — рывкнул Хирчла.

Я, не говоря ни слова, вошел в башню. Только собрался я закрыть дверь башни, как вдруг вздрогнул, словно стрела вонзилась мне меж лопаток. Я оглянулся и обмер: тот, свалившийся с неба чужак, был вовсе не Хирчла, а Хечина. Именно Хечина не мигая смотрел на меня.

Я в страхе попятился и скрылся за дверью.

Хечина стоял, не сводя глаз с двери моей башни.

Это не было чудом, но я был потрясен как при явлении чуда. Тот человек, не сводивший глаз с прорези в двери, звался Хирчлой, но был похож на Хечину, не на того Хечину, что, громыхая, гнался за мной в пустыне, а потом рухнул на колени побежденный и молящий. Нет, это был молодой Хечина, полный сил, пока что звавшийся Хирчлой...

Кто это — Хечина или Хирчла? Почему за каждым из нас, куда бы мы ни пришли и где бы ни укрылись, подглядывает свой Хирчла? Как изменил обличье тот Хечина, как стал он гладко выбритым и все же остался Хечиной? Как смеет орать этот Хирчла или Хечина здесь, в моем гнездовье, словно хозяин здешних мест, и почему я скрываюсь от его немигающих глаз за дверью башни? Это ведь моя башня и дверь эта — дверь моей башни? И как смеет касаться этой двери моя рука, не спросясь меня, почему она плотно закрывает ее, почему продевает в нее железный засов и почему я стою за этой дверью, словно сомневаясь, навалится на нее Хирчла-Хечина или нет...

Перевод Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

Продолжение следует

наверное
я превратился
в землю.
Гляжу на саженец
и далеко,

далеко,
в вышине
огромный синий свод вижу,
сияющий,

прекрасный,
имени которого
я уже и не помню...

Но почему-то
я счастлив тем,
что верхушка
моего саженца
к той синеве

непрестанно

стремится.



Единственно
на свете
счастлив
светлячок:
он и летает,
и при этом светит.



Вечер...

в мягком кресле
сидишь, подремывая,
Не обращая внимания
на шум городской.

Наплывают сумерки...
Наслаждаешься прохладой,

уютом.

Вдруг тебя отрезвит хлопанье крыльев:
Слетит на балкон
И, не обернувшись на хлебные крошки,
Уставится в глаза твои птица

Взглядом,
обезумевшим

от дальности неба



●
Чем же помочь
цветам-невеждам
на верандах наших,
не выдавшим ни разу
из-за стекла
и так и не знающим:
что же такое дождь...

КАРТИНА

Ссутулившись, стоим во мгле
И смотрим друг на друга
и удивляемся:
почему
не заметили,
как постепенно становились похожими
на птиц,
у которых тайком
выкрали небо.

●
Это
именно старостью
было.
Стоял в крошечной ночи
дуб
и не чувствовал больше,
сидят ли птицы на ветвях
или уже прочь улетели.

ИГРА

Давно уж
прошел
весенний дождь,
но маленькие
глупые
вишневые деревья

сохранили капли дождя
и стоят, точно в слезах,
словно и вправду
есть им о чем печалиться...

●
Они, босоногие,
стоят на пригорке
и смотрят
на стремительно летящие красивые вагоны...
Я завидую
этим маленьким девчонкам и мальчишкам,
Им еще не довелось увидеть
стоящий в станционном тупике
пыльный,
пустой,
грустный поезд.

●
Оказывается, существовал
такой народ:
в их языке
не было слова «маленький»,
и, чтобы отметить это свойство предметов,
они говорили:
«Как крыло птицы, рожденной в клетке...»

Не правда ли, братья,
удивительно это?

●
Корова, милая!
Что,
замерев,
хвостом
ты розы в воздухе рисуешь.
Ты, верно, думаешь — тебя
хотели одарить красивым украшеньем.
Но этот вот
звонящий бубенец
тебе лишь для того цепляют,
чтоб в час,

сам по себе этот факт
значит ли что-нибудь вообще,
или можно
из этого сделать
какой-нибудь вывод,
но почему-то

мне кажется —

следует нам запомнить:

дети на свои игрушки
не дуются долго.

КИСКА-КОПИЛКА

В конце концов
жизни
истинный миг
и ей судьба уделила:
выкинули ее на свалку,
осталась она одна
под огромным небом,
и вместо грязных монет
дождями,
свежими ливнями
наполнилась голова.



Это не столь печально,
что вымерли —
всему на свете
есть свой конец.

Беда лишь в одном:
теперь уже

больше никто

на земле не помнит —

пели порой
или вовсе не пели
динозавры.



Рассмеялась звонко маленькая девочка,
и воздух
стал таким прозрачным вдруг
и свежим,

будто улицей
в большой корзине
вишни пронесли...



●
Встрепенулось мое сердце...
Как легко
с моего балкона
к твоему
белокрылый голубь
перелетел.

БЕГСТВО

В конце обеда
 подали огромный арбуз.
Тогда-то один из спорщиков
о распределении сущего в мире
беседу вдруг прервал,
ухватил свою вилку и нож,
аккуратненько вырезал щелку
и поспешно забрался в сладкую прохладу...
А затем,
 сколько его
 ни звали,
из того арбуза
никогда уже не выходил.

ЧЕЛОВЕК СО СНОВИДЕНИЕМ

Как ему хотелось,
так он и устроил
свою жизнь.
В теплой постели просыпается утром,
медленно вылезает,
лениво бреется,
завтракает плотно,
целует пухлую щечку жены,
садится в просторный автомобиль,
«поехали» — кивает шоферу
и мчится на «работу».
Там он сидит в удобном мягком кресле,
принимает посетителей,

равнодушно слушает их,
читает со скукой заявления.
Ему звонят,
он тоже звонит,
пьет кофе,
секретаршу
по мягкому заду поглаживает,
и когда захочет,
прерывает «работу».
Присоединившись
к нескольким вроде себя,
он величественно
спускается в ресторан,
садится к щедрому столику,
обильно ест и пьет,
и в свой черед
он произносит тосты —
длинные-предлинные,
сладкие-пресладкие.
Говорит громко,
со слезным надрывом в голосе.
Потом выходит из ресторана,
заезжает к одной женщине...
Возвращается довольный домой...
Недолго смотрит телевизор,
протяжно зевает,
кряхтя, укладывается в мягкую постель,
засыпает
и видит сон.
А сон такой вот:
он просыпается в мягкой постели!
Вылезает,
завтракает,
целует пухлую щечку,
садится,
едет,
сидит,
принимает,
слушает,
читает со скукой заявления,
ему звонят,
он тоже звонит,

поглаживает мягкий зад,
потом присоединяется
к нескольким вроде себя,
сидит в ресторане,
ест, пьет,
произносит тосты —
длинные-предлинные
и сладкие-пресладкие,
заезжает к той женщине,
возвращается,
протяжно зевает,
кряхтя, залезает в постель...
И только во сне он заснет,
как здесь, наяву, просыпается.
Просыпается в теплой постели,
медленно вылезает,
лениво бреется,
завтракает плотно,
целует пухлую щечку жены...
И так далее...
И так далее...
Так и живет,
здесь засыпает — там, во сне, просыпается,
там засыпает — здесь просыпается.
И в этом счастливом симметричном
существовании
переплелось, перепуталось все.
Здесь сон — тоже реальность,
а реальность — сон сна...
Живет человек
бездумный и всем довольный.
Но...
Эх, разве коварная судьба
дает человеку бесконечную радость?
И вот уж неделю
во снах у него
поначалу
все идет чин-чинарем,
и завтрак,
и работа,
и кутеж,
и женщина,

но когда он приходит домой,
зевает
и направляется к теплой постели,
вдруг ветром распахивает окно.
Кидается он к окну,
закрывает плотнее,
но ветер снова и снова
набирает силу.
Вконец измученный,
тяжело дыша,
унимается человек.
Долго стоит у распахнутого окна.
Смотрит в окно.
Дует ветер...
Потерял, бедняга, покой
(это здесь, наяву),
вяло цедит тосты,
аппетит, того и гляди, совсем пропадает,
и кажется ему,
что уже и не мягкие вовсе
ни постель,
ни щечка жены,
ни зад секретарши,
ни кресло...
И не знает он,
где искать помощь,
что делать, как быть,
кому писать, кому звонить,
кому жаловаться
или у какого врача
какое лекарство просить.
Как узнать,
кто подскажет,
почему он во сне
не может закрыть окно,
и за окном
заходящее солнце,
на ветру дрожащий саженец
и на его ветке пичужка
почему все снятся ему?

Перевод Даниила ЧКОНИЯ



Владимир ОСИНСКИЙ

СЕРДЦЕ ГОРОДА

Очерк

Если бы я пробыл в Абхазии хоть месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого куста, со всех теней и полутеней на горах, с неба глядят тысячи сюжетов.

А. П. ЧЕХОВ.

БУДУЧИ однажды, много лет назад, послан по редакционному заданию в Сухуми, я, естественно, обрадовался. Начинался сентябрь — золотая пора! — и, после первого знакомства с одним из работников горкома комсомола, сказал ему с откровенной завистью:

— Счастливы вы! Небось каждый день купаетесь...

Он поглядел с некоторым удивлением, потом рассмеялся:

— Знаете, в этом году — всего несколько раз. Мы ведь здесь не отдыхаем — живем.

Так мне был преподан первый урок: курортные города являются таковыми именно — и только — для курортников. Те же, у кого здесь место постоянной прописки под солнцем, в этих городах **живут**, а следовательно — **работают**.

Что представляет собою Сухуми?

Его коренные обитатели, а вместе с ними люди всей Абхазии и Грузии в целом гордятся тем, что в своем весьма почтенном возрасте — более 25 веков! — город сохранил обаяние юности и упругость шага по жизни. Не так уж много в нашей стране уголков, где среднегодовая температура составляет почти 15 градусов тепла, где количество солнечных дней в году достигает двухсот двадцати, а купальный сезон длится с мая по ноябрь... Надо ли говорить, что ежегодно Сухуми принимает сотни тысяч гостей из всевозможных городов и районов Советского Союза и зарубежных государств.

435340
202 01033

Но такова столица Абхазской АССР в традиционно односторонней интерпретации туристических справочников и проспектов, впрочем и не претендующих на особую ценность держащегося в них информационного материала.

Сегодняшний Сухуми, кроме богом (простите — природой) данных ему неоценимых достоинств популярнейшего морского курорта, примечателен еще и многим другим.

Это город развитой многоотраслевой промышленности. Здесь производятся сложные приборы и колбаса; выпускаются сигареты и газовые аппараты; здесь шьют обувь и осуществляют сложнейшие научно-технические исследования; здесь... Короче, сегодняшний Сухуми — это современный культурный и промышленный центр, сложный, очень сложный **живой организм**. А полнокровность и полноценность функционирования подобного — **высокоорганизованного** организма возможны лишь при условии, если его жизнедеятельностью руководят здоровые, сильные, безотказные сердце и мозг.

На последней, предшествовавшей XXVI съезду Компартии Грузии, конференции Сухумской городской партийной организации приводились такие вот данные:

— к 22 ноября 1980 года коллективы промышленных предприятий рапортовали о досрочном выполнении заданий десятой пятилетки по выпуску и реализации продукции;

— в 1976 году сухумцы выпускали семь изделий с государственным Знаком качества, сейчас их — 166; на 15 предприятиях города внедрена комплексная система управления качеством;

— за десятую пятилетку строители освоили более 63 миллионов рублей капитальных вложений; это — 150 новых объектов производственного, социального, культурного назначения... Ну, и великое множество «и т. д. и т. п.», охватить которые полностью в одном очерке попросту физически невозможно. Вместе с тем — я твердо в этом уверен — читатель совершенно отчетливо, причем, конечно, значительно раньше, чем были названы эти цифры, осознал, что упомянутые выше сердце и мозг Сухуми — не что иное, как партийная организация города, ведомая людьми, чье общее высокое и несказанно ответственное имя — **горком партии**, его многочисленный **актив**.

«Подождем указаний опыта, чтобы решить, насколько практичным оказалось это правило».

Приведенные слова принадлежат Владимиру Ильичу Ленину. Как все, сказанное им, они произнесены словно сегодня. Ими сухумские товарищи руководствуются во всей своей повседневной жизни и деятельности — той многотрудной и многосложной, подчас исполненной нешуточных огорчений (говорят, нервные клетки не восстанавливаются?), однако, в конечном счете, неизменно благодарной деятельности, которая на языке профессионального называется **партийно-организационной и партийно-политической работой**... Небольшая оговорка. Я назвал их товарищами не потому, что так уж принято у нас называть руководящих работников. Многие сухумские горкомовцы (и не только они) — мои товарищи в общепринятом,

обыкновенном человеческом смысле слова, и я подчеркиваю это не с тем, чтобы похвастать подобными дружескими связями, а по совсем иной причине. Но об этом — чуть позже.

Ах, какое несметное количество не поддающихся реанимации нервных клеток осталось бы в живых, если б все или хотя бы большинство из нас руководствовались в своих поступках простым и мудрым правилом: думай о людях, тебя окружающих! Думай о них так, как ты думаешь и печешься о самом себе!

Еще в ходе подготовки проекта «Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года», в своей речи на октябрьском (1980 г.) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев высказался по этому поводу со свойственными ему лаконизмом и четкостью: «...Я бы начал не с металла, не с транспорта и даже не с топлива и энергии — при всем их огромном значении, — а с вопросов, от решения которых наиболее непосредственно зависят условия жизни советских людей. Думается, что это и есть самый партийный подход, когда во главу угла кладется забота о благе народа».

Используя свои приятельские отношения с первым секретарем горкома партии Рамином Кецбая, я напросился к нему в кабинет в понедельник — тот единый для всех учреждений и организаций день, значительная часть которого отведена приему граждан. Неважно, по какому вопросу пришел к руководителю любого ранга посетитель. Может, он принес предложение, содержащее в потенции резонанс городского, а то и общегосударственного масштаба. Не исключено, что доведенная до крайности невестка хочет пожаловаться на сварливую свекровь. И того и другую примут и выслушают вежливо, внимательно, без тени предубежденности или нетерпеливой раздражительности. Во всяком случае, так должно быть...

В меру сил попытаюсь передать впечатления, полученные за несколько часов присутствия на приеме посетителей первым секретарем Сухумского горкома партии; здесь же находился, как обычно, заведующий общим отделом Шалва Цулейскири, возглавлявший ранее партийную организацию Абхазского государственного университета, — человек выдержанный, вдумчивый и в то же время наделенный способностью быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации, — качества, жизненно необходимые на такой должности: общий отдел горкома — это именно **общий** отдел, людей, которые в нем работают, касается решительно все.

Дверь приоткрылась, заглянула Этери Саипова, техсекретарь:

— Можно начинать, Рамин Григорьевич?

Он взглянул на часы, не без сожаления отложил какую-то срочную официальную бумагу (вам встречались когда-нибудь не срочные официальные бумаги?), кивнул.

Глубоко ошибается тот, кто думает, будто в обязанности технического секретаря входят лишь функции цербера, ревностно охраняющего от посягательств непрошенных гостей святилище своего шефа. Этери (кстати, у нее высшее образова-

1935020
301033

ние, и в этом, думается, одна из характерных примет времени — подлинный профессионализм в любой сфере становится все более адекватен понятию «высокая культура, разносторонность и широта знаний») не только отвечает на телефонные звонки и ведет запись посетителей. Если секретарь горкома отсутствует, она не ограничивает обескураживающим «его сейчас нет», но «подробно и внимательно расспросит телефонную трубку о существе дела, запишет и не откладывая в долгий ящик передаст потом по назначению. Она не побоялась самостоятельно определить степень срочности вопроса, и она умеет разговаривать с людьми... Все это не для того, чтобы показать, какой, мол, это хороший человек. — Этери Саипова. Много важнее другое: от четкости работы техсекретаря во многом зависит четкость ритма жизни горкомовского аппарата в целом. Театр начинается с вешалки... Не торопитесь с возмущением по поводу столь кощунственного сравнения. Горком партии и театр — вещи, вне всякого сомнения, разные. Однако и тут порою хватает «театра».

Вошла в кабинет особа атлетического сложения и, видимо, не заметив протянутой руки Рамина Григорьевича, незамедлительно ударилась в слезы. Следует заметить, что перед собой она толкнула в дверь девочку: нате, мол, полюбуйтесь, ребенка не с кем оставить, — несчастный ребенок! Ребенку было лет десять-двенадцать. Очутившись в незнакомой обстановке, девочка тут же начала проявлять здоровую любознательность: с подкупающей непринужденностью расхаживать по кабинету, разглядывая стеллажи с книгами, секретарский письменный стол, и даже сделала попытку воспользоваться одним из каналов внутренней — селекторной связи... Это был единственный момент, когда Шалва Моисеевич Цулейскири решил призвать маленькую разбойницу к порядку.

Разумеется, дело не в девочке. Атлетическая мама представляла явление куда более грозное. Она требовала новой квартиры. Заметьте: не просто квартиры, а именно **новой**, в новом современном доме, со всеми удобствами... Не будет, наверно, открытием подчеркнуть, что в Сухуми жилищная проблема особенно остра (хотя она ведь везде, или почти везде, является проблемой номер один). В течение многих лет печально памятной всем нам поры волюнтаризма и подчас преступной некомпетентности в руководстве экономикой нашей республики жилищное строительство здесь практически вовсе не велось: в изобилии вылезали из-под земли, как грибы-шоганки, дощатые временные бараки — и на том дело, по существу, кончалось... Лишь в последние несколько лет этому вопросу стали уделять подобающее его серьезности внимание. Не будет изыском из области литературных «красот» сказать, что сегодня Сухуми — в лесах новостроек. Тем не менее до решения квартирного вопроса еще куда как далеко.

Но вернемся к посетительнице, с макиазеллевским хитроумием притащившей с собою ребенка, которого «не с кем было оставить», — точнее, покончим с этим эпизодом.

Позднее мне объяснили, что женщине этой, недавно поступившей на одно из промышленных предприятий, выделили комнату в коммунальной квартире, причем, в нарушение существующих правил, учитывая сложное семейное положение, раньше срока; что в соседней деревне у нее есть дом на паях с братом, психически больным, как она утверждает, человеком, рядом с которым «опасно жить»... Ее встретили, как и всех остальных, вежливо и предупредительно, выслушали с завидным долготерпением и проводили, пообещав, что делу будет дан законный ход, — иными словами, что придется дожидаться получения квартиры в порядке установленной очередности... Примечательное, весьма характерное обстоятельство: горкомовцы не любят обнадеживать людей попусту.

На другой день я уныло бродил по базару, чтобы выполнить легкомысленно данное одной приятельнице обещание привезти кило пять чудодейственного фейхоа — и натолкнулся на давешнюю просительницу. Она бойко торговала громадными безвкусно-водянистыми местными грушами, убеждая легковверных курортников, что это самые настоящие гулаби. В глазах не было слез — они пылали алчным огнем. И бесприютного ребенка рядом тоже не было.

Рагин Кецбая рассмеялся:

— Ну, не все же такие... Да ты и сам вчера видел.

На приеме, действительно, были разные посетители.

Женщина — инвалид Отечественной войны пришла просить защиты от агрессивно настроенных соседей, не позволяющих ей пользоваться общей кухней:

— Они говорят: «Ты смотри, не очень-то! У нас знаешь, где свои люди есть?!»

Секретарь горкома (не на шутку разозлившись):

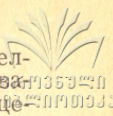
— Вы им скажите, что партия на чины и должности не посмотрит. Были люди, которые и повыше посты занимали... Провинились — и получили свое. Пусть зарубят это у себя на носу!

Рука Рамина Григорьевича — на клавише селектора:

— Зайдите, пожалуйста, ко мне.

Жозияна Джорджикия — инструктор организационного отдела. Ей поручается: создать комиссию («... и привлечите ветеранов партии, непременно!»), не теряя ни дня выяснить все обстоятельства дела и принять необходимые меры («мы человека, к тому же одинокого, фронтовика, труженицу, в обиду не дадим. Я им покажу «своих» людей в...») — следует название весьма, в принципе, уважаемого и авторитетного учреждения.

Секретарь горкома звонит в Кутаиси и Маяковски — домашнему просит коллег устроить на лечение в Саирме приезжего из Вологды, человека, которого он, кстати говоря, видит впервые в жизни... Между прочим, любопытно, неправда ли? Вот ведь сообразил товарищ отдыхающий: что-то там у самого не получилось, так он взял — и прямым путем в горком партии, авось помогут... Завидно даже. Я бы, к примеру, не догадался.



И снова входит женщина. Эта слез не проливает. Интеллигентна, подтянута, сдержанна. Профессия — преподаватель. Вопрос, судя по всему, не из легких, запутанный, из котливый. К тому же примешиваются кое-какие обстоятельства, побуждающие секретаря попросить к себе Майю Алексеевну Мозгову.

— Вы уж сначала побеседуйте между собой наедине... Как бы это сказать? Ну, «как мужчина с женщиной» — понятно, привычно звучит. А «как женщина с женщиной»? Не получается что-то... Значит, просто: по-женски поговорите.

Все улыбаются нечаянной шутке. Не знаю, чем кончилось это дело. Зато видел: посетительница, прежде вся внутренне напряженная — струна, готовая оборваться, тоже улыбнулась, вздохнула — легко и свободно. Значит, первый шаг, первое, исполненное искреннего желания помочь, движение навстречу отчаявшемуся человеку — сделаны. Это уже много.

Достаточно иногда побеседовать с человеком каких-нибудь полчаса — и понять если не **что он такое**, то, во всяком случае, **как он относится к своему делу**. Оказалось, что с Майей Алексеевной Мозговой мы коллеги — она долго работала в редакции газеты. Вероятно, оттого и разговор получился хороший — открытый, непосредственный, интересный. Когда же Майя Алексеевна перешла к нынешней своей работе инструктора отдела пропаганды и агитации, то стало ясно: **расспрашивать о Мозговой** уже не придется, вся она — в собственном отношении к делу, точнее — в огромной им увлеченности, в самоотверженном (и здесь нет ни на йоту преувеличенности) ему служению.

Стоило послушать, как рассказывала она о народных университетах, уже более пяти лет функционирующих в каждой из двадцати с лишним сухумских школ (а создавали их в расчете на год): о совместном обсуждении педагогами, родителями и учащимися кинофильмов, книг, театральных постановок; о народном университете нравственного и эстетического воспитания при Доме учителя и великом энтузиасте Пуцу Алексеевне Кучулория — его директоре и одновременно председателе Совета III микрорайона по работе с населением по месту жительства; о том, что весь город разделен на семь микрорайонов и это позволяет вести воспитательную работу, особенно с так называемыми «трудными», действительно и целеустремленно... Но эта наша беседа с Майей Алексеевной состоялась позже, а пока она ушла, уводя в свою комнату порученную ей заботам посетительницу, чтобы поговорить с ней «по-женски...». Со временем мне довелось убедиться, что при всей своей неподдельной мягкости и сердечности Майя Алексеевна умеет при необходимости очень последовательно и искусно отстаивать свои принципы и мнение — даже тогда, когда не бывает согласна с точкой зрения такого авторитетного человека, как председатель партийной комиссии, ветеран славной 18-й армии и к тому же секретарь парторганизации аппарата горкома Александр Павлович Хвичия. Впрочем, «конфликты» между ними неизменно носят характер чисто деловой и никак не отражаются на их товарищеских взаимоотношениях.

В который раз зазвонил телефон, и в который раз Рамин Григорьевич сказал в трубку:

— Потом... если можно. У меня сейчас люди

Прием продолжался.

Вошел солидный мужчина с явно предусмотрительно заготовленной заранее улыбкой — заискивающей и нагловатой в одно и то же время. Ему было сказано довольно сухо:

— Пока ничего нет. Ничего такого, что вы хотите...

Мужчина был бывшим номенклатурным работником, серьезно проштрафился, его освободили от должности, и теперь он регулярно посещал всевозможные инстанции, настоятельно выпрашивая другую — непременно тоже номенклатурную — должность.

Застенчиво протиснулся в двери совсем молодой паренек. Он недавно получил вузовский диплом, не мог найти в городе работы по специальности, а о выезде не могло быть речи: месяц назад умер отец, остались мать, которая всю жизнь была домохозяйкой, две сестренки и брат, все трое еще школьники.

Секретарь вызвал к себе четверых — работников разных отделов. Совещались, куда-то звонили, что-то сообща обсуждали. Искали для человека подходящую работу, и длилось это больше часа. Нашли.

Явился директор одного из крупнейших торговых объектов города. Не по своей инициативе нанес он визит в горком партии — его вызвали. Вот что пришлось выслушать руководящему торговому работнику в кабинете, порога которого ему, кажется, отнюдь не хотелось переступить:

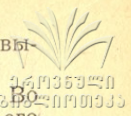
— Вы обязаны в первую очередь заботиться о снабжении рабочих. Рядом с вами — «Сухумприбор». Почему не возите туда продукты хотя бы первой необходимости — мясо, крупы, колбасу, скажем? В городе полно приезжих. Мы им, конечно, рады. Но курортники могут целыми днями ходить по магазинам, и среди них, к сожалению, немало таких, которые хватают что надо и не надо, причем куда больше, чем требуется. Это во многом обуславливает перебои со снабжением продуктами. А у рабочего нет времени стоять в очередях... Вы меня понимаете?

Я слушал этот диалог (вернее, монолог, потому что участие в разговоре работника прилавка сводилось в основном к предельно кратким изъявлениям полнейшего согласия с мнением секретаря) — и не удивлялся.

Рамин Кецбая родился в Гали, окончил школу в Сухуми, горным инженером стал в Тбилиси. С 1953 по 1969 год работал под землей — в тварчельских шахтах. Он прошел долгий и тяжелый трудовой путь, прежде чем сделался главным инженером шахты; впоследствии был призван на партийную работу. И как свободно владеет он грузинским, русским, мингрельским языками, так же естественно и глубоко (не вычитано в книгах, не усвоено с чужих слов) — его знание жизни, людей, а главное — понимание нужд, забот, души рабочего человека.

Директор ушел, заверив, что «все будет сделано».

— Жулик? — вопросом ответил Рамин Григорьевич на мой немой вопрос. — Нет, просто не умеет думать как след...



Центральная библиотека
Министерства обороны СССР

ет. Или не хочет — торгуя по старинке, ему легче план выполнять. Да и хлопот меньше... Ничего, научим.

Забота о человеке — понятие далеко не однозначное. Во время приема посетителей (в первый день каждой недели его проводят все секретари и заведующие отделами) процесс его выполнения этого первейшего долга партийного работника можно, если здесь уместно подобное выражение, наблюдать воочию — как, например, посчастливилось мне; он совершается на поверхности непрестанно меняющей свой облик череды будней, именуемой партийной жизнью, и плоды его обычно не заставляют себя ждать, они весомы и зримы.

Еще более, естественно, весомы результаты организаторской деятельности партийного комитета, когда они сказываются на судьбах уже не одного или нескольких, а сотен, тысяч, десятков тысяч людей. Здесь самое подходящее, точное и емкое слово — **масштабность**. Ибо тут следует говорить о партийном руководстве буквально всеми сферами общественного бытия: экономикой, идеологией, культурой... Всего, как принято говорить, не перечислишь. Но вот о некоторых формах творчества, которое называется организаторской и политической работой, рассказать можно и нужно.

Есть у меня в Сухуми еще один хороший товарищ — заведующий орготделом горкома Рауль Хонелия. Нашей, к сожалению, в основном заочной, дружбе уже десятка полтора лет, если не больше. Мы познакомились еще в бытность нашу комсомольскими работниками, и я мог бы многое о нем рассказать. Ну, к примеру, что Рауль Шукриевич, как его нынче величают, не только закончил в надлежащее время геолого-географический факультет Сухумского пединститута, а потом прошел обычный для человека, попавшего в соответствующую орбиту, путь от инструктора райкома комсомола до своего нынешнего, весьма, кстати, ответственного поста заворга (для непосвященных: отдел организационно-партийной работы — ведущий в партийных комитетах всех уровней) и члена бюро Сухумского горкома. Еще я мог бы рассказать, что Рауль — отличный гитарист и в свое время исполнял по нотам классические произведения, страстный охотник (приносил и кабанов, и туров — само собой, отстрелянных по лицензии); что он искренне любит природу и общение с ней доставляет ему огромное наслаждение; что Яна учится в пятом классе, Ирочка же пока во втором, и Рауль проводит с дочками в лучшем случае десятую часть того времени, которое ему хотелось бы им уделять... Как, впрочем, и Рамин Кецбая, и многие другие мои друзья, ибо существует неписаное, однако неукоснительное правило: рабочий день партийного работника начинается в девять утра и кончается, когда позволит дело.

Так вот, Рауль Хонелия познакомил меня с некоторыми людьми, составляющими боевой отряд, ядро городской парт-организации (на партийном языке это называется **активом**), а также с отдельными их делами.

Прописная истина: любое, самое умное, актуальное, целе-
направленное, в мельчайших деталях продуманное решение не
будет стоить бумаги, на которой оно изложено, если останется
ся в области благих намерений. Единственный, многократно
проверенный жизнью путь избежать этого — эффективный
основанный на глубоко осознанной творческой активности и
нелицеприятной требовательности **контроль за выполнение**
принятых решений.

Сухумские товарищи широко используют следующую
форму работы: после пленумов и собраний актива городско-
парторганизации формируются специальные группы. Их за-
дача — контролировать и, если потребуется, корректировать
ход работы по осуществлению коллективной воли коммуни-
стов, которая была выражена на соответствующих партийных
форумах.

Я лишен возможности хотя бы вкратце перечислить одни
только наименования обсужденных сухумцами вопросов, при-
нятые по ним решения и составы контрольных групп: если
взять такие данные лишь за последние два года, то подобный
перечень займет не одну и не пять печатных страниц. Но кое
о чем поведать необходимо. О людях.

Вот некоторые из членов групп контроля: секретарь парт-
кома Грузинского института субтропического хозяйства А. Бо-
керия, рабочая галантерейной фабрики А. Гадлия, зав. кафед-
рой истории КПСС Абхазского государственного университета
Х. Аргун, зам. председателя исполкома горсовета Н. Констан-
тинида, директор завода газовой аппаратуры Б. Сейсян, ра-
бочий Грузинского межколхозного судоремонтного предприя-
тия В. Айба, пенсионер И. Гребенчук, рабочая мясокомбината
О. Алексеева... Надеюсь, достаточно? В том смысле, что даже
столь скупое и сухое перечисление дает все основания для
уверенности: группы контроля формируются из числа людей
в равной степени компетентных и бескомпромиссных, уж они-
то не пройдут мимо безответственности, халатности или по-
зорного легкомыслия в отношении к порученному делу.

Еще один метод усиления партийного влияния на состоя-
ние дел в народнохозяйственном строительстве: горком пору-
чает ответственным работникам курировать наиболее важные
строительные объекты — прежде всего, понятно, те, где по-
ложение создалось далеко «не блестящее».

Прибегая к суровой терминологии медиков, придется вы-
разиться так: хронический характер приобрело невыполнение
плановых заданий на строительстве колхозного рынка и кон-
цертного зала. «Больные» эти объекты были поручены члену
бюро горкома, председателю исполкома горсовета В. Микан-
бе — и кривая графика реализации заданий резко метнулась
вверх.

В столице Советской Абхазии хорошо понимают возмож-
ности, которые несет с собой использование **неограниченного**
многообразия форм работы с активом.

Существует при горкоме партии так называемая лабора-
тория экономического анализа. Ею руководит заведующий ка-
федрой Института субтропического хозяйства Р. Гвелесиани.



В ее составе — главный бухгалтер межколхозного судоремонтного завода К. Тужба, инструктор промышленно-транспортного отдела горкома В. Плакун, заместитель начальника статистического управления Абхазии Л. Нармания — всего 9 человек; трое из них — кандидаты экономических наук.

Лаборатория (это лишь один пример) представила в городской комитет партии Записку — итог тщательного анализа работы промышленных предприятий Сухуми, анализа, осуществленного по отраслевому принципу и охватившего трехлетний (!) период. Материалы Записки сыграли ведущую роль в процессе подготовки одного из этапных по своему значению пленумов горкома.

Или — работа Штаба по благоустройству и архитектурно-художественному оформлению Сухуми. **Вещественные** ее результаты воплощаются в новые скверы, кафе, монументально-декоративные конструкции и во многое другое, что делает город-красавец еще краше. Или — заслушанный на бюро горкома отчет комиссии по координации работы транспорта; в итоге ее деятельности значительно улучшилась и продолжает улучшаться ситуация и в этой важной отрасли. Или... Но опять же: никому не дано объять необъятное. Будни любой парторганизации, любого партийного комитета до отказа насыщены заботами и событиями. Как и наши с вами житейские будни. С той лишь разницей, что нас тревожат дела сугубо личные, дела наших друзей, близких, товарищей по труду. А **сердце города**, повторяем, ответственно за бесперебойное функционирование громадного и беспредельно сложного организма.

Говоря о большой политической важности минувшей отчетно-выборной кампании в партийных организациях, Леонид Ильич Брежнев подчеркивал, что это отчеты не только перед коммунистами — перед всеми трудящимися, перед народом. Под таким девизом прошла и последняя Сухумская городская партконференция, а до нее — отчетно-выборные собрания в первичных организациях. Много было высказано критических замечаний, внесено дельных предложений. Все без исключения, они изучались тщательно, бережно, вдумчиво. Реакция на них со стороны соответствующих органов — вопрос времени, здесь делать выводы пока рано. Зато о судьбе предложений и замечаний, прозвучавших на XXVIII городской конференции и в ходе предшествовавших ей отчетно-выборных собраний, можно говорить с максимальной конкретностью.

Всесторонне продуманы и радикальны меры, принятые для наведения порядка на городском транспорте. Корректировка графиков движения автобусов и троллейбусов, особенно в часы «пик», во многом облегчила сухумцам преодоление каждодневных, некогда мучительных маршрутов «дом — работа — дом»... Хотя до «идеала» здесь, конечно, еще довольно далеко.

Министерство строительства республики позаботилось о реконструкции завода железобетонных изделий и деревообрабатывающего комбината: интересы города настоятельно требовали увеличения мощности названных предприятий.

Коммунисты 2-й горбольницы с принципиальностью, подбаивающей членам партии, заявили: пора наконец наладить бесперебойное снабжение нашего лечебного учреждения хотя бы необходимыми медикаментами! Абхазское аптечное управление ГАПУ Грузинской ССР отреагировало соответственно: поставщикам лекарств пришлось-таки расшевелиться — они сумели не только выплатить старые долги, но и обеспечить создание определенного резерва важнейших препаратов, без которых не обойтись, когда больному требуется срочная медицинская помощь.

Сухумский участок районного строительного треста (звоните, фанфары!) покрыл наконец линолеумом 140 квадратных метров полов в здании Абхазского филиала НИИ курортологии...

Как видите, масштабность и внешняя значимость требований и пожеланий, которые высказываются с высокой трибуны — на собраниях и конференциях, — различны. Однако все они **одинаково важны**, потому что нормальная жизнь города в равной мере зависит и от четкой работы транспорта, и от того, будут ученые мягко ступать по линолеуму или по скрипучим доскам, и от оснащенности школ учебным инвентарем, а профтехучилищ — инструментами.

До чего обидна необратимость (или, может, следует сказать — фатальность?) этого процесса: от долгого, слишком частого, порою неуместного, бездумного употребления высоких, содержательных слов последние блекнут, теряя свою первоначальную смысловую емкость и напряженность эмоционального звучания. «Связь с массами», «коллективный опыт», «могучая сила общественного мнения»... Сколько их, таких понятий, сущности которых мы практически уже подчас и не замечаем, не вдумываемся в нее. Одно, к счастью отнюдь не слабое, утешение: как бы ни «стирались» слова, суть остается — живет и действует. Хотя бывает иной раз и такое.

Однажды, когда социологические исследования только начинали получать у нас распространение в качестве эффективного метода изучения общественного мнения, мне попал в руки любопытный документик.

Надо полагать, организаторы опроса не были лишены своего образного юмора. Работникам различных рангов некоего крупного учреждения предлагалось высказать свое мнение по широкому кругу вопросов — от оценки осуществляемой в то время экономической политики в республике до «соответствует ли, по-вашему, директор нашего учреждения своей должности?». В заключение составители вопросника любезно приглашали «ответчика» указать свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность...

В Сухуми социологические исследования занимают почетное место в комплексе многообразных используемых в партийной работе форм и методов.

С помощью Дома политпросвещения обкома и горкома партийная организация и администрация плавстройотряда № 9 провели (разумеется, анонимное) анкетирование рабочих и служащих ряда подразделений предприятия. Вопрос, собст-

венно, был задан один: «Можно ли сказать, что ваш непосредственный руководитель делает все от него зависящее для выполнения плана?».

— Нет! — ответили 56,2 процента работников стройучастка «Санапиро», имея в виду начальника этого участка. «Нет!» — заявило в опросном листке большинство их о своем строительном мастере.

Аналогичное анкетирование было проведено в коллективе СПК (самоходного плавучего крана)-165. Тут вопрос ставился иначе: речь шла об этике руководителя, о характере его взаимоотношений с подчиненными. И большинство опрошенных обвинило своего начальника в бестактности, грубости, склонности к сквернословью.

Не стоит называть имен. Дело в том, что результаты социологических исследований обсуждались в коллективе, и злощастные руководящие товарищи при этом присутствовали. Они краснели, бледнели, калялись, обещали... Было это сравнительно недавно. Что ж, время скажет свое слово.

Не будет, думаю, ни грана преувеличения в тезисе: особенно значительна роль общественности в борьбе за укрепление правопорядка, социалистической законности. Алексей Тания, зав. отделом административных и торгово-финансовых органов горкома, твердо убежден:

— Конечно, в том, что за последнее время наши административные органы стали работать несколько лучше, главную роль сыграло совершенствование партийного руководства ими. Я имею в виду и комплексный план, который помогает сосредоточивать усилия на основных участках борьбы с преступностью, и деятельность Штаба профилактики правонарушений (он был создан при горкоме партии в позапрошлом году) — в частности его выездные заседания, которые мы проводим непосредственно в крупных трудовых коллективах, и самое пристальное внимание горкома к подбору, расстановке, воспитанию кадров работников милиции, прокуратуры... И все-таки со всей ответственностью скажу, что любые организационные мероприятия не приведут нас к желанной цели, если административные органы будут действовать в отрыве от общественности.

Он, безусловно, прав, двух мнений здесь быть не может. Сегодняшний Сухуми (говорю это положа руку на сердце) разительно отличается от Сухуми всего лишь двух-трех-летней давности. Я ходил по его улицам в разное время дня и ночи и не раз самолично убеждался в том, что парни с повязками дружинников — сила действующая, реальная. А уж массовые рейды, которые они регулярно проводят в парках, ресторанах, турбазах, окраинных жилых массивах, на железнодорожных станциях — это сущее бедствие не только для хулиганья, но и для граждан, мягко говоря, не умеющих совладать с коварным джином, ими же самими опрометчиво выпущенным из бутылки... Не следует к тому же забывать: Сухуми, как, впрочем, и другие крупные курортные города, в особенности пересекаемые железнодорожной магистралью, — объект, в смысле оперативной обстановки, особенно сложный.

тут ведь ряды правонарушителей-аборигенов постоянно поносятся за счет гастролирующих.. Еще в большей мере важна роль общественности в сложном деле борьбы за сохранность социалистической собственности.

Ну и, конечно же, пропаганда правовых знаний, в первую очередь среди молодежи, а также — забота об организации здорового, разумного досуга.

В конце прошлого года в «Зеленом театре» несколько сот жителей одного из микрорайонов города встретились с работниками административных органов. Цель встречи — повышение правовой культуры населения. Ничего, что во встрече участвовали только сотни: каждый потом поделился услышанным и понятным хотя бы с несколькими друзьями и знакомыми. Вот вам уже тысячи — тысячи людей, которым отныне известно, что можно и чего нельзя человеку, живущему в обществе.

А еще горком провел специальный пленум по вопросам организации досуга трудящихся. Не часто и далеко не повсюду проводятся подобного рода и масштаба партийные форумы. И зря. Не стоит жалеть для такого дела ни сил, ни времени.

Можно ли установить зримую, осязаемую связь между партийно-организационной работой и достижениями в народно-хозяйственном строительстве? Должно быть, нет. Я бы, во всяком случае, за такую задачу не взялся. Однако факты остаются фактами, и потому обратимся к ним.

Читатель уже знаком с цифрами основных экономических показателей, с которыми пришли сухумцы к финишу десятой пятилетки. Добавлю поэтому лишь кратко: прежде всего их успехи обусловлены большой работой по улучшению партийного руководства экономикой.

Решением горкома партии был создан координационный совет. Его цель — направлять работу по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР в области дальнейшего совершенствования хозяйственного механизма. Что уже сделано?

Налажена учеба кадров. Разработаны планы социально-экономического развития трудовых коллективов. Энергично осуществляются мероприятия по сокращению ручного труда.

Стремительно развивается творчество изобретателей и рационализаторов: многие сотни тысяч рублей экономического эффекта уже принесли промышленности города их предложения.

Признаюсь, я впал в известную крайность, искусственно разграничив Сухуми-курорт и Сухуми-город, который трудится. Щедрое солнце, синее Черное море и вечнозеленая флора субтропиков привлекают сюда, как было сказано, тысячи тысяч отдыхающих. Среди них немало людей, умеющих не только брать, но и отдавать. Многие деловые — обоюдозаполненные связи сложились в этой атмосфере, среднегодовая температура нижних слоев которой достигает без малого +15°.

Прошло больше десяти лет с того дня, как «Сухумприбор» заключил договор с Рижским центральным проектно-конструкторским бюро механизации и автоматизации; латышские кон-

структоры помогают абхазским приборостроителям совершенствовать производство, улучшать управление качеством продукции. Около двух миллионов рублей в год позволит сэкономить Абхазвинкомбинату внедрение в производство нового сорта вина «Ачандара». А произойдет это благодаря сотрудничеству сухумцев с коллективом Московской отраслевой лаборатории технологий игристых вин.

Творческие контакты предприятий пищевой промышленности с Институтом технической теплофизики АН Украины были установлены по инициативе Сухумского горкома партии. Вот лишь один из результатов их дружеских связей: на мясокомбинате начала действовать сушильная камера, в два с половиной раза ускорившая ход технологического процесса.

Сердце столицы Абхазии бьется сегодня в унисон с пульсом времени. Сухумский горком стремится достойно ответить на выдвинутое партией требование резко увеличить производство продуктов питания для советских людей. Горожане оказывают ощутимую помощь труженикам села.

Приборостроители подарили колхозу имени Руставели Сухумского района несколько видов станочного оборудования, осуществили в хозяйстве ряд слесарных и сварочных работ, помогли колхозникам собрать урожай. Газовщики передали тем же руставелевцам солидное количество лесоматериалов, цемента, труб, листовой стали, электродов. Мясокомбинат отправил на Сухумскую межколхозную птицефабрику мясокостную муку — отличное, калорийное куриное лакомство, а работники швейной фабрики приняли долевое участие в ремонте проселочных дорог, ведущих к колхозу имени Лакоба... Дело, как говорится, общее: в городе ли, в селе, а работаем мы на одну большую цель — на благо народа.

Мы живем в дни, когда сакраментальное «не хлебом единым...» обретает все большую властность звучания. Сухуми не составлял бы сегодня предмет нашей общей гордости, не вызывал бы столь ярких эмоций, неподдельного восхищения у своих бесчисленных гостей, если б, город-курорт и город-труженик, он не был вместе с тем **центром культуры** в самом широком смысле слова.

Нет нужды перечислять имена писателей и ученых, поэтов и деятелей искусства, чей талант расцвел под благодатным солнцем абхазской столицы, — они хорошо известны читателю. Я только хочу коротко рассказать о той крайне важной стороне деятельности городской партийной организации, которая непосредственно связана с этическим и эстетическим воспитанием сухумцев, нравственным становлением молодежи, формированием гражданского самосознания, советского патриотизма и интернационализма.

В этом плане работа горкома в завершающем году десятилетней пятилетки определялась следующими двумя моментами — вместе со всей республикой, страной, всем прогрессивным человечеством сухумцы торжественно отмечали 110-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина и тридцать пятую годовщину Победы над титлеровской Германией. Были, ясно, и встречи с ветеранами партии и участниками Великой Отече-

ственной войны; были торжественные собрания, митинги, многочисленные лекции — только перечень их тематики занял бы, наверно, не одну страницу; были выездные научно-теоретические конференции и веселые, праздничные гулянья в парках, скверах, новых жилых массивах. Неоценимый вклад в трудовое, интернациональное, военно-патриотическое воспитание юных граждан Сухуми внесли и вносят старые большевики, испытанные политические бойцы партии, совет которых возглавляет Мустарбей Хигович Миканба, член КПСС с 1918 года. Им молодежь верит, за ними она готова пойти на любой подвиг, взяться за самое трудное дело, потому что эти люди сражались за Родину в битвах гражданской и Отечественной войн, самоотверженно и беззаветно (вот еще два слова, которые мы употребляем часто и нередко без особых эмоций, а сколько в них между тем заключено яркой, суровой мудрости и волнующей строгости!) — да, самоотверженно и беззаветно, не помышляя о собственном подвижничестве, строили тот большой и светлый дом, в котором мы живем, — наше **сегодня**. Среди них генерал-майор и полковник в отставке В. Дзамбахидзе и И. Шукин, первая летчица-абхазка М. Авидзба и многие другие... Пусть простят автора те из знатных сухумских граждан, кто здесь не упомянут; ведь имя им — легион.

Последний период был особенно богат запоминающимися событиями в культурной жизни абхазской столицы. Каждое из них стало полнокровным отображением торжества ленинских идей дружбы народов, единства жизненных устремлений людей, которое свободно от возрастных различий, национальной принадлежности и того, что мы до сих пор по безнадёжно одряхлевшей традиции называем «общественным положением».

Сердечно и просто — на равных — беседовали о всякой всячине Белла Ахмадулина, Нодар Думбадзе, Евгений Евтушенко с рыбаками и обувщиками, приборостроителями и швеями, студентами, газовщиками, школьниками. По-семейному теплой была встреча сухумцев с Ираклием Абашидзе. Не берусь судить, что именно прошло с большим или меньшим триумфом: гастроль в Сухуми Тбилисского театра оперы и балета или Дни абхазской музыки в Тбилиси, Рустави, Телави.

Крепкие и естественные товарищеские отношения утвердились между сухумскими писателями, деятелями искусства и производственниками города. Журнал «Алашара» шефствует над коллективом домостроительного комбината, поэты и прозаики дружат с рыбаками, актеры драматического театра имени С. Чанба — с рабочими завода «Сухумприбор». Что же касается создания Абхазского государственного университета, то об этом знаменательнейшем событии в жизни города и всей автономной республики читатель осведомлен давно и достаточно хорошо. Напомню только, что в декабре прошлого года в Сухуми был заключен договор между АГУ и Тбилисским государственным университетом. В принципе, он просто закрепил и оформил, что ли, и без того уже существовавшее творческое сотрудничество между двумя вузами республики; вместе с тем договор предусматривает дальнейшее всестороннее раз-

витие этого сотрудничества, совместные исследования в различных областях науки, взаимную помощь в организации учебно-воспитательного процесса и многое еще другое, что принесет пользу обеим сторонам.

Однако — «Стоп! — говорит себе автор. — Уж не собираешься ли ты утверждать, будто так уж безоблачно и гладко протекает жизнь в солнечном городе Сухуми? Хотя его и называют жемчужиной Черноморского побережья, хотя гражданам этого города-труженика действительно умеют и работать, и отдыхать, и принимать гостей с подлинно абхазским радушием?..»

Нет, я далек от такого намерения. В то же время дотошное копание во «все еще имеющих место недостатки и упущениях» в деятельности Сухумской городской парторганизации попросту не входило в мою задачу. Лучше — вернее и лаконичнее — скажет об упомянутых недостатках и упущениях (точнее — о порождающих их причинах) первый секретарь горкома партии.

— Видишь ли... — неторопливо, взвешивая каждое слово (при всей своей темпераментности он всегда думает, прежде чем заговорить), сказал Рамин Кецбая. — Понимаешь, я, конечно, не открою Америки и не изобрету велосипеда, в тысячный раз повторив, что все решают люди. Жаль вот, не успел познакомить тебя с Петром Варламовичем Челидзе. Он — зам. директора физико-технического института, член горкома, депутат горсовета. Скажу честно: эксплуатируем его — всюю. У нас ведь везде так. Чем безотказнее и добросовестнее человек, тем больше взваливают ему на плечи... — Ах, — мечтательно произнес Рамин Григорьевич, — побольше бы нам таких людей! — и вновь перешел на деловой тон: — Основное, что мешает в работе, — несовершенство исполнительской дисциплины. В различных звеньях, в том числе и у нас в горкоме. Мы вот часто и красиво говорим о чувстве долга, ответственности, сознательности... Говорить об этом, конечно, надо. Но главное, в сущности, — очень несложно. Просто каждый должен честно и грамотно делать свое дело. Именно свое. Представь себе водителя троллейбуса, который, сидя за рулем, вздумал вдруг немедленно разобраться в вопросе: а есть ли все-таки жизнь на Марсе? Ясно: увлеченный проблемой космического масштаба, он обязательно проскочит на красный свет и — черт знает, что из этого получится! А вот когда о своих прямых обязанностях забывает ответственный работник, это не только зачастую сходит ему с рук — порою вообще остается как бы незамеченным... Ты только не думай, что я жалуясь. Ребята у нас в общем хорошие. Много молодых, «необстрелянных» еще. Но это ничего! Как пишут в газетных передовицах, время работает на нас. Согласен?

Я не мог не согласиться с тем, что время работает на нас, однако задумался и о некоторых других вещах.

Почему, к примеру, первый секретарь горкома должен разбираться в проблемах пользования общей кухней или в течение часа выслушивать лживую болтовню женщины, которой мало одной комнаты в городе, мало собственного дома в де-

ревне и хочется урвать как можно больше? Вот она и ходит по инстанциям: а вдруг все-таки выгорит дело?!.. Да и вообще, строго говоря, секретарь горкома, райкома партии обязан непосредственно заниматься не только подобными, но и «чисто» хозяйственными вопросами. На то есть соответствующие организации и учреждения. Мне, в частности, известно, что Рамину Григорьевичу пришлось трижды ездить в Тбилиси, чтобы «выбить» несколько тонн битума.. Неправда ли, сам этот факт в достаточной степени печально-красноречив? Ведь совершенно же ясно: главное заключается в том, чтобы каждый руководитель, независимо от ранга, самостоятельно решал вопросы, входящие в его должностную компетенцию, был по-настоящему смел и инициативен, не обращался «наверх» по мелочам, страхуя себя от возможных неприятностей. Иными словами, со всей ответственностью относился бы к порученному участку работы и искренне любил свое дело.. Или — выбирал себе другое занятие.

* * *

На одном из сухумских пляжей я познакомился с очень любопытным человеком. Он был одновременно электриком, спасателем, воспитывал неаккуратных курортников, ленившихся донести окурок до урны или оставлявших лежачки у самой кромки берега — того и гляди слизнет набежавшая волна. И он был писателем. Настоящим писателем, который уже печатался в сборниках, а сейчас готовит к изданию свою — отдельную книгу стихов.

Мы сидели на волнорезе, касаясь босыми ногами уже довольно свежей, но еще не холодной воды, и говорили о разном.

О том, что если море будет все так же интенсивно размывать берега, то лет через двадцать вместо ласкового песка и гальки естественных пляжей останутся одни железобетонные площадки; что чуть ли не в трех—четырекилометровой прибрежной полосе почти не осталось стоящей рыбы — одна мелочь; что осень в этом году на редкость мягкая, а в знаменитый Сухумский дендропарк лучше не пускать туристов — среди них находятся идиоты, которые увековечивают свои имена на на коре и листьях экзотических деревьев и пальм.. Короче говоря, мой случайный знакомый, человек уже не первой молодости, юношески-самозабвенно был привязан к первозданной красоте Земли и ко всему, как он выразился, «естественному». Этот спасатель-электрик-писатель сказал, что собирается в горы, чтобы уточнить детали ландшафта, на фоне которого будет разворачиваться действие задуманного им романа, и в довольно туманных выражениях изложил мне примерное содержание будущего произведения.

Этот человек мне понравился — непоколебимостью жизненного кредо и поистине фанатической влюбленностью в жизнь и ее творческие начала, в каких бы формах они ни проявлялись.

Он сказал, что не любит Рэя Брэдбери, так как этот великий фантаст, хотя и отстаивает, несомненно, принципы вы-

сокие и гуманные, но делает это «через описание всяких жестокостей».

Я не согласился, ибо сам Брэдбери люблю. Тогда он возразил в том смысле, что если человеку постоянно твердить, что тот — зверь, то он-таки и сделается зверем... Потом мой собеседник ушел к небольшому причалу — спустить на умиротворенную вечернюю воду шлюпку и покатать своего восьмилетнего сынишку.

А в моей памяти всплыли строки прекрасного писателя Грэма Грина: «Статистики могут печатать свои отчеты, исчисляя население сотнями тысяч, но для каждого человека город состоит всего из нескольких улиц, нескольких домов, нескольких людей. Уберите этих людей — и города как не бывало...»

И я вспомнил Джемала Антия, вожака сухумских комсомольцев, трагически погибшего десять лет назад. Он был настоящим человеком и отличным организатором. Так, например, в годы, когда институт добровольных народных дружин находился в стадии становления, а проводимые дружинниками рейды часто были сплошной показухой, Джемал не только самолично приволакивал в милицию заурядных хулиганов, но беседовал наедине с ворами «в законе» и находил с ними общий язык. Он вообще принадлежал к категории людей, о которых в свое время сказали бы: был горд, беседуя с царями, был прост, беседуя с толпой.

И я вспомнил Сашу (виноват — Александра Григорьевича!) Твалтвадзе, тоже бывшего секретаря Сухумского горкома комсомола — некогда слегка, по-хорошему наивного парня, так же, как и Джемал Антия, искренне увлеченного трудной, нередко неблагодарной своей работой; я подумал: как-то он сейчас живет в далекой Москве, как чувствует себя на ответственном посту советника МИД?

И я вспомнил других сухумских друзей, которые давно покинули этот навсегда полюбившийся мне город, и решил, что Грэм Грин неправ.

Люди приходят и уходят, а города остаются. Остаются их неустанно работающие сердца, которые безостановочно гонят свежую кровь по артериям сложнейшего живого организма, придавая мудрую целеустремленность человеческому бытию.

Конечно, говоря об обольстительных сказках, сюжеты которых выглядывают из кустов, теней и полутеней, смотрят с неба и с гор, Антон Павлович Чехов не мог даже в самых смелых своих мечтах предвосхитить чудесную и строгую явь нынешнего Сухума. Но и сегодня он написал бы, думаю, одну такую сказку.

О лодке, которая медленно уходила в море по золотистой дорожке навстречу огромному, повисшему над самой водой солнцу, и о мальчике, который сидел на носу лодки, с лицом, обращенным к закату. Он смотрел прямо на величественный багровый диск, и глаза его были широко раскрыты.

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ

ВСКРЫВАЯ КОРНИ ЗЛА, ИМЕНУЕМОГО АЛЧНОСТЬЮ

«Одолей алчность свою...» — полотно, построенное на принципах классического реализма, и атрибуты так называемого «нового романа», такие, как, например, усложненные сюжетные ходы, частые ретроспекции, неожиданные ассоциативные скачки, аллегоричность и символика, жесткость и лаконичность повествования и многие другие, характерны для него в самой незначительной степени. Писатель, как видно, сознательно избегает этих эффектных и благодаря некоторым (если не сказать, многим) подражателям уже ставших модой художественных приемов и обращается к традициям классического реализма, которым следует на протяжении всего произведения.

Несколько лет назад грузинский читатель впервые познакомился с прозой известного критика и литературоведа Георгия Цицишвили. Автор многих трудов монографического и литературоведческого характера, он предстал перед нашей общественностью с книгой повестей и рассказов «Любовь поры кровавых дождей», где в художественной форме вылились его впечатления военных лет. Уже тогда обратила на себя внимание неторопливая, вдумчивая, естественная манера повествования, большая искренность, умение как-то исподволь, ненавязчиво вскрывать внутреннюю сущность своих героев, искать истоки их чувств и поступков.

И вот теперь перед нами его большое художественное полотно — роман «Одолей алчность свою...» В нем писатель идет путем глубокого исследования социальных, общественных, психологических причин тех страшных деяний, жертвы которых густо населяют это насыщенное событиями и людьми произведение. В нем Г. Цицишвили проявил себя не только зорким художником, но и партий-

Следует отметить спокойную, неторопливую, степенную манеру повествования, богатство и колоритность авторской лексики. Георгий Цицишвили рассказывает о событиях и людях не спеша, чтобы показать их отчетливо и всесторонне, чтобы заставить нас прочувствовать описанное, сопережить ему, представляя таким образом возможность глубже проникнуть в причины и следствия тех значительных явлений, с которыми мы непосредственно сталкиваемся в романе.

Благодаря этому повествование обретает объемность, обстоятельность, и, возможно, поклонникам так называемой ритмической, сжатой или экспрессивной прозы оно может показаться растянутым. Кроме того, автор не раз возвращается к одному и тому же жизненному эпизоду, что порою создает впечатление повторений и излишеств стиля, однако делает это, видимо, с умыслом, дабы более основательно изложить и пояснить авторский замысел, который со всей прямотой заявлен им уже в названии романа. А ведь это, как и вообще эпическая неторопливость повествования, как раз и представляет собой характерную черту классической реалистической прозы.

Георгий Цицишвили так живо изобразил прекрасное среднекартальское село Самеба, так взволнованно рассказал об исторических судьбах его жителей, начиная с 20-х годов XX столетия до наших дней, так скрупулезно проследил путь, исполненный труда, радостей и горестей, который прошла грузинская деревня за описываемый период, что у нас есть все основания придать этим, казалось бы, частным событиям общественное звучание.

Село Самеба, как мы узнаем из романа, в прежние времена славилось своим благосостоянием и изобилием, а его население отличалось степенностью и щедростью, трудолюбием и прилежанием, честностью и порядочностью. Однако уже в самом начале мы видим, что те, кто призван хранить эти святые традиции, охвачены лихорадкой наживы. Крестьяне состреаются в возведении больших и богатых домов из мате-

рым литератором, гражданином. Такой синтез дал прекрасный художественный и общественный эффект. Наша критика откликнулась на эту новую работу писателя, в которой с большим знанием исследуемого материала оружием художественного слова он борется с пороками и негативными явлениями нашей жизни.

В преддверии очередного съезда Компартии Грузии и XXVI съезда КПСС такое активное, критическое осмысление нашей действительности, способствующее утверждению в ней норм коммунистической морали, приобретает особую остроту и значимость.

Чтобы полнее и всестороннее ознакомить нашего читателя с этим произведением, опубликованным на грузинском языке, мы предлагаем его вниманию статьи двух литературных критиков, дополняющие друг друга, в чем-то совпадающие, а в чем-то и расходящиеся, что, надеемся, даст пищу для плодотворных раздумий на этот счет.

риалов, добытых потом и кровью отцов. Иные интересы волнуют теперь село. Оно утрачивает свой прежний облик и достоинство. Рослые, сильные, степенные крестьяне сейчас выглядят раздобревшими, неповоротливыми, суетливыми. Раньше они жили тем, что давала земля, возделываемая их руками, то теперь все помыслы устремлены к легкой наживе. Таков, на первый взгляд, контраст между старым и новым. Писатель сосредоточивает на этом наше внимание, чтобы затем приступить к исследованию причин, приведших село к подобному положению.

Противопоставление старого и нового своей контрастностью сделало еще нагляднее картину падения сельских нравов, которая, бесспорно, создала художественный эффект, заставивший более остро почувствовать всю опасность того общественного недуга, имя которому стяжательство и алчность. Подобное художественное преувеличение в реализации замысла или постановки проблемы характерно для реалистической литературы, хотя ему порою и сопутствует опасность принесения в жертву в аналогичных случаях в угоду правде времени правды исторической.

В данном конкретном случае в ходе чтения романа Георгия Цицишвили может создаться впечатление, будто преодоление алчности — главная забота определенного времени, в частности современности, и будто именно этот недуг лег в основу перерождения некогда трудолюбивых и честных жителей села Самеба. Но, как известно, сия неизлечимая болезнь испокон веков сопутствовала развитию человечества, и в этом процессе человек и общество в целом все более и более отдавались во власть названному пороку. И только новое, социалистическое общество отвергло его, как чуждое и несовместимое с гуманными принципами новой формации. Но то, что на протяжении тысячелетий оседало в психике человека, нельзя полностью искоренить всего за несколько десятков лет. В шестидесятые годы мы пережили новое торжество этого старого порока в нашей жизни, и именно об этой беде, об этой головоломной проблеме и написан новый роман Георгия Цицишвили. Такое контрастное противопоставление прошлого и настоящего села Самеба понадобилось для того, чтобы дать лучше почувствовать границу между светом и тенью, между прекрасным и уродливым. Мы видим, что взошедшее в герое романа — Годердзи семя зла посеяно в нем его предшественником Каколой, который, в свою очередь, также получил его в наследство. Так перед нами предстает цепь, протянувшаяся между настоящим и прошлым.

Георгий Цицишвили пользуется художественным арсеналом классического реализма и с другой точки зрения. Так, например, база «Лесстройторга», которая должна стать гнездом стяжателей, строится на участке, именуемом «полем грешников». Самебцы называют этот участок еще и «проклятой долиной» или «долиной персов». Даже «самой ранней весной, когда все зеленеет изумрудом... (оно) выглядело таким тощим

и ржавым, как вход в преисподнюю». Или еще — один из героев романа, от которого и исходит все зло и который сам является олицетворением жадности и сеет вокруг его семена, носит фамилию Шавдатуашвили, то есть Черномедведев, что подчеркивает характер и функцию этого персонажа.

Думается, не всегда стоит прибегать к подобным художественным приемам, поскольку, на наш взгляд, в современной прозе они выглядят бесполезным рудиментом. Что же касается больших традиций классического реализма, то верность им принесла успех не одному новому художественному произведению, и роман Георгия Цицишвили — наглядный тому пример.

Проявление верности этим традициям и в том, что здесь прослеживается история одной семьи. В грузинской, русской, да и вообще в мировой литературе есть много классических и хорошо известных романов, посвященных анатомии одной семьи. Именно таким путем в них раскрывается общественное бытие и дух той или иной эпохи. И это произведение Георгия Цицишвили написано о семье Годердзи Зенклишвили, история которой основательно исследуется на протяжении всей ее родословной. Причем быт и судьбы села в период значительных, эпохальных сдвигов настолько органично и глубоко связаны с ней, а характеры его жителей раскрыты так многосторонне и с такой полнотой, что перед нами разворачивается широкая художественная панорама современности.

Это поучительная история духовного падения под влиянием обстоятельства, а впоследствии возрождения крестьянина-труженика. В биографии и судьбе Годердзи как в фокусе преломилось и отразилось бытие нашего общества. Его горький опыт должен стать поучительным примером и поводом для глубоких раздумий.

«— Если будет здоровье и лад, человек везде выдержит.. Именно это возвышает его над всем одушевленным миром. Как бы трудно ни было, если душа его пребывает в радости, он все вынесет. Но если на душе тревожно, если его одолевает алчность, искушают желания, он нигде не найдет покоя. Все это я испытал на себе...» — к такому выводу в итоге приходит Годердзи. В этих простых и ясных словах крестьянина заключена большая философия жизни. И как в сказке о рыбаке и рыбке, Годердзи оказывается у разбитого корыта (в данном случае в своей старой лачуге), и перед ним, как видение, промелькнет полный богатств дворец. Но слова эти сказаны не для самообмана и утешения обнищавшего человека. Этот вывод проистекает из горького опыта, и потому в нем истинная мудрость.

В том, что для сохранения достоинства человек должен преодолеть свою алчность, убеждает не только участь одного старика, но и пафос всего романа, избилующего реалистически вылепленными живыми художественными образами, правдивыми картинами жизни современного села. И все же стержень его — драматическая история семьи Зенклишвили.

Читатель впервые встречается с Годердзи в бытность его управляющим созданной в Самеба базы «Лесстройторга». Рас-

полневший и важный, окруженный богатством и почетом, он свысока взирает на село и на собственную, да, именно собственную базу, на которую, как пчелы на мед, налетели, налетели соседних районов. Только после этого автор рассказывает нам, как честный самобытный крестьянин-труженик превратился в тунеядца, утопающего в незаслуженной роскоши.

С болью в сердце следим мы за процессом его духовного падения. В молодости он был гордостью села — мужественная внешность и душевная красота выделяли его среди сверстников. Потом ему в сердце запала дочь кулака Каколы Шавдатуашвили — Малало. Но пленила она его не богатством отца, а своей изумительной красотой. Обстановка, в которую попал Годердзи, во многом решила обратный ход его судьбы. Вначале он упорно сопротивлялся, не желая менять трудовой образ жизни, взялся за полное опасностью и испытаний ремесло плотовщика, чтобы собственным трудом прокормить семью. Потом постепенно, исподволь, незаметно, а в дальнейшем все более сознательно начинает следовать за Каколой, этим трудолюбивым, но злым человеком, богачем из богачеев с кулацким нутром. Так Годердзи стал рабом стяжательства, но единственным, хотя и приглушенным светом его души оставалась Кура и проведенная на реке честная молодость.

Потом, когда Каколы уже не было рядом, на какое-то время в нем вновь проснулись его здоровые задатки, вновь он стал усердно трудиться, сам себе удивляясь, — ведь никакой личной выгоды не имею, а ради общего дела так хлопочу, буд-то оно мое, кровное.

Он мужественно прошел по дорогам Великой Отечественной войны с первого до последнего ее дня. А возвратившись домой с победой, начал азартно трудиться. Но случилось так, что ему было предоставлено поприще, на котором густо взойшли семена стяжательства и алчности, посейные Каколой. Этому способствовали профессиональные дельцы в лице Исака Дандлишвили и его приспешников, среди которых были и достаточно крупные руководящие работники, и даже секретарь райкома Вахтанг Петрович. Так и превратился Годердзи Зенклишвили из трудового человека в дельца.

Забыта старая песня плотовщика, которую в молодости Годердзи распевал прочувствованно и воодушевленно. Теперь из окна его кабинета раздавались окрики, выведенные из горла осипшим после попойки голосом:

«— Эй, дармоеды, открывайте ворота!

...И действительно, огромные ворота, окрашенные в зеленый цвет, с длинной вывеской, на которой черными буквами было выведено «Самебская база Лесстройторга», со скрежетом отворялись, и клиенты, прибывшие купить материал, окружали стоявшего в середине двора улыбавшегося Серго Мамаджанова, которого слева и справа, будто старые стражники, охраняли хромой Миша и подвыпивший Баграт.

И начинался содом и гоморра — оглушающий галдеж, сопровождавший куплю-продажу лесоматериала...»

Колоритностью и образностью, рельефной обрисовкой персонажей, художественным мастерством этот эпизод невольно обращает нас к событиям и героям романа Михаила Джавахишвили «Хизаны Джако». Подобных эпизодов, живых, написанных сочными красками, мастерски выполненных, в этом романе немало, но главное его достоинство все же в глубоком реалистическом проникновении в характеры героев.

Как бы исследуя ту обстановку, которая повернула вспять судьбу Годердзи, автор вдумчиво следит за героями с различными характерами и психикой, которых свело воедино общее преступление. Но основное его внимание сосредоточено на тревожных раздумьях и тяжелых переживаниях Годердзи.

Попав в этот мутный поток жизни, он продолжает слышать голос погрзанной совести, и это не дает ему покоя. Преодолей алчность свою, — диктует этот голос, но собственных сил для этого у Годердзи не хватает.

Как снежный ком катится Годердзи, быстро обрастая имуществом, но сердцем чувствует, что эта лавина в конце концов обрушится, рассыпавшись сама и погребая других. По ночам он испытывает приступы страха, а днем снова несется по скользкому пути.

Первые сказанные во весь голос правдивые слова в свой адрес Годердзи услышал в собственном доме. Приехавший из соседнего района народный учитель Кита Ларадзе, случайно оказавшийся в его семье, не посчитавшись ни с правилами гостеприимства, ни с сидящими вокруг стола людьми, крикнул ему:

«— Послушай... Откуда у тебя такое богатство? Где ты его награл? И что украл, чтобы столько добра нажить?!»

Не из одного только страха, а в силу здоровой своей натуры борется Годердзи с растущей жадностью. Когда-то он упорно противостоял искушению: «Нет, Исак, на это я не пойду, никогда еще не ел я неправедный хлеб». Но в конце концов все-таки уступил. Его вовлекли в темные дела, и некогда честный человек покатился по наклонной плоскости. Не раз вспоминал он поучения своего недоброй памяти тестя: «Легко схватиться с драконом, но вырваться, ох, как трудно. Деньги... такое чудовище, с которым ты легко вступишь в борьбу, но из нее уже не выберешься». Как прав был покойный, — думал Годердзи. И все же пытался бороться с собой, но сил не хватало.

Твердой опорой для него явится новая общественная атмосфера, которая лишила дельцов жизненной среды, словно рыбу, выброшенную на берег. Во главе Самеба становится новый руководитель, и типы, подобные Дандлишвили, как крысы, в панике покинут насиженные места. Годердзи же никуда не уйдет. Ведь он не из тех, кто приехал в Самеба на заработки. С этими местами он кровно связан, и могила его должна быть здесь, в этой земле. А сейчас, когда очистилась атмосфера, вновь победит его здоровая натура, и он преодолеет алчность. Годердзи сам, по доброй воле передает государству все нечестно нажитое богатство, свой дом и двор и вместе с пре-

данной Малало возвратится в тот маленький дом, который забросил много лет назад.

Есть нечто символическое в том, что Годердзи все время, преисполненным любви, сохранившейся с благоловенных времен, когда он был плотовщиком, устремляется к реке, будто ему необходимо омыться в этой святой для него воде. Старый, но еще бодрый Годердзи в третий раз бросается в водоворот. Но на этот раз силы изменяют ему. Очень трудно было бы смыть грехи, в течение десятилетий осевшие на нем. А может быть, он слишком поздно попытался сделать это? Так или иначе, именно в своей любимой реке он расстается с жизнью.


Годердзи Зенклишвили — рельефный, интересный образ, в связи с которым писатель делится своими раздумьями и встает против зла и пороков, столь характерных для нашей общественной жизни в 50—60-е годы.

Так же значителен и живо написан автором образ супруги Годердзи Малало. С присущей грузинской женщине верностью она разделяет и истинную радость мужа, и его беду, и тяжесть тех грехов, от которых не уберегла его судьба. Жизнь Годердзи и Малало, хотя и весьма примечательный пример, но уже перевернутая страница, образец преодоленного зла. Однако это вовсе не означает, что уже ушли в небытие плеве-лы алчности и зло вообще. Потому еще большее значение приобретает и становится еще более необходимым разоблачение живущих и сегодня опасных тенденций и сил.

В романе Георгия Цицишвили «Одолей алчность свою...» есть чрезвычайно интересный персонаж. Это — еще один член семьи Зенклишвили, сын Годердзи и Малало — Малхаз. Он — порождение крайне опасной сегодня тенденции, и именно ее обличение придает произведению большую гражданскую и публицистическую силу. Малхаз принадлежит к той категории людей, которые могут в наши дни принести больший вред, чем Годердзи — вчера.

Годердзи ввели в заблуждение, он творил зло вопреки своей сущности. Малхаз же формировался в загрязненной атмосфере, и душа его нечиста. Без всяких угрызений совести становится он на путь зла. В отличие от отца сын дальновиден, замаскирован, коварен, играет роль порядочного человека, и алчность для него — органичная черта. Наживаться он хочет чужими руками. У его отца была чистая душа и грязные руки. У Малхаза же наоборот — руки чистые, а душа — мусорная яма.

Писатель сначала будто исподволь, а потом все более настойчиво нацеливает внимание читателя на порочность природы Малхаза, на уродливые свойства его характера. И за прекрасной маской порядочности и Годердзи, и мы, читатели, угадываем в его молодой настойчивости и упорстве недобрые намерения и замыслы. И хотя автор как будто подготавливает нас к его разоблачению, но та грубая, пусть и справедливая жестокость, с которой Кита Ларадзе срывает с Малхаза маску, нам все же кажется неожиданной. Когда он услышит за столом в семье Зенклишвили долгую и патетическую речь Малхаза о широком размахе деятельности человека, инициативе и



активности, излишне сдобренной рублем и полтинником, затрачиваемыми на общее дело, о совестливости подобных людей. Кита приблизится к Годердзи и скажет: «Выходит, что твоя деятельность практична, он помогает тебе теоретически, а оба вы развращаете народ». А Малхаза назовет «цветком, взошедшим на навозе».

Услышав эти слова Кита, побледневший Годердзи растерянно озирается, будто ища поддержки, но вскоре сам в этом убеждается и выносит собственному сыну еще более суровый приговор.

Именно Малхаз толкает отца на стяжательство. И дворец свой он выстроил по его плану. По его вкусу собирает ценности. Малхаз обманывает не только отца, но и всех вокруг и с грязной душонкой, но «чистыми руками» (с помощью денег, добытых Годердзи) быстро прокладывает себе путь вверх по иерархической лестнице. В конце концов сам Годердзи убеждается — его сын так «устроен», что «без выгоды и шага не сделает». И когда для спасения собственной шкуры тот полностью раскроется перед родителями и предстанет перед ними во всей своей неприглядности, Годердзи вынесет окончательный приговор родному сыну, ставшему чужим: «Корысть — это не только денежная прибыль. Когда ты хочешь всего — продвижения, почета, когда стараешься сесть всем на шею и быть первым повсюду, когда на первый план выдвигаешь только себя и перешагиваешь через тела других для достижения своей цели, — это худшая корысть!.. Такой человек, как ты, никогда не насытится, никогда не уймется!..»

И страшнее всего то, что Малхаз пока еще на пути к дальнейшему повышению по службе. Ему вновь удастся хорошо подобранной маской ввести в заблуждение окружающих, он, как хамелеон, приспосабливается к новой обстановке. Это замаскированное «отшлифованное» зло трудно обнаружить. Малхаз способен продать все и вся из-за неуемной своей алчности — отца и мать, жену и друга, покровителя и единомышленника, соседа и народ, лишь бы осуществить свои желания.

В конце романа мы расстаемся с ним, когда он возносится еще на одну ступень и предстает перед нами в роли председателя райисполкома.

Да, у алчности тысяча разновидностей. И хотя в атмосфере нашего общества она нежизнеспособна, но в душах отдельных людей еще находит себе пристанище. К ним принадлежит и Малхаз. Его художественный образ заостряет наше внимание на типичном сегодня явлении, которое следует жестоко осуждать и разоблачать. И силой художественного слова Георгий Цицишвили бичует этот порок, тем самым придавая большую остроту и гражданское звучание своему по-настоящему актуальному роману «Одолей алчность свою...»

ПО ПУТИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

В НОВОМ романе Георгия Цицишвили «Одолой алчность свою...» перед читателем проходит целая человеческая жизнь — долгая, сложная, полная горестных и счастливых событий. Но подлинно ли то счастье, которое сопутствует персонажам этого произведения, всегда ли оно наполняет их истинной радостью? Поддавшись сиюминутным устремлениям, можно увидеть счастье и в благоустройстве квартиры, в создании материального благополучия. Но как духовно обеднен человек, когда главной заботой его жизни становится достижение этого материального благополучия, к которому он стремится так целенаправленно и энергично, будто это и есть настоящее счастье... И тут мы вправе сделать два вывода — или такой человек не знает о существовании подлинного счастья, или он оказывается в той жизненной ситуации, когда окружающий мир вынуждает его поступать именно таким образом. В обоих случаях подобный человек достоин сожаления. И прочитав книгу о судьбе Годердзи Зенклишвили, мы не можем не задуматься над всеми сложностями и перипетиями жизни.

Автор познакомил нас со своим героем в пору ранней юности, а затем сделал свидетелями его последнего вздоха. На протяжении своей долгой жизни, а он уходит из нее, как принято говорить, разменяв восьмой десяток, Годердзи встречался с людьми самых разных судеб. И наряду с обрисованными в романе образами и характерами целой вереницы людей, в нем воссоздана картина совсем недавнего прошлого Грузии, того сложного и противоречивого периода одновременного крушения и восстановления моральных и реальных ценностей, каким и было время Годердзи Зенклишвили (Октябрьская революция, меньшевики в Грузии, утверждение Советской власти на селе, борьба за то, чтобы выпрямиться, встать на ноги, дороги войны, быт победившего народа, активизация частнособственнических и стяжательских тенденций, потом — нелегкий процесс их ломки). Но поскольку имя тебе — человек, ты должен суметь перешагнуть через любые соблазны, заглу-

шающие в тебе голос добра и честности, и завершить свой жизненный путь духовно чистым и возвысившимся.

Эта теза автора достаточно четко определена в романе, который по праву можно назвать книгой жизни Годердзи Зенклишвили. Именно на нее работает и его биография и характер. Он оказывается в гуще каждого значительного социального явления и события, все пропуская через себя, поскольку является плотью от плоти этой жизни — ее рядовым, не избранным, и все отзывается в его душе, сказывается на его бытии. Вот почему жизненный путь Годердзи — это путь человека, смотревшего жизни в глаза в первом десятилетии века, никогда не стоявшего в стороне от нее. Потому-то на его долю в одинаковой мере выпало немало дурного и хорошего — ведь ему довелось быть не свидетелем, а участником, создателем этой жизни, начиная с двадцатых годов по сегодняшний день. Таким образом, писателем дается обширная панорама жизни. И хотя события происходят в Картли, но в равной мере они характерны и для Кахети, и для Имерети, и для Мегрелии, и для любого уголка Грузии. Везде жили так или почти так, как жило село Годердзи Зенклишвили. (Различия, которые, естественно, имели место, заключались только в специфичности или колорите, но не в сущности).

Показ жизни одной маленькой деревушки необходим писателю для постановки проблем, волновавших всю тогдашнюю Грузию. Но главное — во имя утверждения каких принципов создано это многоплановое полотно. И тут прежде всего интересна пристально прослеженная долгая человеческая жизнь, зачатую путаная, изобилующая ошибками.

Уильяму Фолкнеру принадлежат слова о том, что почетная обязанность писателя — помогать человеку переносить все тяготы, возвышая его дух, напоминая ему о мужестве и чести, гордости и сострадании, жалости и жертвах — обо всем, что было его славой в прошлом. Слово поэта не должно быть простой записью дел человеческих — оно должно быть прочной опорой, помогающей человеку выстоять и победить.

И в этой книге мы не можем не ощутить сочувствия автора к сложной и противоречивой натуре Годердзи, несмотря на то, что с общественной точки зрения он не всегда этого заслуживает. Но в нем, как говорилось выше, тесно переплетено хорошее и дурное, и потому, какими бы путями ни шел герой произведения, писатель всегда рядом с ним, чтобы помочь ему «выстоять и победить».

Годердзи Зенклишвили — типичный продукт определенного общественного мышления, общественных взаимоотношений, глубокое и серьезное осознание которых оказалось для него непосильным. И потому в характере его, как в зеркале, отразились именно те общественные отношения, а его жизнь вобрала в себя именно тот отрезок биографии нашего общества.

Человек вступил в жизнь простодушным, бесхитростным, с четкими понятиями о чести и справедливости. Он попадал в крутые жизненные водовороты, волны моря житейского играли им, как щепкой. Со временем он отдался течению: раздобред, оплыл жиром.

Честный, приученный к труду, Годердзи попал в окружение, где человека ценили по богатству. Г. Цицишвили создал целый ряд ярких образов этого сообщества (секретарь райкома, заведующий отделом, Исак Дандлишвили и другие). Зенклишвили стал достойным его членом. Но когда течение жизни приняло другое направление, и то, что прежде негласно поощрялось, стали называть своим именем, Годердзи оказался среди тех, кого призвали к ответу. И он держал его по-своему, обретя благодаря этому душевное равновесие. Опустошенный и морально ограбленный своим экономическим благополучием, Зенклишвили переживает процесс душевного обновления, сам до конца не осознавая, что вернул своей душе прежнюю оболочку, если понимать под этим отношение к людям, к действительности. Но оказалось, что жизнь, в общем-то прожитая зря, подошла к концу.

Что он оставляет людям? Ничего. Человек путаной судьбы, вряд ли он сохранится в памяти людской. Наверное, должно пройти немало времени, чтобы люди привыкли к нему — новому, очищенному, освобожденному от всего наносного.

Для творческого почерка Г. Цицишвили характерен всеохватывающий анализ человеческой души. Писатель стремится к всеобъемлющим полотнам, наиболее полно отражающим исследуемую проблему. И в этом ему помогает доскональное знание жизни. Но сегодня она столь многослойна и разнообразна, что достаточно полно, глубоко и по-настоящему постичь возможно только отдельные ее сферы.

Проследить жизненный путь человека на котором он сталкивается с самыми разнообразными (не говоря уже о характерах и судьбах) человеческими делами, в отношении к которым больше всего и проявляется его характер, значит познать необычайное многообразие возможного приложения человеческих сил и сфер его деятельности.

Г. Цицишвили поставил перед собой задачу написать книгу жизни Годердзи Зенклишвили. Но роман «Одолей алчность свою...» — это еще и книга о времени, в которое он жил, поскольку оно, это время, со всеми характерными для него проблемами и психологией, стало одним из главных его факторов. А знание времени проистекает из глубокого постижения жизни со всеми ее сложностями и противоречиями.

Деревня Самеба у писателя как на ладони. Ему введома каждая ее улица при смене погоды и, что самое главное, все стремления и помыслы самецев, их психология, возможная реакция на то или иное событие. Отсюда — восприятие героев произведения как живых, реальных, знакомых нам людей. Годердзи, Малало, Дандлишвили, Вахтанг Петрович, Малхаз, Марина, Сандро — прекрасно написанные образы, позволяющие верить и надеяться на создание писателем еще более обобщенных, значительных современных типов и характеров. Порукой тому — образ Годердзи Зенклишвили, который предстает перед нами как основной стержень произведения.

Годердзи Зенклишвили — личность сложная, противоречивая. Его никак не назовешь положительным героем. Но тем не менее ему не откажешь и в мужественности, и в душевной

открытости. Он даже в чем-то подкупает своей наивностью и простодушием, неспособностью маскироваться.

Так кто же и каким образом сбил Годердзи с правильного пути? Поначалу — «умный, как змея» Исак Дандлишвили, каждодневно убеждавший его в том, что сейчас в Грузии такие времена, когда надо самим о себе позаботиться. Притом он понимал, что времена эти обязательно переменятся, и потому пока есть возможность — надо отхватить побольше. И хотя писатель нарисовал живой портрет Исака, ему все же не удалось избежать некоторой прямолинейности и статичности этого образа, лишённого развития. С самого же начала нам все о нем известно, и на протяжении всего произведения мы не узнаем о нем ничего нового. Его внушения излишне дидактичны, он болтлив и назойлив. Годердзи, которому ничего не стоит резко оборвать человека, что-то претит в Исаке. И все же, человек прямой и непримиримый, он последовал его убеждениям. Полагаю, что для приобщения к «исаковской» идеологии у Годердзи должен был быть более сильный и умный «вдохновитель». Но тем не менее именно Исак положил начало его моральному падению. Опытный и энергичный лукавец, отличный знаток своего дела, Исак прежде всего человек действия и поступков. Поэтому его общественную сущность и его природу нельзя выявить только через бесконечные разговоры. Посему и поверить в то, что делец с такой корыстной душой, с такой биографией и с таким характером будет попусту тратить время на столь пространные сентенции. И хотя Годердзи по-крестьянски умен, у Исака этой крестьянской хватки и изворотливости оказалось еще больше. В нужный момент он покинул Самеба и развернул свою деятельность в другом месте. Очищение моральной атмосферы не нанесло ему никакого ущерба. Изворотливость и сметливость помогли ему выстоять и «победить» (разумеется, в его понимании), а Годердзи (таже в соответствии с представлениями Исака) привели к катастрофе. Но то, что по мнению Исака катастрофа, на самом деле — процесс духовного очищения, ради которого и написана книга жизни Годердзи Зенклишвили.

Путь Годердзи к духовному очищению идет через страдания. И в этом он во многом обязан своему сыну, взаимоотношения с которым создают в романе мощный контрапункт. Преданный отец, Годердзи заботится о будущем сына, старается вывести его на широкую жизненную дорогу, но средства для этого, которые сами по себе уже являются блестящей характеристикой Малхаза, избирает он сам. Его биография и пути к достижению цели характерны для определенной категории людей. Отцовское экономическое благополучие является лестницей, ведущей к высоким руководящим постам в районе. Но как ни типичен путь, пройденный Малхазом, начало его вызывает некоторое недоверие. Я имею в виду историю приобретения Годердзи машины. Он полагает, что, обнаружив во дворе собственный автомобиль, сын несказанно обрадуется. Однако Малхаз не проявил большого восторга, увидев «Москвич», и предложил перегнать эту машину во двор заведующего районным отделом народного образования. Дело в том, что

сын Годердзи Зенклишвили — одного из влиятельных людей в районе, уже довольно долго тщетно обивает его порог в надежде получить место преподавателя истории. Вот почему Малхазу пришла в голову мысль предложить ему «Москвича» в качестве взятки. Не совсем понятно, для чего это понадобилось ему. Ведь первый секретарь райкома партии — бессменный тамада во время застолий в доме Годердзи Зенклишвили. Разве это обстоятельство не оказало бы безмолвного воздействия на зав. РОНО, когда перед ним предстал бы сын Годердзи Зенклишвили, единственная надежда своего влиятельного отца? Согласно установившимся в Самеба порядкам все должно было выглядеть иначе — заведующий отделом сам должен был бы опекать Малхаза, чтобы с его помощью стать участником кутежей в доме Зенклишвили и благодаря этому сблизиться с руководителем района.

Такая линия поведения была бы продиктована логикой самебской жизни, обрисованной Г. Цицишвили. Но допустим, что зав. РОНО принадлежит к той категории людей, которые вовсе не стремятся войти в доверие к начальству, а стоят в сторонке и потихоньку набивают свою мошну. Допустим и такой вариант. Знакома нам и такая порода людей. И все же эпизод перегона «Москвича» во двор заведующего РОНО крайне неубедителен. Сомнительно и другое — взял бы он такую взятку от человека, столь близкого к руководителю района? Правда, в Самеба все были испорчены «моралью» — «ешь сам и мне не мешай», но нам кажется, зав. РОНО воздержался бы от взятки Зенклишвили хотя бы для того, чтобы иметь возможность продолжать столь же бесшумно и спокойно выжимать соки из самецев.

Так или иначе, отцовское состояние в судьбе Малхаза сыграло роль волшебного ковра-самолета, на котором он взлетел в облюбованное им кресло. Но этот образ раскрыт писателем отнюдь не столь прямолинейно. Карьера Малхаза складывалась не только благодаря отцовскому состоянию. Сын Годердзи наделен такими качествами, которые не могли не способствовать его продвижению по служебной лестнице, — он начитан, образован, умеет красиво говорить, знает, с кем и как нужно себя вести. Малхаз быстро вырос из одежды учителя самебской школы и захотел стать ее директором. Ну что ж... В общем-то он достойный претендент на эту должность. Его деловые качества вполне отвечают его устремлениям. Тем более, что Захарий — директор школы — достиг пенсионного возраста и может уйти на заслуженный отдых. Все могло произойти естественно и просто, при легком «нажиге» райкома. Но путь, которым пошел Малхаз, снова вызывает недоумение. Зачем нужны были такие сложные тактические ходы и приемы, такой долгий и мучительный процесс достижения этой цели?

По тому же принципу строятся отношения Малхаза с Ликой. Поначалу она вообще всерьез его не воспринимала, посмеивалась над ним. А в итоге Малхаз обвел девушку вокруг пальца.

1959-60
1110333

Хотя главным героем романа является Годердзи Зенклишвили, по запутанным жизненным дорогам которого нас и ведет писатель, законы и ритм его жизни главным образом продиктованы ему его же сыном. Потому и возникает желание пристальнее приглядеться к этому персонажу — кто же он, в конце концов, такой, откуда и куда идет, чем измеряет духовные ценности, носителем каких идей и чувств является?

Ответы на эти вопросы диктуют необходимость разобраться в социальной сути Малхаза. Он пришел из той жизни, которая была порождена атмосферой 50-х годов и полную картину которой нарисовал Г. Цицишвили. И потому Малхаз вовсе не представляется мне ярко выраженным «отрицательным персонажем». Если он и опускается до взятки, до недостойного брака и развода с Ликой, — то все это на поверку вынужденные акты. Он вынужден дать взятку, чтобы попасть на работу. Иначе ему бы ничего не добиться. Директор школы согласен оставить работу, если ему построят дом. Он женится на дочери Сандро потому, что увидел — время переменялось и если не будет у него в этом мире «крепкой спины», его могут выплеснуть из жизни как грязную воду. Человек всегда ищет точку опоры, с помощью которой старается сохранить равновесие в водовороте жизни. Вопрос лишь в том, кто как понимает эту точку опоры. Малхаз Зенклишвили видел ее так, как это показано в романе. Но стал ли он счастливее, добившись такими способами положения, к которому стремился? Вряд ли. Теперь он отягощен ответственностью и перед отцом и перед людьми. Он человек всем обязанный, совершивший столько дурных поступков, чтобы выйти на дорогу жизни. Один неверный шаг обуславливал следующий. Мне лично Малхаз Зенклишвили видится не столько человеком недостойным и бесчестным, сколько продуктом и жертвой тех общественных взаимоотношений, которые царили в Самеба и диктовали правила той жизни.

Задержусь подробнее на одной колоритной картине, описанной автором, правда, несколько растянуто. Кутеж в доме Годердзи Зенклишвили. С опозданием пришел Кита Ларадзе. Отдельные черты, свойственные ему, конечно, можно объяснить его карталинским происхождением, но диалог с Малхазом заставляет глубже вникнуть в высказанные им соображения, где он выступает как его оппонент.

Кто такой Кита Ларадзе? Народный учитель (во всяком случае, так он о себе говорит), персональный пенсионер союзного значения, член партии с 1921 года, известный во всей Картли тем, что дружил со Сталиным, прямой и принципиальный человек (хотя мне куда более по душе степенная, неторопливая, прочувствованная манера общения Годердзи Зенклишвили, чем ретивость этого старца). Портрет этого человека получился необычайно пластичным, живым, осязаемым. Так вот, когда Кита Ларадзе потребовался материал для ремонта своего дома, он приехал в Самеба и, не найдя Годердзи на месте, «ворвался в дом, как скороход, проскочил все комнаты» и вторгся к пирующим. Здесь Г. Цицишвили противопоставляет два жизненных пути — Годердзи и Ларадзе.

Уставленный антикварной мебелью дом Зенклишвили похож на дворец, а в доме Кита прохудилась крыша, сквозь потолок в комнату проникает дождь. Это обстоятельство уже само по себе обуславливает конфликт между Кита и Годердзи. Потому-то Ларадзе и заряжен так страстью к борьбе. Он никого не обошел, каждому воздал «по заслугам», оскорбил присутствующих, но в его демагогической речи выпирает примат собственного «я». Он чересчур настойчиво, даже грубо навязывает свое понимание чести и справедливости, которым руководствовалось поколение Кита Ларадзе и которое было неприемлемо для тех, кому адресовалась его проповедь. Суть же личности Кита Ларадзе проявляется в споре с Малхазом. Малхаз утверждает:

«— Я называю порядочными не таких вынужденно порядочных людей, которые, дай им только возможность, создай им условия, — превратятся, может быть, в самых больших разбойников, а таких мужественных, умных и смелых людей, которые и на грех пойти могут, и способны найти для себя большую личную выгоду, и мужеством обладают, чтобы решиться на риск, но, несмотря на все это, никогда не совершат никакого греха и при всех соблазнах остаются порядочными людьми».

Такова главная теза Малхаза. Кита же бросает ему в лицо: «Ты — цветок, взошедший на навозе».

Исследуя деятельность Малхаза на руководящем посту, мы не обнаруживаем ни одного действия или поступка, идущего вразрез с нашими нравственными устоями, и именно тогда, когда он получил возможность для всяческих злоупотреблений. Метания Малхаза обусловлены нездоровыми общественными отношениями. Можно, к примеру, и нового секретаря райкома упрекнуть за неприязнь к Малхазу, который действительно добился своей должности несправедливым путем. Но в дальнейшем он честно, добросовестно и даже самоотверженно служит своему делу. А вот о новом секретаре мы ничего не знаем. Потому, наверное, в нас и зарождается сочувствие к Малхазу, поскольку, с одной стороны, направить свою жизнь в истинное ее русло ему не позволяет общественное положение отца, а с другой — ему не прощают его собственного прошлого, хотя и искренне стремятся, чтобы он честно служил своему делу.

Теперь, что касается преобразования Годердзи. Решение и художественное воплощение этого образа могут показаться несколько неожиданными.

Ведь для того, чтобы найти выход из крутого жизненного водоворота, в который попал Годердзи, он отказывается от обретенного ценой огромных усилий и труда экономического благополучия, от своего «дворца», передавая все это в пользу государства. Но подобный финал оправдан развитием характера Годердзи Зенклишвили на протяжении всего романа. И такое решение субъективно могло быть принято. Хотя важно и то, что у этого решения есть объективная сторона — это жизнь республики в совершенно другом ритме, с совершенно другим настроем. Обновление жизненной атмосферы и обусло-

вило «преображение» Годердзи. Безусловно, это обновление жизненных условий и вынудило его сделать такой шаг. Но после этого Зенклишвили отнюдь не считал себя жертвой, действующей по принуждению. Он прежде всего ощутил свободу, раскрепощение, обрел душевный покой и равновесие. Так в иных условиях, в иной жизненной атмосфере он сумел обрести самого себя.

Человек с характером Годердзи поступил бы именно так. В подтверждение этого напомним один день из его жизни. Самый сложный, омраченный тяжелым и неожиданным открытием суетный день, когда он под влиянием наущений и наставлений Исака преподнес деньги на «карманные расходы» Вахтангу Петровичу. Великолепно написанный эпизод, хотя бы потому, что в нем так хорошо проявляется суть Годердзи. Он сам потрясен тем, что делает, и еще больше тем, что, оказывается, секретарь райкома способен взять взятку. После этого смятения Годердзи испытывает удовлетворение от сознания причастности секретаря райкома, взявшего взятку, к его темным делам.

Годердзи человек того поколения, когда секретари райкомов в шинелях и с маузером в руках погибали в борьбе с бандитами, кулаками, саботажниками. То есть умирали за добро и светлые идеалы. И в его сознании респектабельная внешность Вахтанга Петровича никак не вяжется с образами тех людей.

Для него взятка секретарю райкома — потрясение. А это первое свидетельство того, что в его душе остались проблески совести, что он развращен еще не до конца и способен на возрождение. Именно благодаря этому потрясению, этому внутреннему протесту мы верим в решение Годердзи передать все нажитое государству. Так начался процесс духовного очищения, приведший его в старую квартиру, но и к новому делу. Возвращение же в старое жилье для Годердзи, как и для многих людей его поколения, является символическим выражением возврата к тем ценностям, с которыми они вступали на путь этой жизни и которые служили им критерием в оценке самих себя как строителей нового мира, новой страны.

ШОТА РУСТАВЕЛИ И АЛЫКУЛ ОСМОНОВ

Слушай Шота-аба, дружбы истинной знак —
Этот киргизский конь, подаренный мной аргмак.
Смело садись на него и поезжай!

В добрый путь!
Витязю без коня нельзя обойтись никак.

А. ОСМОНОВ

ШОТА РУСТАВЕЛИ и Алыкул Осмонов? Правда, немало диковато и странно? Что общего может быть между всемирно известным гениальным грузинским поэтом и Алыкулом Осмоновым, которого в основном знают специалисты и ценители поэзии в нашей стране? Но между ними есть великая органическая связь, о которой речь впереди...

В истории культурных взаимоотношений народов бывают редкие моменты, которые в силу своей значительности и глубины называются великими и историческими. На мой взгляд, в истории дружественных отношений киргизского и грузинского народов одним из таких ярких моментов был перевод на киргизский язык поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» выдающимся киргизским поэтом Алыкулом Осмоновым в 1940 году в возрасте двадцати четырех лет. Конечно, трудно удивить, а тем более ошеломить этим скромным сообщением, ибо я знаю, что по библиографическому справочнику литературоведа А. М. Бабаяна «Шота Руставели», эта поэма выдержала в Грузии 35 изданий; она переведена на все языки союзных и автономных республик, имела с 1933 года восемь изданий на украинском языке; существуют ее переводы на английский, венгерский, итальянский, китайский, немецкий, персидский, польский, монгольский, румынский, французский, чешский, японский и другие языки; у нее горячие поклонники и большие почитатели на Западе и на Востоке. Я

195520
101033

отдаю себе отчет в том, что еще Константин Бальмонт писал: «Как Гомер есть Эллада, Данте — Италия, Шекспир — Англия, Кальдерон и Сервантес — Испания, Руставели есть Грузия. Каждое из этих бессмертных имен не только имя поэта, вознесенного вечной славой, но и лучезарное означение души, которая сумела воплотить в себе сокровищницу духа целого народа»¹. Но все же осмелюсь, рискуя (жизнь критика — всегда риск!) сказать, что поэма Шота Руставели благодаря вдохновенному переводу Алыкула Осмонова приобрела вторую родину в моем родном Киргизстане. Она стала там не только популярной, настольной книгой, более того, она стала **народной книгой**. Это редкий, уникальный случай в истории мировой культуры, когда иноязычное произведение обретает подлинную плоть и кровь на языке другого народа, вековые традиции, религия, миропонимание которого коренным образом отличались в прошлом. Здесь уместно вспомнить и такой довольно редкий случай — когда во второй половине XIX века великий казахский поэт-демократ Абай Кунанбаев перевел на казахский язык отрывки из романа «Евгений Онегин» Пушкина, казахская молодежь восприняла «Письмо Татьяны к Онегину» как родную степную песню, переложила его на казахскую мелодию и ввела в свой репертуар. Знарок творчества и жизни Абая Мухтар Ауэзов, оценивая этот факт огромного литературного значения, писал: «Перевод «Евгения Онегина» для Абая и его читателей имел исключительное значение. Это был огромный сдвиг в казахской устной и письменной литературе...»²

Но вернемся к Шота Руставели. Знакомство киргизского народа с биографией Шота Руставели, с отдельными отрывками из его поэмы «Витязь в тигровой шкуре» началось в 1937 году, когда 750-летие со дня рождения гениального грузинского поэта отмечалось всеми народами нашей страны как культурный национальный праздник. Впервые в своей многовековой истории киргизский народ в дни этих юбилейных торжеств узнал из газет, что на свете есть пленительная поэма о любви, дружбе и верности — «Витязь в тигровой шкуре».

«Когда я читал поэму «Витязь в тигровой шкуре», с исключительной полнотой ощутил, как велик, интернационален, глубоко народен поэтический гений грузинского народа, как созвучны его эпитеты и метафоры киргизской поэзии. Каждый из нас, киргизских писателей, ощутил огромный творческий подъем, огромную творческую радость и желание довести до широких народных масс наследие великого грузинского гения.

Начало этому положено. Но это только начало. Предстоит впереди большая работа, чтобы наследие грузинского гения передать киргизским массам достойными великого поэта высокими поэтическими средствами. Поэты Киргизии должны

¹ Сб. «Деятели русской культуры о Шота Руставели», Тбилиси, 1966, с. 239.
² М. Ауэзов «Мысли разных лет», Алма-Ата, 1959, с. 440.

для этого овладеть высоким мастерством Шота Руставели, найти творческие методы для преодоления всех трудностей перевода, вытекающих из особенностей киргизского языка», — писал Кубанычбек Маликов, ныне народный поэт Киргизстана. Хотя в этом высказывании явно чувствуется стремление к коллективному завершению перевода поэмы Руставели, в искренности слов и намерений автора сомневаться не приходится. Наверное, молодой поэт был потрясен и даже подавлен поэтической мощью грандиозной поэмы. Другой известный киргизский поэт Джоомарт Вокомбаев в те дни перевел и опубликовал в журнале отрывки из поэмы: «Первое послание Нестан-Дареджан возлюбленному», «Первое послание Тариэла возлюбленной» и «Послание Нестан-Дареджан к возлюбленному». Судя по этим отрывкам, он свободно и легко передал на родном языке любовную тоску-пытку возлюбленных, но почему-то не продолжил начатого дела. Однако известно, что поэма Руставели покорила молодого поэта, и в дни юбилея свое известное стихотворение «Бессмертный соловей» он посвятил памяти Шота Руставели:

Горной Грузии цветущей ты бессмертный соловей,
Семь веков ты светишь миру лирой пламенной своей,
Семь веков твое творенье, как неблекнувший ковер,
Свежестью нетленных красок радует сердца людей.
Весь Восток советским солнцем ослепительным богат,
Весь Союз Советский счастлив — Север, Юг, Восток, Закат.
Солнце Грузии, ты щедро пролило и нам лучи,
И тебя, великий Шота, славит твой киргизский брат.
Брат мой, Шота гениальный, ты киргизов не видал,
Что воспет киргизом будешь, ты в свой век и не гадал.
Но народ на Ала-Тоо стал свободным и запел
О тебе, чей дальний голос и киргизам радость дал.

(Перевод А. Пеньковского)

«Ты воспет киргизом будешь!». Поэт провидчески предвидел, что в будущем великий Шота действительно будет воспет и восславен другим киргизским поэтом, пока более молодым, пока менее известным по сравнению с его старшими коллегами.

В те юбилейные дни нашлось немало поводов и для исторических сравнений. Киргизский критик и литературовед О. Джакишев (ныне он старшина критиков по возрасту) опубликовал очень интересную заметку под названием «Два богатыря»: «С радостью погружаемся мы в духовное и звуковое богатство поэмы Руставели, — писал он. — Мы обогащаемся всем новым, что она несет, и ищем в ней и находим близкие нам черты. Мы не можем, читая ее, не вспомнить о своем эпосе, о Манасе — богатыре киргизского народа, и богатыри встречаются в сознании: Манас, называемый постоянно львом, тигром или леопардом, и «Витязь в тигровой шкуре». Кажется, они соперничают самой звучностью стиха, богатством рифм и

¹ Газета «Советская Киргизия», 1937 г., 26 декабря.

сравнений. Чеканные афоризмы Шота Руставели перекликаются с меткими пословицами и поговорками, вкрапленными в ткань киргизского эпоса. Но, радуясь и приветствуя грузинский народ, обладающий таким сокровищем, принимая его с благодарностью в свою культуру (подч. К. Б.), мы помним, что ключи от «Манаса» нами не переданы другим народам. Он почти ровесник «Витязю в тигровой шкуре». Мы насчитываем восемь веков его существования. Его пробудила к жизни революция. Он записан только в последние годы. «Манас» переживает вторую молодость!»

Киргизский критик верно уловил главное, — так же как поэма «Витязь в тигровой шкуре» вошла в культуру киргизского народа, так же и наш величайший эпос «Манас» должен стать достоянием других народов СССР.

Тогда же, в дни юбилейных торжеств, Алыкул Осмонов тоже опубликовал свое небольшое стихотворение «Шота», в котором воспел благородство и верность только одной Тинатин. Поэтому взыскательный поэт впоследствии ни в один из своих сборников этого стихотворения не включал. Судя по нему, в ту пору Алыкул Осмонов, видимо, находился в состоянии вживания в организм поэмы, так сказать, акклиматизации, бурной влюбленности в нее. В период напряженнейшей работы над переводом «Витязя в тигровой шкуре» Алыкула Осмонова постигает большое личное горе: он расстается навсегда со своей любимой девушкой Айдай, которую любил нежно и страстно, наверное, на всю жизнь. И эта первая любовь оставила в его сердце глубокий след и незаживающую рану. О своей работе над переводом поэмы Шота Руставели Алыкул Осмонов позднее вспоминал в своей короткой автобиографии так:

«В 1937 году во время поездки в Москву и в обратной дороге прочитал запоем подстрочный перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, некоторые статьи о нем и решил ее перевести. Эта мечта не давала мне покоя, и я потерял сон. «Возмужал, стал джигитом; если теперь не сделаю достойного дела, разве вправе буду носить свое имя Алыкул?» — спрашивал я сам себя. «Если не сумею по-настоящему перевести на родной язык эту поэму, тогда я слабый поэт, ничемный человек», — отвечал сам себе. Плюс ко всему эта чудесная поэма завораживала меня.

С мая 1937 года я начал перевод этой великой поэмы. В том же месяце расстался со своей любимой девушкой Айдай Джигиталиевой, которую полюбил первый раз в жизни. Причину этой размолвки до сих пор не понимаю. «Это горе я должен песней подавать и должен показать себя в труде» — поклялся я и работал без устали. В тот период не отрывался от поэмы до утра. Читал, переводил, удивлялся, радовался! Думал, что на свете только единственный счастливый человек — это я!

В большинстве случаев переводил с подстрочника, пользовался переводами на русский язык Бальмонта, Цагарели, Петренко. Еще обращался к сборнику статей «Шота Руставе-

ли», выпущенному Академией наук Грузинской ССР. Работал без отдыха, весной, летом и осенью. Весь интерес был в этом.

Переводил поэму во Фрунзе, в Токмаке, в Оше, в Москве и завершил работу над ней в апреле 1939 года в Доме творчества писателей в Малеевке. Книга вышла в свет в 1940 году в Казани»¹.

В период, когда Алыкул Осмонов вдохновенно переводил руставелевскую поэму, процветал буквализм в переводе, шел острый спор вокруг вопроса о том, каким должен быть художественный перевод. Самый крупный авторитет в теории и практике советской школы перевода К. И. Чуковский в своем классическом труде «Высокое искусство» писал о тех временах: «Перелистывая теперь, почти через полвека, тоненькую брошюру (речь идет о брошюре К. Чуковского «Принципы художественного перевода» — К. Б.), я не раз, не два вспоминаю, с каким напряженным трудом приходилось «открывать» такие бесспорные истины, которые нынче считаются азбучными.

Сейчас, например, я читаю в одной из статей ленинградского сборника «Теория и критика перевода»: «Буквальная точность перевода приводит подчас к полному идейному искажению подлинника».

Теперь это — аксиома, ясная для каждого школьника, но я хорошо помню тот день, когда она осенила меня как живое великое открытие»².

На фоне этих признаний К. Чуковского становится ясна картина и обстановка в области художественного перевода. Правда, в этих словах мастера перевода речь идет о первой половине 20-х годов, но налеты буквализма были еще живучи и в конце тридцатых годов, когда Алыкул Осмонов переводил поэму Шота Руставели. Необходимо учесть и еще один немаловажный момент, когда речь идет о переводе «Витязя в тигровой шкуре» на киргизский язык — молодость, более того — юность, неопытность киргизской литературы. Древний киргизский народ, когда-то имевший руническую письменность и потерявший ее в результате трагических обстоятельств, умолк на многие века. Лишь благодаря Октябрьской революции он снова обрел письменность в 1924 году. И киргизская литература отчасти начала развиваться с того времени.

Наша литература только начала ступать как младенец, переводческое искусство тоже делало свои первые шаги. В этих условиях перед Алыкулом Осмоновым стояло много неразрешимых задач. Он, наверно, сначала чувствовал себя очень растерянным и был похож на того одинокого путника, который стоял в необъятной степи и не знал, куда идти. Ведь за плечами самого Алыкула Осмонова еще не было солидного поэтического опыта; он был всего лишь автором трех сборников стихов, не принесших ему ни известности, ни признания.

¹ А. Осмонов. Собр. соч. в 3-х томах, на кирг. языке, 1965, г. Фрунзе.

² К. Чуковский. Собр. соч. в шести томах; том второй, из-во «Худ. литература», 1966, с. 242.

16 035340
017 011033

Не было еще и большого переводческого опыта. Правда, к тому времени им были переведены на киргизский язык отдельные стихи Пушкина, Гейне, Лермонтова, басни Крылова. Но эти переводы прошли незамеченными. Для того чтобы отважиться в таких условиях на перевод великой поэмы Руставели и померяться с ним поэтической силой (настоящий переводчик — всегда соперник!), надо было обладать львиным сердцем и самому быть витязем в тигровой шкуре!

Три года мучительной, кагоржной и вдохновенной работы над переводом «Витязя в тигровой шкуре» — и поэма в 1940 году попала к киргизскому читателю, которого ожидало знакомство с величайшими потрясениями и тягчайшими испытаниями грозных и кровавых лет. По свидетельству многих людей, а также самого Алыкула Осмонова, перевод «Витязя в тигровой шкуре» был принят киргизскими читателями и общественностью горячо и восторженно.

Тогдашний руководитель Союза писателей Киргизии, ныне академик, народный поэт Киргизии, Герой Социалистического Труда Аалы Токомбаев выступил со специальной статьей, посвященной переводу поэмы «Витязь в тигровой шкуре», в которой высоко оценил труд Алыкула Осмонова: «... Такое прекрасное произведение («Витязь в тигровой шкуре» — К. Б.) переведено на наш родной язык. Издание этой книги — большая победа и радость для молодой киргизской литературы. Орденосный поэт Алыкул Осмонов внес большой вклад в это дело... Переводчик за три года завершил огромный труд. Это небольшой срок для молодого поэта, который впервые взялся за перевод такой великой поэмы и перевел ее с любовью и вдохновением. Поэт целиком использовал свои языковые возможности, блестящие рифмы... В переводе ясно чувствуется, что Осмонов эту поэму любил, ибо у всех поэтов бывает такой возраст, когда они увлекаются лирикой. Осмонов перевел эту поэму именно в таком возрасте. В результате, несмотря на неопытность, он быстро завершил этот большой труд. Его перевод обрадовал наш народ. Он поднял культуру языка на новую ступень и его новаторский перевод стал успешным опытом»¹ (подстрочный перевод мой — К. Б.).

Надо отдать должное аксакалу киргизской поэзии — он в основном верно уловил новаторский характер перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре», выполненного Алыкулом Осмоновым. Да он и сам прекрасно знал и сознавал, что этот перевод ему удался, и очень ревниво следил за реакцией читателей, — часто бывал в аилах, интересовался мнением простого народа относительно своего перевода поэмы Руставели. «Через год после выхода поэмы Шота Руставели на киргизском языке, приехав в горные аилы, стал свидетелем того, что киргизских мальчиков и девочек родители нарекли именами Тариэла, Автандила, Тинатин, Дареджан. Значит, перевод удался, значит, поэма дошла до сердца киргизского народа и полюбилась им»², — писал он в своей автобиографии.

¹ Газета «Кызыл-Кыргызстан», 16 апреля 1941 г.

² А. Осмонов. Собр. соч., т. 2, с. 10.

В этом воспоминании нет ни капли саморекламы и бахвальства. Это действительно так. Киргизский народ веками наизусть хранивший, от поколения к поколению передававший такой океан поэзии по масштабу и поэтической силе, как величайший эпос мира «Манас», объем одного варианта которого полмиллиона стихотворных строк и два десятка огромных эпосов, называемых нами младшими, был подготовлен к тому, чтобы принять «Витязя в тигровой шкуре» как свой родной эпос и полюбить его навсегда. Это еще одно свидетельство громадной популярности поэмы Руставели на моей родине. «Хочу привести один факт, свидетелем которого был сам, факт, говорящий о громадной популярности поэмы Руставели у разных народов. Мне приходилось бывать в горах Тянь-Шаня. Там во многих аилах я встречал мальчиков и девочек, носивших имена героев знаменитой грузинской поэмы. Она стала для киргизов настолько своей, что табунщики и чабаны начали называть своих детей Тариэлами, Автандилами, Нестан и Тинатин. Такая честь не часто выпадает на долю чужезычного произведения. Тут с глубоким уважением хочу вспомнить имя выдающегося и рано умершего поэта Алыкула Осмонова, который прекрасно перевел на киргизский язык шедевр Руставели»¹, — писал Кайсын Кулиев, друг и почитатель Алыкула Осмонова.

Как известно, народное сознание очень устойчиво, даже консервативно и невосприимчиво к чужеродному явлению. Но, несмотря на это, руставелевская поэма полюбилась киргизскому народу. В Киргизии, начали появляться народные песни об ее отважных героях.

На небе Большая медведица,
Но почему она из семи звезд?
Из-за любви страстной
По миру странствовал Тариэл, —

(Подстрочный перевод).

поется в одной из популярных киргизских народных песен.

Эта поэма настолько полюбилась киргизскому народу, что в годы войны киргизские старики и старухи, жившие тревогой о судьбе своих сыновей на фронте, организовали коллективную читку «Витязя в тигровой шкуре» и слушали ее всю зимнюю ночь напролет.

Современный молодой киргизский писатель К. Джусупов вспоминает в своей книге «Жизнь в стихах» об эмоциональном воздействии на слушателей выполненного Алыкулом Осмоновым перевода поэмы Руставели: «Моему поколению повезло. Мы первыми прочли «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели на языке своих отцов. Мы, не расставаясь с поэмой ни на час, носили ее за пазухами, в карманах своих овчинных полушубков, засыпая, клали под подушку. Долго я думал, что поэма написана самим Осмоновым. Позднее, узнав, что он переводчик, я подивился способности поэта находить слова «слаще меда».

¹ Журнал «Дружба народов», № 9, 1965 г., с. 199.

16.035040
012-010333

Мы зачитывались «Витязем в тигровой шкуре» до того, что рябило в глазах. Читали с упоением, до самозабвения — и сидя верхом на лошади, и валяясь в высокой траве. Читали у серых юрт, примостившись на брошенных вьючных седлах, на вершине круглого холма, усевшись на гладкий валун, дома — при свете чадающей свечи. Книга настолько захватила нас, мальчишек, что постоянно мысли наши витали над скалистыми горами, описанными в эпосе Шота Руставели. В своем воображении мы вскакивали на быстрокрылых тулпаров и носились по знойным пустыням, летали над дремучими и темными, как ночь, лесами, где дрались и рычали львы, слушали морской прибой и шум гигантских водопадов. Наши бабушки и деды заставляли нас снова и снова перечитывать эпос вслух. Случалось, что они, заслушавшись, забывали про намаз. Стихи вызывали на глазах слезы даже у тех, кто, как утверждали знатоки, никогда в жизни не плакал. Стоило нам чуть сбиться, и наши придирчивые слушатели, уже почти выучившие поэму наизусть, строго замечали: «Смотри глазами!» — и заставляли перечитывать место заново. Если, на что-нибудь разобидевшись, нам хотелось досадить бабушке или деду, мы их пугали: не дождетесь больше! Не будем читать!»¹

Особенно полюбили эту поэму киргизские девушки и молодые женщины. В знак верности любимым они посылали ее своим возлюбленным на фронт как талисман, и киргизские джигиты носили ее в своих полевых сумках, с упоением читали во время короткого фронтového привала, восхищались мужеством героев Шота Руставели. Бывали случаи, когда у погибших киргизских джигитов находили в карманах великую поэму Руставели. Сам Алыкул Осмонов записал в свою тетрадь такую фронтovou быль: «Герои Руставели: Таризл, Автандил, Дареджан, Тинатин любимы киргизским народом. Поэтому многие ребята носят эти имена.

Когда наши войска подошли и перешли границу Германии, на берегу Рейна увидели труп молодого киргизского солдата. Говорят, в его полевой сумке обнаружили окровавленную поэму «Витязь в тигровой шкуре»².

Думаю, тут комментарии излишни и всякие слова бесполезны. Сама быль говорит и доказывает, что «Витязь в тигровой шкуре» настолько породнился с киргизским народом, что стал его душой, его духом, его частицей.

До сих пор после Алыкула Осмонова ни один киргизский поэт не взялся снова за перевод поэмы Руставели на киргизский язык. В этом есть глубокий смысл. Когда перевод иноязычной литературы становится достоянием, национальным фактором другого народа, когда он становится его национальным произведением, думаю, редко кто отважится на повторный риск. И не потому, что в Киргизии нет хороших переводчиков. Сейчас у нас переводческое искусство бурно развивается, есть известные теоретики - практики этого

¹ К. Джусупов. «Лесорубы», «Сов. писатель». М., 1975, с. 117.

² А. Осмонов. Соб. соч. в трех томах, т. 2, с. 681.

благородного дела, которое служит взаимообогащению, взаимосближению культур народов СССР, вообще мировой литературы. Напомню, что в настоящее время имеется три перевода на киргизский язык «Евгения Онегина» Пушкина (статья Алыкул Осмонов сделал второй его перевод), но после него он переводился в третий раз. Полагаю, что это великое произведение русской поэзии в будущем ждет еще более совершенного и раскованного перевода на киргизский язык. Что же касается поэмы Руставели, пока у ее осмоновского перевода нет соперников. Но я не маловвер. Может статься, какой-либо другой киргизский поэт возьмется за это дело. Но пока Шота Руставели развезжает по киргизской земле, в горах Ала-Тоо на скакуне Алыкула Осмонова. Везде его встречают стар и млад с особым почтением и любовью. За это время руставелевская поэма выдержала пять изданий (1940, 1951, 1955, 1972, 1976 гг.) на киргизском языке, и тираж ее каждый раз растет. Последнее издание имело тираж 20 тысяч экземпляров, который разошелся очень быстро. Через три месяца после выхода в книжных магазинах невозможно было ее найти. Мы, киргизы, занимаем в стране по численности издания этой любимой грузинской поэмы четвертое место после Грузии, Абхазии и Украины. И это естественно. В этих республиках она издавалась еще до революции, а у нас с 1940 года...

Любовь к «Витязю в тигровой шкуре», к светлой личности Шота Руставели и поныне у нас огромна. Киргизские поэты старшего, среднего и младшего поколений — К. Акаев, Э. Узакбаев, Б. Сарногоев, Т. Алыбаев, Н. Джеркынбаев и другие — посвятили свои стихи памяти Шота Руставели, в которых prominently выражают свою любовь и уважение к гениальному грузинскому поэту; они считают его своим, киргизским поэтом. В этом тоже есть глубокий смысл.

Больше всех любил Шота Руставели и преклонялся перед его памятью, конечно, сам Алыкул Осмонов... Вдохновенный период работы над переводом поэмы был звездным часом, поворотным пунктом в его творчестве и представлял собой большой поэтический урок. Киргизский поэт справедливо считал своими великими наставниками Руставели и Пушкина. В своем замечательном стихотворении «Сплетня» (1944) он так выразил это свое отношение к ним:

В это время я один сижу в комнате,
Перебирая одну мысль за другой, погруженный в них.
Эх, соткать бы мне такой большой ковер, говорю себе,
Который не смогли бы поднять все киргизы вместе.
Думая так, я не сижу без дела,
А обращаюсь за советом к Пушкину, к Шота-аба¹.
Они не отказывают мне, дают свои советы,
Многое исправляю, заново отбираю, выбираю.

(Подстрочный перевод)

¹ Аба — старший брат.

Самое лучшее стихотворение о Шота Руставели написал Алыкул Осмонов в 1944 году — через четыре года после выхода поэмы «Витязь в тигровой шкуре» на родном языке, когда окончательно убедился, что она дошла до сердца киргизских читателей и он получил моральное право уверенно обратиться к ее автору со следующими проникновенными словами любви и уважения:

Слушай Шота-аба, дружбы истинной знак —
Этот киргизский конь, подаренный мной аргамак.
Смело садись на него и поезжай! В добрый путь!
Витязю без коня нельзя обойтись никак.
Не обижайся, взгляни — пусть мой подарок мал,
Во сколько дней и ночей — ты оцени — он встал.
Открою даров караван красавицей Нестан,
Я по-киргизски ее заново описал.
Твой Тариэл (храбрец ему не чета — ни один)
Мудрый лев Автандил, доблестный палладин.
Дали зеленых равнин, выси зеленых гор,
Горницы, где не умолк голос твоей Типатин.
Лунных ночей серебро, гулкой пещеры тьма,
Плачущая Асмаг, смеющаяся Фатьма...
Описал, каким он был, верный друг Фридон,
Девушек, красотой сводивших мир с ума.
Сладость первой любви, ее пьянящие сны,
Нежная грусть, печаль, страданья без вины.
Арфы глухой напев и тающие сердца,
Мягкие голоса в книгу твою влетены.
Нет, я не жду хвалы, не говори «рахмат»¹.
Труд мой взвесь на весах... Лучшая из наград.
Если бы в дни мои такая любовь родилась,
Какую ты описал, — был бы я счастьем богат.
Слушай Шота-аба, дружбы истинной знак —
Этот киргизский конь, подаренный мной аргамак:
Смело садись на него и скачи! В добрый путь!
Витязю без коня нельзя обойтись никак.

(«Шота Руставели», перевод М. Синельникова)

Надо искать ключ к верному и правильному пониманию новаторского характера перевода поэмы Руставели Алыкулом Осмоновым прежде всего в этом его стихотворении, в котором своего великого учителя поэт почтительно называет «аба» (это значит — самый уважаемый старший брат) и дарит ему по киргизскому национальному обычаю скакуна, желает доброго пути по киргизской земле. На титульном листе руставелевской поэмы на киргизском языке во всех изданиях ее написано: «С русского языка свободно перевел Алыкул Осмонов». Такое предостережение может законно насторожить любого почитателя великого грузинского поэта и дает основание задать вопрос: в чем же выражается этот свободный перевод? Ведь сам

¹ Рахмат — спасибо, благодарность.

Алыкул Осмонов в своем стихотворении, посвященном Шота Руставели, открыто признается, что многих героев поэмы «по-киргизски заново описал». Нет ли здесь произвола переводчика, когда от оригинала ничего не остается, разрушается и искажается внутренняя гармония и подлинная суть произведения? Конечно, мне трудно судить об эквивалентности осмоновского перевода с подлинником, ибо ни Осмонов, ни мы не знаем грузинского языка, но за эквивалентность киргизского перевода с русскими переводами я ручаюсь, ибо сравнивал перевод Осмонова с переводами Георгия Цагарели, который, наверное, переводил с оригинала.

Перевод Алыкула Осмонова заслуживает специального серьезного литературоведческого исследования, в котором бы он скрупулезно рассматривался во всех научных аспектах. Пока такого нет. Но я верю в то, что в недалеком будущем он станет предметом особого исследования. Правда, есть отдельные небольшие заметки и высказывания, проливающие свет на новаторский характер перевода руставелевской поэмы, отмечающие его высокий профессиональный уровень. «В чем секрет такого огромного успеха? Тут, безусловно, сыграло роль мастерство перевода. Алыкул Осмонов сумел донести до читателя всю прелесть гениального произведения Руставели. В вопросах художественного перевода Алыкул Осмонов стоял за метод творческого воссоздания подлинника. От слепого следования грузинскому стиху «шаири», состоящему из пятнадцати слогов с цезурой посередине, переводчик отказался, ибо она абсолютно не была знакома киргизам и читатели не восприняли бы ее.

И вот Осмонов смело берется воссоздать оригинал, отступая от формы подлинника и следуя мысли Пушкина: творческий перевод «есть высшая смелость, смелость изобретения». «Взяв за основу грузинскую стихотворную строку, состоящую из пятнадцати слогов, он переводит ее киргизским одиннадцатисложным стихом»¹, — пишет переводчик и исследователь художественного перевода З. Мамытбеков². «Перевод поэмы Руставели не мог остаться бесследным и в творчестве самого Осмонова. Полюбив Руставели, он пронес через всю свою жизнь его одухотворенную, искрящуюся, мудрую поэзию. Читаем ли его пейзажную лирику или поэмы, его раздумья о жизни и долге человеческом, — мы чувствуем неуловимое дуновение руставелевской поэзии и в характере повествования и в темпераменте выражения авторских чувств»³, отмечает другой специалист по поэтическому переводу К. Джидеева.

В этих отрывочных доброжелательных суждениях современных киргизских исследователей в основном верно схвачены новаторский характер перевода поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Алыкула Осмонова и благотворное влияние на его

¹ Газета «Советская Киргизия», 28 сентября 1966 г.

² Добавим от себя, что Алыкул Осмонов поэму «Витязь в тигровой шкуре» перевел шестистрочными строфами вместо четырехстрочных, в русском переводе. К. Б.

³ Газета «Советская Киргизия», 28 сентября 1978 г.

творчество самого процесса работы над ней. В отечественной теории поэтического перевода есть немало метких, крылатых высказываний великих поэтов и переводчиков от самого Тредьяковского до наших дней о подлинном, вдохновенном поэтическом переводе. Я тоже хочу высказать свое соображение о природе поэтического перевода.

Подлинный поэтический перевод на любом — на малом или великом языке — всегда загадка, как бывает загадкой рождение любого истинного произведения литературы. Подлинный поэтический перевод на любом языке — это второе рождение. Нет, это возрождение на другой почве, более того, это феникс, сжигавший себя в подстрочнике и, благодаря вдохновению переводчика, возродившийся из пепла. Заставить заговорить другого поэта на своем родном языке — это подвиг переводчика. Разве не таковыми являются «Горные вершины» и «Сосны» Гете в переводах Лермонтова, в которых слышны неуловимые движения души и настроение великого немецкого поэта. Это один из ярких образцов поэтического перевода, когда на другом языке оригинал возрождается в подлинном облике, ибо переводчик творит его в звездные часы вдохновения и перевоплощения. Таких примеров немало в практике отечественного перевода.

По нашему мнению, к такому редкому явлению относится и поэтический перевод Алыкула Осмонова поэмы «Витязь в тигровой шкуре», который обладает всеми этими качествами. Сказать, что Алыкул Осмонов мастерски перевел поэму Руставели, это почти ничего не сказать, ибо бывают действительно ювелирные переводы, сделанные (именно **сделанные!**) по всем правилам теории поэтического перевода: в них трудно обнаружить какой-либо изъян, в них все блестяще, все на месте, но нет самого главного — вдохновения, жара сердца, личности переводчика!

В тот период, когда Осмонов брался за перевод поэмы Руставели, он еще не обладал большим опытом поэтическим, тем более переводческим мастерством. Потом, в дальнейшем он станет большим мастером поэтического перевода, когда за его плечами останется опыт Руставели, Шекспира («Отелло», «Двенадцатая ночь»), Низами («Хосров и Ширин»), Навои («Лейли и Меджнун»), Пушкина («Евгений Онегин»).

Тогда в чем же секрет успеха перевода руставелевской поэмы Алыкулом Осмоновым?

Как известно, во время работы над переводом «Витязя в тигровой шкуре» он переживал самую глубокую, мучительную сердечную драму, как сам признавался в своей автобиографии. Эта сердечная драма оставила глубокий след в его неокрепшем сердце, в его замечательной поэзии вообще, в его человеческих отношениях. По свидетельству его современников, он был по природе замкнутым человеком, способным целиком уйти в себя, в свой внутренний мир. Безусловно, расставание с любимой потрясло его до глубины души, открыло ему глаза на суровую действительность, на изменчивость и превратности судьбы.

К его счастью, именно в то время проходил всесоюзный юбилей «Витязя в тигровой шкуре» и он смог познакомиться с этой великой поэмой, вдохновиться ею, найти в ней доходящую опору и пищу, увлечься романтическими героями Шота Руставели. Ведь поэма эта — о любви, о дружбе, о верности, о великих испытаниях и лишениях молодых рыцарей, испытанных в борьбе за настоящую любовь. Еще она — о превратностях судьбы, о вероломстве и коварстве. В ту пору все это мучительно волновало ум и сердце молодого поэта, он сам старался найти ответ на многие вопросы и нашел его у Руставели.

Есть еще одна легенда, связанная с переводом «Витязя в тигровой шкуре» и рожденная среди киргизского народа после смерти Алыкула Осмонова.

Нам известно, что до Октябрьской социалистической революции среди широких слоев киргизского народа бытовала версия, будто великих сказителей эпоса «Манас» Найманбая, Акылбека, Тыныбека, Кельдибека и Сагынбая во сне посещали сам Манас и его соратники (кырк чоро), чтобы благословить на песнопение его подвигов. Это было так принято. Каждый большой сказитель распространял такую легенду о своем «вещем сне».

По новой легенде, когда в 1937 году Алыкул Осмонов переживал мучительнейшую драму и колебался, как Гамлет, взяться ли ему за перевод «Витязя в тигровой шкуре» — ему приснился прекрасный сон, будто его посетил сам Шота Руставели и сказал: «Сынок, не робей, я на твоей стороне», — и поцеловал его, благославляя на подвиг. Народная молва гласит, что после этого сна Алыкул Осмонов переводил без обеда и без сна, днем и ночью, и за месяц завершил перевод всей поэмы.

Эта легенда опять-таки свидетельствует о святом отношении киргизского народа к памяти Шота Руставели и Алыкула Осмонова.

Перевод «Витязя в тигровой шкуре» Алыкула Осмонова всемогущ, всемогущ. Он напоминает бурную горную реку, местами выходящую из берегов. Осмоновский перевод к тому же обаятелен. Он напоминает бег иноходца, дарящий человеку радость и наслаждение. Когда читаешь его, не замечая, что это перевод, просто наслаждаешься прекрасным и чудным полетом стиха, богатством и очарованием родного языка. Ты целиком погружаешься в мир смелых, щедрых, благородных, красивых людей и не можешь оторваться от поэмы. Ее внутреннее дыхание — всегда с тобой.

Когда Алыкул Осмонов переводил эту поэму, сам был, наверное, в поэтическом состоянии ее автора и, очевидно, тоже глотал немало «кровавых слез» любви, как Шота Руставели. Возможно, если б Алыкул Осмонов взялся за перевод руставелевской поэмы лет пять спустя, он перевел бы ее более мастерски. Но того очарования, блеска, вдохновения, которыми она обладает в его переводе, в ней бы не было. Читая перевод Алыкула Осмонова, я часто сожалелю, что не знаю грузинского языка, языка Руставели, на котором рождена эта



великая поэма. Перечитывая ее перевод, сделанный Алыкулом Осмоновым, часто сокрушаюсь, что грузины не знают киргизского языка, на котором как из пепла возродилась эта поэма!

Вот в чем секрет и загадка успеха перевода «Витязь в тигровой шкуре» на киргизский язык...

На первый взгляд, он кажется даже слишком вольным. Но это только на первый взгляд, потому что Осмонов сохранил весь национальный грузинский аромат, дух и благородство героев Руставели. Он воспел отвагу, мужество, любовь, дружбу, верность в подлинном духе Шота Руставели. Иногда в отдельных философских рассуждениях и поэтических самовыражениях он как будто отходит от подлинника, но и там остается верен духу оригинала. Когда речь идет о переводе Осмонова поэмы великого Шота, вспоминается одно высказывание К. Чуковского: «Вспомним о Василии Курочкине и его бессмертных переводах стихов Беранже. Кто же не знает, что в свои переводы он вносил бездну отсебятины и всяких вольностей. А вот Всеволод Рождественский, очень опытный и культурный поэт, воспроизводит в своих переводах того же Беранже и число строк оригинального текста, и стихотворный размер, и чередование рифм, и характер переносов стиха, и характер словаря, и многое множество других элементов подлинника, но его перевод менее точен, потому что им в гораздо меньшей степени передано поэтическое очарование стихов Беранже, их музыкальная природа, их песенность»¹.

Поэма Руставели оказала огромное воздействие на творческий расцвет Алыкула Осмонова. Конкретно оно выражается в следующем: в тот период, когда он взялся за перевод «Витязя в тигровой шкуре», по собственному признанию, поэт переживал творческий кризис. Он выпустил три сборника стихов, но не получил морального удовлетворения, потому что мучительно сомневался в своем поэтическом призвании. Как поэт он почти умолк. Процесс работы над переводом поэмы Руставели, полученное в ее ходе моральное удовлетворение и огромный успех самого перевода вернули ему уверенность в своей поэтической звезде. Ведь вера в свой талант — огромное счастье для поэта!

В названных выше двух стихотворениях Алыкула Осмонова он неизменно называл Шота Руставели — «аба», что значит в широком смысле слова — «наставник» — и учился у своего великого учителя высокому назначению поэзии.

От жизни отречься — могу без труда!
 От песни отречься — не в силах.
 Не раз я солгал бы и богу и милой,
 Но песне своей не смогу никогда! —

(Перевод В. Леоновича)

писал в своем программном четверостишье Алыкул Осмонов, и до конца своих дней остался верен этому своему поэтическому завету. Он писал только правду, как Шота Руставе-

¹ К. Чуковский. Собр. соч. в шести томах; том второй, изд-во «Худ. литература», 1966, с. 308.

ли, писал только о том, что знал, чувствовал, сам переживал. Алыкул Осмонов в киргизской поэзии высоко нес знамя справедливости, искренности чувств. Его бессмертная поэзия глубоко пронизана этими качествами.

Если поэт действительно явление самобытное, большое, то в его поэзии, естественно, нет прямого «отпечатка», влияния другого более крупного поэта, у которого он учился. Но это влияние явно чувствуется в более большом, в более сокровенном характере его поэзии. На наш взгляд, Алыкул Осмонов хорошо усвоил и воспринял в своем творчестве высокую гуманистическую миссию «Витязя в тигровой шкуре». В своей поэзии он так же, как Шота Руставели, воспевал бессмертную любовь и воспел верную, большую, возвышенную, чистую любовь своих современников. В годы Великой Отечественной войны он почти безвыездно проживал на берегу Иссык-Куля, видел горе, страдание, слезы вдов, сирот, стариков и подвиг женщин, солдат, близко знал людей возвышенной души, высоких чувств и благородства. И это сыграло решающую роль в расцвете его поэзии. Не случайно Алыкул Осмонов первый свой послевоенный (1946 г.) сборник стихов назвал «Любовь» и включил в него такие блестящие поэмы-новеллы, как «Кулуйпа», «Майская ночь», «Кто это», «Махабат», герои которых в дни войны сражались с немецкими захватчиками, являли мужество, стойкость, трудились на колхозных полях, выдерживая колоссальные трудности на своих плечах, и остались верными большой любви. Герои этих поэм объята земной романтикой, благородны, честны, возвышенны и храбры, как герои поэмы Шота Руставели.

В своем замечательном стихотворении «Женщине» Алыкул Осмонов воспел гимн ей:

Хочу любить и юности вослед
Идти, хмелся, по ступеням лет,
Войти в огонь и вновь, как из вулкана,
Горящим камнем вылететь на свет.
Хочу любить, погибнуть сгоряча,
Любить, слова бесценные шепча,
Любить, твою осиливая силу,
Порой слабея, тая, как свеча.
Когда бы вся небесная вода,
Обрушившись, покрыла города,
Вооружен твоим единым взглядом —
Я перешел бы море без труда.

(Перевод М. Синельникова)

Разве не так страдали и проливали слезы из-за любимых женщин руставелевские отважные витязи Автандил и Таригел?

Поэзия Алыкула Осмонова многогранна и многокрасочна, она охватывает все сферы человеческой жизни: в ней есть горе, трагедия, радость и торжество жизни. Киргизский поэт, как и Шота Руставели, воспел мужскую дружбу, верность, под-

виг героев, достоинство человека, дружбу народов, долг перед родиной и народом, перед близкими и жизнью, горько сожалел о скоротечности жизни.

УДК 82.01
302.01.01.03.33

И самый достойный не бог — человек,
И самый неважный — не плох человек,
И зависть коварна: иссушит, заглушит,
Себя не поймет — и пропал человек!
В отчаянной скачке твой конь победил,
И первым твой беркут добычу схватил,
Ты вырастил сад и крылатое слово,
Сказал это слово — народ подхватил.
Или так: не охотился и не скакал,
Азарга не ведал, стихов не слагал,
Жил тихо, довольный детьми и женой,
Ни разу пужды не имел, не солгал.
Я думаю, жребии эти равны,
И мнение народа, и мнение жены
Равно утверждают достоинство наше —
Обоими дорожить мы должны.

(Перевод В. Леоновича)

Такой завет оставил поэт потомкам в своем стихотворении «Дружеское слово». Он высоко чтит имя, честь, достоинство человека. Так же высоко, как и Шота Руставели.

Шота Руставели и Алыкул Осмонов. Думаю, теперь я вправе утверждать, что между этими именами есть нечто органически родное и близкое.

Серго ТУРНАВА

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРЕССА О ГРУЗИНСКОМ УЧЕНОМ

Международный резонанс научной деятельности выдающегося грузинского ученого и общественного деятеля Корнелия Кекелидзе подтверждают исследованные нами ранее неизвестные источники, содержащие сведения о том, что, начиная с 900-х годов нашего века, зарубежные ученые пользуются его трудами, переводят их, пишут на них рецензии и исследования, устанавливают с ним деловые и научные контакты. В своих письмах академик К. Кекелидзе консультировал их по кардинальным вопросам грузинской литературы, знакомил со своими работами, обеспечивал необходимыми материалами. Поскольку эти источники неизвестны широкому кругу читателей,

полагаю, более подробное ознакомление с ними представит определенный интерес.

Итак, первые сведения о научной деятельности К. Кекелидзе, как упоминалось выше, появились в 900-е годы во Фрайфийн¹⁾ Особенно интересовался его трудами хорошо владевший, наряду со многими другими языками, грузинским языком выдающийся бельгийский профессор, катвелолог Поль Пеетерс. В течение сорока лет он переводил грузинские тексты, писал исследования, читал лекции, посвященные грузинской культуре. Ему принадлежат 160 трудов, связанных с ее изучением.

Как агиограф, в первую очередь, Пеетерс посвятил много работ грузинским агиографическим памятникам, одновременно опубликованным в журнале «Аналекта Болландиана». Это — «Сент-Ромен» (новый мученик по одному грузинскому документу, 1911 г.), «Грузинские версии Дионисия Ариопагийского» (1912 г.), «Святой Иларион Иберийский» (1913 г.), «История монастырей Грузии» (1917 — 1919 г.), «Иберийско-армянская версия автобиографии Дионисия Ариопагийского» (1921 г.), «Мученичества святых мучеников Федора и Ивлиана и Евбула и Малкама и Мокима и Саламона» (1928 г.) и т. д.

Внимания заслуживают рецензии Пеетерса на труды К. Кекелидзе. В одной из них, где речь идет об агиографических памятниках, автор приходит к выводу, что «этот труд представляет первую публикацию грандиозного монумента... Вообще, план и научное исполнение труда достойны лишь похвалы» (1925 г.).

В рецензии на первый том «Истории древнегрузинской литературы» сказано, что она включает 1200 страниц, свидетельствующих об интеллектуальных достоинствах Грузии и ее праве жить своей самостоятельной жизнью. Как отмечает ученый, «достоинства эти блестящи, а право бесспорно». Пока общественность Запада, говорит он, незнакома с богатой грузинской литературой, она, к нашему стыду, игнорировалась в течение долгого времени, и мы не имели представления о подлинной сущности грузинской литературы. Рецензент убежден, что за рубежом с интересом познакомятся с этой работой, написанной молодым грузинским ученым, без прикрас показавшим живую, гармоничную картину, сделавшим доступными далекие, неизвестные нам источники, рукописи. Если бы не он, признается Пеетерс, «мы никогда не узнали бы грузинскую литературу» (1926 г.).

Бельгийский ученый отмечает также огромное значение книги К. Кекелидзе «Обращение Картли». По его мнению, она отличается от других работ глубиной научного исследования, последовательным изложением этапов распространения христианства (1932 г.).

Касаая труда К. Кекелидзе «13 сирийских отцов», Пеетерс пишет, что К. Кекелидзе хорошо изучил этот вопрос, однако он все-таки нуждается в пересмотре. «Мы убеждены, — утверждает автор, — что когда господин К. Кекелидзе вернется к этому вопросу со всей мудростью своей эрудиции, он непременно придет к интересному, заслуживающему внимания выводу» (1928 г.).

Подробно рассматривая работу К. Кекелидзе «Неизвестные авторы о древнегрузинской литературе», опубликованную в VII томе сочинений грузинского ученого, П. Пеетерс указывает также на публикацию в первом номере журнала «Христианский Восток»

статьи Иванэ Джавахишвили о грузинских переводах сочинений отцов церкви.

Таково было начало. Грузинским ученым еще предстояло более полно ознакомить мировую научную общественность с трудами такого характера. «Это желание, — пишет П. Петерс, — сбылось в результате неустанной деятельности господина профессора К. Кекелидзе. В представленной им книге фамилии авторов даны в алфавитном порядке. Поразительно, что у ее автора нет ни одного неправильного аспекта. Бесспорно, грузинским автором проделана огромная работа... И мы принимаем этот труд с чувством большой благодарности, находя в нем сведения о сочинениях неизвестных авторов, о писцах, издателях, переводчиках, об их псевдонимах. До этого у нас не было такого каталога; теперь ученым придется часто пользоваться этим трудом. Надеемся, что в будущем К. Кекелидзе еще более усовершенствует его» (1928 г.).

Научной деятельности Корнелия Кекелидзе касаются и две статьи норвежского профессора-картвелолога Ганса Фогта, кратко изложившего основные ее аспекты. «Чтобы оценить научную деятельность Корнелия Кекелидзе, — читаем мы у Фогта, — достаточно пересмотреть переводы его книг; некоторые из них переведены на французский, английский, немецкий языки. Книги профессора регулярно и систематически переводились на русский язык. Сам он, большой мастер перевода, переложил на русский язык произведения трех древних грузинских писателей, в том числе писателя V века Якова Хуцеси, что заметно расширило горизонты грузинской цивилизации. Мы уважаем личность Корнелия Кекелидзе, исследующего проблемы грузинской литературы» (1959 г.).

Большая работа по составлению библиографии научных трудов К. Кекелидзе проделана профессором Лювенского университета (Бельгия) Жераром Гарритом. Она содержит исчерпывающие сведения, представленные в хронологическом порядке — с 1905 по 1962 год. Библиографию предвзвешивает краткое вступление, освещающее основные моменты деятельности грузинского ученого. «Корнелий Кекелидзе, — по словам Жерара Гаррита, — один из редких грузинских ученых, чье имя хорошо известно патрологам, литургистам и агиографам. Он основатель современной грузинской филологии. Еще при жизни (его первый труд напечатан в 1905 году) опубликовано множество его исследований вместе с текстами, что вызвало пристальное внимание грузинских литераторов» (1963 г.).

Далее автор констатирует мировое значение работ К. Кекелидзе. Для иллюстрации он приводит первый том его «Истории древнегрузинской литературы», который перевели на немецкий язык Юлиус Асфальг и Микель Тархнишвили. Там же говорится, что эта книга обогащает знание античной христианской литературы.

Книга Корнелия Кекелидзе «Обращение Картли» переведена на немецкий язык в 1928 году. Немецкие ученые посвятили этому труду множество рецензий, напечатанных в газетах и журналах. Отклики на эту книгу имеются также в английской и итальянской прессе.

Немецкий ученый Роберт Блайхштайнер пишет: «Автор книги, судя по фамилии, грузин, рассматривает противоречащие сведения летописцев и византийских писателей о распространении хри-

стианства в Грузии... Нельзя не признать, что этот труд ^{отлично} аргументирует различные мнения существующих источников. Это важный шаг в деле изучения древнейшей христианской ^{эпохи} Грузии» (1930 г.).

А вот мнение Карла Бермейстера: «Автор книги — тбилисский профессор, в первую очередь, рассматривает легенды о распространении христианства в Грузии. Он утверждает, что грузинские племена приняли христианство не одновременно. По мнению К. Кекелидзе, сведения об этом появились в X веке, затем автор справедливо критикует исторические источники, содержащие сведения о принятии христианства отдельными грузинскими племенами» (1929 г.).

В «Бременер Нахрихтен» читаем: «Грузия всегда была мостом между Западом и Востоком. Поэтому интересна ее судьба, история. Большое мировое значение имеет вопрос о распространении христианства в Грузии. С самого же начала он привлек к себе внимание ученых мира. Поскольку грузинские источники труднодоступны для Европы, мы благодарим грузинских ученых за публикацию трудов на доступных нам языках и за помощь. Один из этих трудов — «Обращение Картли» Корнелия Кекелидзе» (1928 г.).

«Бреслауер Цайтунг» свидетельствует: «Распространение христианства в Грузии сыграло большую роль. Существует несколько мнений по этому вопросу. Одни считают, что христианство распространялось через апостолов, другие — не разделяют этого мнения. Грузинский ученый Корнелий Кекелидзе подробно рассматривает этот вопрос в своей книге и справедливо утверждает, что христианство в Грузии распространялось в разные периоды времени» (1928 г.).

Вот выдержка из «Аугсбургер абенд Цайтунг»: «Двое ученых Мюнхенского университета Эмил Крон и Отто Регенбоген представили доклады о распространении христианства в Грузии, в которых они опирались на труд Корнелия Кекелидзе «Обращение Картли». Эти доклады проникнуты гуманистическим духом и могут быть использованы в качестве учебного пособия в средних школах и университетах» (1928 г.).

«Прагер Абендблат» пишет: «Грузия находится высоко в горах. У грузин есть свой язык, литература, древняя культура. Это подтверждает книга К. Кекелидзе «Обращение Картли», написанная на основании множества убедительных документов. На грузинскую культуру средних веков оказывали влияние Византия и Персия. Грузины сохранили свою культуру, литературу, искусство. В XV — XVI веках в грузинскую литературу проникли элементы европейской культуры непосредственно из Европы или через Россию. Начиная с этого времени Грузия была мостом между Западом и Востоком» (1928 г.).

«Штаатсанцёнгер фюр Вюртенберг» сообщает: «Большой интерес представляет книга Корнелия Кекелидзе «Обращение Картли», поскольку она знакомит нас с незнакомой страной.

Грузины говорят на своем языке, имеют свою культуру, которая развивалась на стыке восточной, византийской и персидской культур. Теперь в Грузии культура по-прежнему на высоком уровне. Автор книги — грузин, который утверждает, что христианство в

Грузии распространялось в разное время и Грузия была мостом между Востоком и Западом» (1928 г.).

В «Цаитшифт фюр кирхен Гешихте» под рубрикой «Рассказ об истории восточной культуры» опубликована рецензия, в которой говорится: «Обращение Картли» — интересная книга, впервые опубликованная в Тбилиси в 1926 году на грузинском языке в первом номере «Обозревателя» (1—53). Автор делает попытку обосновать свои предположения: сначала он рассуждает о легендах, затем приводит свидетельства о распространении христианства в Грузии. Новым и значительным из предложенного Корнелием Кекелидзе является вопрос о дате (355 — 356). Для иллюстрации К. Кекелидзе приводит два документа — один из истории Грузии, другой — из византийской литературы» (1930 г.).

В журнале «Теолог Блетер» помещена обширная статья профессора Теодора Германа «К вопросу принятия христианства в Грузии», в которой отмечается, что книга Корнелия Кекелидзе вносит новое в историю распространения христианства в Грузии, сообщая при этом убедительные свидетельства этого (1931 г.).

«Теологише Литературцайтунг» отмечает, что Корнелий Кекелидзе в своем труде критически перерабатывает источники (греческие) и уверенно высказывает свои предположения.

Аналогичные суждения содержатся в английских и итальянских журналах и газетах.

Переписывавшийся с К. Кекелидзе американский ученый Роберт Блейк в одном из писем (1924 г.) грузинскому коллеге пишет: «Вчера получил отписки моей рецензии на Вашу книгу. Очень рад, что напечатана моя рецензия о Вашей книге. К сожалению, я получил мало отписок. Поэтому лишь Вам посылаю один экземпляр. Было бы хорошо напечатать эту рецензию у нас, в Америке».

Имеется в виду рецензия профессора Р. Блейка на книгу К. Кекелидзе «История древнегрузинской духовной литературы», опубликованная в 1924 году в XXVI томе английского журнала «Джорнал ов теолоджикал студи». Автор прислал эту рецензию К. Кекелидзе с надписью на грузинском языке: «Уважаемому Корнелию Кекелидзе от Роберта Блейка».

Вначале автор рецензии знакомит читателя с личностью К. Кекелидзе. Он сообщает о популярности его имени среди специалистов по агиографической литературе, о его учебе в Киевской духовной академии у известного русского литургиста А. А. Дмитриевского, по совету которого будущий ученый заинтересовался литургическими материалами родной литературы; его магистерская диссертация вызвала интерес в России, а также за рубежом. Затем американский ученый останавливается на ступенях развития духовной литературы, разработанных К. Кекелидзе, подробно характеризует представителей церковной литературы, начиная от Якова Хуцеси до Ионы Хелашвили, указывает на большое значение их сочинений для литературы. Там же упоминается имя бельгийского профессора Поля Пеетерса, переведшего на латинский язык изданную и изученную К. Кекелидзе книгу «Жития святых», сопроводившего ее исследованием на французском языке и сделавшем доступной для западноевропейских ученых. Там же Блейк замечает, что представленный грузинским ученым список святых неполон и тут же доводит до сведения читателей, что Кор-

нелий Кекелидзе обещает в будущем составить грузинскую аудио-графическую библиотеку, которая станет фундаментальным грузинским изданием. По его словам, грузинский ученый особенное внимание уделяет житиям святых, что вполне естественно.

Книгу Корнелия Кекелидзе «История древнегрузинской духовной литературы» он называет единственной, открывшей целину, так как в ней представлено много ранее неизвестных материалов. И хотя автор не имел возможности осветить все вопросы, поскольку некоторые источники для него пока еще недоступны, дальнейшие исследования и поиск внесут коррективы и ясность в уже сделанное. Никто не может отрицать тот факт, — утверждает Блейк, — что грузинский покров книги для многих недоступен. Однако теперь эта ценная книга переведена на латинский язык профессором П. Пеетерсом и стала доступной для ученых. До сих пор они пользовались неточными источниками. (1924 г.).

С 10-х годов нашего века Корнелий Кекелидзе устанавливает деловые контакты со многими выдающимися учеными мира. Среди них — Поль Пеетерс, Жерар Гаррит, Ганс Фогт, Юлиус Асфальг, Антон Баумштарк, Генрих Гейдиль, Герхард Деетерс, Рихард Зоберг, Жан Тибо, Морис Леруа, Яромир Иедличка, Д. Готсен, Роберт Айслер, Роберт Блейк... Он получал от них письма, касающиеся кардинальных вопросов грузинской литературы, и в свою очередь консультировал их, снабжал необходимой литературой, а также своими трудами. Зарубежные ученые выражали ему за это в своих письмах глубокую благодарность.

В письме от 22 марта 1913 года Поль Пеетерс пишет: «Я испытываю огромную благодарность, получив от Вас «Иоанна Ксифилинского», который занесен в список ваших важнейших работ».

Приведу еще несколько выдержек из писем зарубежных ученых, адресованных К. Кекелидзе. «Ваши научные труды оказали мне огромную помощь...» (Жан Тибо, 1913 г.); «Большое спасибо за Вашу ценную работу» (Д. Готсен); «С удовольствием получил от Вас «Этюды», которые особенно ценны для меня. Спасибо» (Жерар Гаррит); «Очень рад, что установил с Вами научные контакты. Возможно, отныне я смогу обращаться к Вам за советами» (профессор Ю. Асфальг, 1960, Мюнхен).

Как видно из вышеприведенных материалов, труды академика Корнелия Кекелидзе получили признание и высокую оценку зарубежных ученых. И сегодня, способствуя развитию литературных и научных контактов, они продолжают служить укреплению дружбы между народами.



РЯДОМ С ПИСАТЕЛЕМ

Во вступительном слове, открывающем книгу одного из славных ветеранов советского издательского искусства, Г. Маргвелашвили назвал ее «летописью международного побратимства», а содержание определил как «интернационализм в действии и действительность интернационализма».

Имя Марка Израилевича Златкина, более полувека отдавшего делу сближения литератур народов СССР, хорошо известно как грузинским, так и русским писателям. С этим именем связана деятельность издательства «Заря Востока» (нынешнего «Мерани»), начиная с 1927 года и до наших дней, неотделимая от творчества таких выдающихся мастеров слова, как К. Гамсахурдия и Н. Тихонов, Г. Леонидзе и Б. Пастернак, С. Чиковани и Н. Заболотский, И. Гришашвили и П. Антокольский...

В своем предисловии Г. Маргвелашвили вспоминает

М. Златкин. Когда книга сближает народы. Встречи, беседы, размышления. Изд-во «Сабчота Сакартвело», Тбилиси, 1979 г.

о первой антологии грузинской поэзии, изданной в 1921 году, основными переводчиками которой были В. Гаприндашвили и О. Мандельштам. В антологии, выпущенной издательством «Мерани» к пятидесялетию Советской Грузии, представлены в качестве переводчиков русские поэты трех поколений — от старейших друзей грузинской поэзии до самых молодых, совсем недавно открывших ее для себя.

Воспоминания М. Златкина о встречах и сотрудничестве с Г. Леонидзе, И. Андрониковым, В. Гольцевым и многими другими, переписка с ними составляют интереснейшую часть его книги.

Наделенный редкостным даром располагать к себе людей, завоевывать авторитет и доверие, Марк Израилевич всегда находится в самых теплых и дружеских отношениях с авторами своего издательства.

На дверях его кабинета нет таблички, лимитирующей часы приема, и вовсе не потому, что у него много свободного времени. Просто главное в его жизни и деятельности — книга и ее автор. Частые гости М. Златкина — грузинские писатели и их русские собратья по перу. Посетив в нынешнем году этот гостеприимный кабинет (так и хочется,

сказать «дом!»), я встретила там Анну Каландадзе и Юрия Ряшенцева. Нетрудно догадаться, что читатель в скором времени получит книги этих прекрасных, самобытных поэтов.

Давно дружат с «Мерани» Арсений Тарковский и Александр Межиров, Е. Николаевская и Владимир Леонovich, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко.

На протяжении ряда лет здесь осуществляется издание интереснейшей серии «Стихи о Грузии и переводы», пополнившейся недавно книгами А. Тарковского, Е. Евтушенко, Б. Ахмадулиной, М. Синельникова.

Читателю будет безынтересно ознакомиться с перепиской М. Златкина и Н. Тихонова по поводу «контуров его будущей книги». Сегодня, когда эти контуры обрели реальность в виде двухтомника, изданного в 1978 г. и оказавшегося чуть ли не последней прижизненной книгой Николая Тихонова, эти письма приобретают особую ценность. Они ярко характеризуют ту часть деятельности М. Златкина-издателя, которая идет под рубрикой «работа с автором». Под эту рубрику подходят письма Г. Леонидзе, П. Антокольского, Е. Евтушенко и многих других, содержащие богатый творческий опыт, важные литературные открытия и обобщения.

Для М. Златкина характерен постоянный пристальный интерес к творчеству молодых. Его дружескую поддержку в свое время ощутили ныне признанные писатели — Нодар Думба-

дзе, Тамаз Чиладзе, Гурам Гегешидзе. Сегодня острый взгляд издателя обращен к «новому» пополнению грузинской литературы — Со-со Пайчадзе, Нугзару Ша-таидзе, Дилару Ивардава.

Неизменная доброжелательность Марка Израилевича, мягкий юмор, высокая принципиальность и инициативность в сочетании с подлинным профессионализмом определяют многие особенности работы возглавляемой им редакции, вокруг которой сложился дружный актив грузинских писателей. Здесь и писатели - академики Ираклий Абашидзе, Григорий Абашидзе, маститые мастера слова К. Лордкипанидзе и С. Клдиашвили, критики и литературоведы Г. Цицишвили, Г. Маргвела-швили, Г. Асатиани, крупные поэты и прозаики.

Отдельная глава в книге М. Златкина посвящена взаимоотношениям издательства и автора. Нельзя не сказать о том, какую надежную, систематическую поддержку оказывало издательство молодым писателям. Марк Израилевич вспоминает, что критика (не всегда справедливая и обоснованная) не пугала издательство, не отталкивала его от автора, а напротив — стимулировала к более серьезному и требовательному сотрудничеству.

М. Златкин ревниво оберегает приоритет издательства, когда дело касается выпуска на русском языке лучших произведений грузинской литературы. «Ждем вашей новой книги», — таков лейтмотив многих его писем к авторам. Много ли

у нас издателей, которые сами просят у авторов их новые рукописи?!

Целый раздел книги посвящен письмам Н. Заболоцкого, П. Антокольского, Н. Тихонова, Г. Леонидзе, Л. Гудиашвили, И. Андроникова, Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко и других к М. И. Златкину. Эти письма дают самое живое и непосредственное впечатление об этапе, предшествующем рождению книги. Приведу лишь несколько цитат из этих писем: «Вручаю свою писательскую судьбу в Ваши добрые руки», «К просьбам авторов, их нуждам и запросам внимательны по - настоящему только Вы», «Я особенно ценю и ценю Ваше дружеское расположение и поддержку».

Человек редчайшего такта, М. Златкин бережно относится к творческому содружеству автора и переводчика, специфика переводных изданий подразумевает наличие у каждой книги двух «родителей» — автора и переводчика. Не случайно М. Златкин посвящает целую главу труду переводчика. На счету у издательства не одна сотня книг, возникших как результат плодотворного сотрудничества русских и грузинских литераторов. Так, «Картельские оды» Бенедикта Лившица донесли до читателя плоды его дружбы с Г. Леонидзе и Т. Табидзе. «Корни гор» Михаила Луколина говорят нам о давней дружбе автора с Ревазом Маргиани. На диво результативным оказался «союз» Александра Межирова с Ираклием Абашидзе и Гри-

гола Абашидзе с Владимиром Солоухиным.

Очень деликатно касается М. Златкин таких острых вопросов перевода, как вольность и точность. Не вступая в дискуссию, он с явным сочувствием цитирует известные строки Е. Евтушенко:

**Не страшен вольный перевод,
Ничто не вольность,
если любишь,
Но если музыку погубишь,
Все мысли это переверт.**

Нетрудно понять редактора, издателя, получающего наслаждение от общения с живым, талантливым словом. В пресловутом споре о подстрочнике М. Златкин опять - таки принимает сторону читателя, которому не столь важны теоретические дебаты, сколь нужны яркие, талантливые переводы. М. Златкин разделяет мнение Б. Ахмадулиной: «По подстрочнику только истинный поэт может понять смысл стихотворения».

Бесконечно дорога культурно - просветительской ролью перевода и понимая ее как «интернационализм в действии», М. Златкин неустанно заботится о расширении географии грузинской книги. Об этом говорится в девятой главе его книги, которая так и называется: «Книги расходятся по всей стране». Здесь приводятся письма читателей со всех концов нашей необъятной Родины. Мне кажется, эта часть книги М. Златкина должна представлять особый интерес для тех республиканских издательств, ко-

торые делают первые шаги в выпуске переводной литературы. Издательство «Мерани» — одно из старейших издательств, систематически выполняющее свой трудный и почетный долг. Продукция этого издательства отражает картину развития грузинской литературы, а также поспекает за творчеством сопутствовавших ей всегда русских литераторов.

В бессмертных стихах и переводах увековечена дружба Г. Леонидзе и Н. Тихонова, Б. Пастернака и Т. Табидзе, С. Чиковани и Н. Заболотного. В сравнительно недавнее время родились переводы Е. Евтушенко из Тамаза и Отара Чиладзе, Б. Ахмадулиной из Анны Каландадзе. Сегодня А. Тарковский обращается к Важа Пшавела, а В. Леонович — к Галактиону Табидзе.

Всегдашней заботой М. Златкина была популяризация достижений современной грузинской литературы, с одной стороны, и неустанное обновление классического наследия, с другой. К изданию серий «Сокровищницы народного творчества» и «Памятников древнегрузинской литературы» привлекаются в качестве редакторов, переводчиков, составителей лучшие научные силы.

Широко известны такие издания, как двухтомная «Летопись дружбы», содержащая богатейший материал из истории культурных взаимосвязей Грузии и России, как «Эпопея - хроника», являющаяся своеобразным отчетом грузинской литературы к 50-летию Октября, «Тбилиси в поэзии» — дра-

гоценный подарок к 1500-летию древней столицы.

Нельзя не упомянуть здесь о составленной Ю. Константином Симоновым антологии «Если пелось про это» (Грузия в русской советской поэзии), изданной в 1977 году и охватившей все лучшее, посвященное грузинской теме.

К 275-летию со дня рождения Давида Гурамишвили вышла книга Элгуджи Маградзе «Стенание», открывшая новую для издательства серию «Прославленные сыны Грузии».

«Зеленая улица» всегда была открыта таким книгам, как «Лермонтов и Грузия» Ираклия Андроникова, «Декабристская литература и грузинская общественность» Вано Шадури, «Горький и грузинская литература и мысль» Г. Гвенетадзе. Трудно переоценить роль подобных изданий в деле интернационального воспитания масс.

М. Златкин называет в своей книге целый ряд критических и литературоведческих трудов, изданных за последние годы и получивших высокую оценку во всесоюзной прессе. Нужно сказать, что к критике в издательстве «Мерани» относятся не как к падчерице, а как к равноправному члену литературной семьи. Это ценное качество работы издательства было особо отмечено во время Декады грузинской литературы и искусства в Москве в 1958 году, когда в рекордные сроки были изданы не только лучшие образцы грузинской поэзии и прозы, но и сборники критических ста-

тей, этим образцам посвященные.

Человек исключительной скромности, М. Златкин не склонен приписывать себе успехи издательства, он «винит» во всем писательский актив и коллектив издательства, в составе которого много известных и опытных литераторов. Автору этих строк посчастливилось начинать свою литературную деятельность под руководством М. Златкина, Р. Маргиани, Л. Каландадзе, в коллективе, снискавшем славу истинного помощника и друга писателей. Я могу только пожелать молодым литераторам в начале своего творческого пути встретить такую доброту и требовательность, терпимость и взыскательность, доверие, обязывающее к максимальному напряжению сил, словом, все то, что составляет моральный климат издательства «Мерани».

Надо ли говорить о том, как высоко ценят писатели Грузии деятельность русской редакции, как понимают роль и значение добросовестного, подвижнического труда ее бессменного руководителя.

Автографы на книгах, посвященные М. Златкину при всем их творческом богатстве и разнообразии содержат одну главную мысль: «Большому другу грузинской литературы с любовью и благодарностью».

Когда читаешь книгу М. Златкина, то кажется, будто беседуешь с ее автором, в такой непринужденной, доверительной манере она написана, так естественна ее интонация. Читатель с неослабным вниманием слушает автора, которому есть что сказать, есть что вспомнить, есть над чем поразмыслить. Книга эта, собственно, и есть беседа о литературе, рассказ о том, как грузинская литература последовательно и успешно завоевывала всесоюзную аудиторию.

Г. Маргвелашвили пишет в своем предисловии: «Повествуя о том, как книга сближает народы, автор сам создал еще одну книгу, сближающую народы и подтверждающую историческую глубину и моральную высоту принципов, на которых зиждется духовная жизнь советского общества».

Анаида БЕСТАВАШВИЛИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАНУДОС!

Первые же публикации Гурама Дочанашвили привлекли к нему внимание критики и читателей. В грузинскую литературу вошел талантливый, самобытный писатель, наделенный наряду с прочими достоинствами исключительно тонким слухом, чуткостью к слову, я бы сказал, литературной «музыкальностью». Его рассказы «Михаил и Александр», «Человек, который любил литературу», «Шаг», «Юноша из Тавпаравани» и другие выдвинули его в число наиболее ярких представителей новой волны грузинской прозы.

Результатом многолетнего труда писателя является его роман «Лучший наряд».

Ситуации его весьма условны. Действие разворачивается в неведомой стране, поначалу вроде бы похожей на Грузию — во всяком случае имена крестьян в деревне, где живет главный герой романа Доменико, звучат на грузинский лад. В эту деревню судьба заносит некоего Изгнанника. Он рассказывает Доменико удивительные истории о себе, своем племени и о Предводителе, рассказывает о большом мире за пределами этой деревни... Доменико покидает водное гнездо и попадает в город «Ламазкалаки» (Красиво-

град). Его отец дал ему целый мешок денег-драхманов, так что, не испытывая ни в чем нужды, Доменико живет в Красивограде, заводит дружбу с золотой молодежью — Тулио, Винсенте, Аргуро, Эдмондо, Антонио, Дуллио и др. Тут и хорошенькая Кончита и ее тетушка Ариадна, без конца вспоминающая своего покойного мужа, единственного «настоящего мужчину — Васко»; и болтливый мудрец сеньор Алесандро, которого жители города считают сумасшедшим; и настоящий сумасшедший — Уго, в конце концов заполучивший-таки в руки стальной — не игрушечный нож и зарезавший им удивительную Анну-Марию — последнюю любовь Доменико; и его первая любовь — дивная красавица, «истинная женщина Тереза», один из самых ярких образов романа. Словом, перечисление действующих лиц первой книги романа с их краткими характеристиками заняло бы слишком много места.

Следует отметить, что первая книга кажется несколько многословной. В ней то и дело возникают пустоты, заполняемые изящными словами, вроде «...чувствовали, как прорастало в их телах странное колючее растение — кактус любви». Если бы дело ограничивалось отдельными слишком изысканными фразами — полбеды, но в первой книге сплошь и рядом попадают необязательные, многословно рассказанные эпизоды (чего стоят бесконечные разглагольствования сеньора Алесандро, умеющего говорить без запинков

Гурам Дочанашвили, «Лучший наряд», кн. I, «Накадули», 1975; «Лучший наряд», кн. II, «Накадули», 1978.

на любую тему!), сказки, притчи, и сами по себе необязательные, поверхностные, и искусственно, на живую нитку пришитые к сюжету.

В первой книге романа автор бывает обаятелен (изящно написаны именины Кончиты, вечера у тетушки Ариадны; забавен Эдмондо, мечтающий о верной дружбе, навязывающийся всем и вечно попадающий впросак; уморителен рассказ человека, который не в ладах с грамматикой, о том, как женился его племянник), но, на мой взгляд, обаятельным красноречием нельзя заполнить печатную площадь в 17 авторских листов.

«Я говорил о том, — продолжал Алесандро, — что иногда происходят удивительные истории, Ринальдо, поразительно неожиданные, неправдоподобные истории, с вовсе уж невероятными последствиями. Но никто не знает — хорошо или плохо то, что случилось... В действительности, разумеется, то, что случается, для одних хорошо, для других плохо, но чего тут больше — хорошего или плохого — э-эх, кто знает? Иногда ты думаешь, что то, что случилось, хорошо, а вполне может оказаться, что это плохо, а то и наоборот... Может быть, я говорю непонятно?»

— Очень, — поморщился Ринальдо. — Впрочем, это все равно».

Ринальдо не слишком внимательно слушает сеньора Алесандро, поэтому ему все равно, но читателю не все равно. При всем моем уважении к незаурядному дарованию Дочанашвили признаюсь — меня дозвольно

скоро утомили полые эпизоды и необязательные диалоги в книге «Ламазкалкаки». К счастью, есть там эпизоды и сюжетные линии, написанные с силой и поэтичностью, соответствующей таланту Гурама Дочанашвили: прежде всего я имею в виду любовь Терезы и Доменико, Терезу, пляшущую на снегу, эпизоды, озаглавленные автором «Зимние игры». Очень хороша и глава с бродячими акробатами из первой части романа, а также множество пейзажей и лирических отступлений.

На мой взгляд, меньше удалась автору вторая любовная история — с Анной-Марией. Хотя замысел — противопоставление истинной женщины — Терезы эфемерно-духовной Анне-Марии — интересен и глубок.

Совсем иное впечатление оставляет вторая книга романа, при чтении которой настороженность с оттенком досады постепенно сменилась искренним восхищением. Ткань повествования сделалась упругой, мускулистой, наполненной, без пустот. В чем причина? Помогает, в том, что появилась, зазвучала значительная, бо́льшая тема.

Действие развивается все в том же условном мире, по которому судьба носит Доменико, но после Ламазкалкаки с итальянскими именами действующих лиц и спускающимися из Калабрии крестьянами, тут явственно пахнет Южной Америкой. И если место действия романа в целом условное, то в книге о Каморе и Канудосе оно в какой-то мере конкретизируется. Ниже я попробую пояснить свою мысль.

Книга о Каморе и Канудо-се — это повесть о вечной борьбе добра и зла.

В Каморе живут люди, подавленные властью умного, циничного диктатора, маршала Бетанкура. Система подслушиваний, доносов, насилий, взяточничество, жестокость — вот что характерно для Каморы. Карательные полки, возглавляемые Добрым генералом Хорхе. Красавец генерал Рамирес для выявления инакомыслящих переодевается в женское платье; но полковник Сезар, задумавший операцию с переодеванием, не учел одного — с красотками не говорят о политике, бедного генерала просто-напросто затискали и заципали... Описывая жизнь в Каморе, Г. Дочанашвили прибегает к гротеску; его юмор становится желчным, едким. Он всесторонне разоблачает деспотизм, показывая, что власть деспота держится на скользком и шатком фундаменте страха и что избавление от страха равносильно подрыву фундамента...

А неподалеку от Каморы в степях живут вакейрос — пастухи — первый среди них Великий Зе Морейра, удивительный наездник, воплощение мужества, справедливости и силы; его друг весельчак и певец, белозубый любимец женщин — Мануэль Коста; угрюмый ворчун, справедливый Жоао Абадо, и изо дня в день пестующий в себе мстителя несчастный Сантос, у которого каморцы убили сына и жену...

Пересказать главы о пастухах не берусь — они написаны удивительно, словно спеты, как баллада, и даже ритм прозы Дочанашвили

становится поэтичным, когда он пишет о своих любимых Героях — а они именно Герои с большой буквы. Такая им выпала судьба.

В одном из лирических отступлений автор взволнованно обращается к читателю: «Вы, верно, чувствуете, что я их люблю». И этой своей любовью он заражает читателя. Еще раз повторю — вторая книга романа написана превосходно: не только четыре великих канудосца — Зе, Мануэль, Жоао и Сантос, но и окружающие их второстепенные персонажи выписаны рукой, движимой подлинным вдохновением. Поэтичны и глубоко трагичны эпизоды, в которых Сантос, похоронив жену и единственного сына, вырыл для себя яму между ними и каждый вечер, становясь в нее, клал руки на родные могилки и говорил: «Мирца, я принес тебе груш... Сынок, и тебе тоже... Сегодня взошло солнце... А потом шел дождь. Вы, наверное, тоже почувствовали, Мирца». Он был молчалив и косноязычен, и не умел говорить...

Прекрасен эпизод, когда в лагерь восставших пастухов приходят семь бывших подругек Мануэля Коста, не вышедших жизни без своего сильного, смелого и веселого любовника: смущение Мануэля, едва ли не испуг, и, наконец, ослепительная улыбка и веселое восклицание: «Вот так та-ак!.. Девушки, а где же остальные?».

Словом, чтобы пересказать все удачные эпизоды, мне следовало бы пересказать, а точнее — перевести всю вторую книгу. Приподнятый, поэтический тон, каким написа-

ны главы о пастухах-вакейрос, по принципу контраста органично соседствует с гротеском и романтической иронией, господствующей в главах о городе Каморе.

...Пастухи жили под властью каморцев и работали на них. И были они ловкими, смелыми, мужественными, сильными, но свободными — нет, свободными они не были. И вот появился среди них проповедник, предводитель, консейлрос — Мануэль Мендес, похожий на крестьянского вождя и библейского пророка, его черные одежды развевались даже когда не было ни дуновения ветерка. Пламенными речами он сумел зажечь пастухов — началось восстание. Восставшие пастухи уходят к берегам Большой реки и строят там свой город Канудос — город свободных людей. Туда к ним приходит ироничный, артистичный, очаровательный дон Диего, ставший пятым великим канудосцем.

Диктатор Каморы — маршал Бетанкур решил покарать восставших пастухов.

Множество захватывающих эпизодов борьбы Каморы и Канудоса составляют живую, горячую, страстную плоть второй книги... В конце концов пастухи побеждены карательными отрядами, но их героическая гибель — это гимн свободе...

Мстя за своих друзей, неуловимый дон Диего проникает во дворец диктатора маршала Бетанкура (грандиссимохалле — так принято к нему обращаться в Каморе) и убивает его. Затем он возвращается в Канудос, прощается с убитыми друзьями,

пускается на маленьком плоту вплавь по Большой реке и вскрывает себе вены. Это не было самоубийство. Это была смерть ради своих братьев. Эх, дон Диего, дон Диего...»

Думаю, и в кратком пере­сказе чувствуется романти­ческая приподнятость, ро­мантическая тональность, в которой рассказана история восстания пастухов. Эта ро­мантичность так же органич­на, как и выразительная пла­стичность образов, жестов, реплик и авторских ремарок.

И вот что еще характерно: являясь неотъемлемой частью условных хождений по мукам юного Доменико, главного героя романа «Лучший наряд», книга о Каморе и Канудосе вместе с тем является как бы самостоятельной яркой поэмой о борьбе добра и зла, о борьбе за социальную справедливость и свободу. И южноамериканские атрибуты, приданные этой поэме, делают ее весьма злободневной: диктатура грандиссимохалле, маршала Бетанкура весьма похожа на многочисленные южноамериканские и цент­ральноамериканские диктату­ры, а волна народного гнева, описанная в романе, в точно­сти отражает то, что проис­ходило и происходит в последние десятилетия на Кубе, в Чили, в Колумбии, Сальвадоре и т. д. Эта не­ожиданно проступившая зло­бодневность мне кажется большим достоинством ре­цензируемой книги.

В последней части романа, пройдя через очередные испытания — голодом, холо­дом, непосильным трудом, — Доменико возвращается в



родную деревню. Отец принимает его как блудного сына: подносит ему богато украшенную драгоценными камнями одежду — лучший наряд. (Собственно, и все путешествия Доменико «оплачивались» драгоценными камнями с этого наряда). Во время крестьянского праздника Доменико сбрасывает с себя богатый наряд и кидает его в костер. Платье горит, и, внимательно следя за его сгоранием, Доменико видит, как, вспыхнув напоследок, сгорают все участники рассказанной истории: разная ценность и разный цвет камней соответствуют достоинствам и недостаткам тех или иных участников событий. Описывая сгорание лучшего наряда, Г. Дочанашвили опять демонстрирует свое незаурядное пластическое мастерство, но, признаваясь, мне не удалось расшифровать аллегорический смысл совершенного ритуала... Взамен богатства жизни, олицетворенного в лучшем наряде, всемогущий Отец дарует Доменико дар слова и дает ему возможность рассказать все пережитое.

Последние 35—40 строк романа являются собой точное повторение вступительных строк; история как бы начинается прокручиваться заново, и вдруг, как на заевшей пластинке, повторяется слово: «...странное и тревож... и

тревож... и тревож... и тревож... и тревож...»

«Неужели все, мал Доменико, сидя на берегу вечно обновляющейся реки. — Неужели все это...» На этих словах кончается роман. Какое слово не додумал Доменико?.. «Неужели все это... было?», «Неужели все это... я пережил?», «Неужели все это... я придумал?». Я руководствуюсь не праздным любопытством. В конце романа опять сказалась некоторая непроясненность общего замысла. К сожалению, невнятным, непрописанным остался и образ рассказчика Доменико. Неужели судьба художника — быть робким свидетелем происходящего и его смелым, вдохновенным комментатором?... Впрочем, может быть, и так. Не случайно мудрый еврей Арье-Лейб говорит Бабелю в одном из его одесских рассказов: «Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площади и заикаетесь на бумаге». Психология творчества — загадка, и художники бывают разные.

В целом же мне хочется от души поздравить Гурама Дочанашвили с творческой удачей — его поэма о Каморе и Канудосе великолепна!

Александр ЭБАНОИДЗЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ к истокам» — новый сборник стихотворений Хути Гагуа (издательство «Мерани», 1979 г.), и в этом заглавии символически отражено художественное содержание книги. Первое, что бросается в глаза в процессе чтения, это обостренное чувство нравственных категорий, претерпевающих своеобразные поэтические видоизменения. Поэт критически относится ко всему тому, что противно его природе. Особое внимание он уделяет тем сторонам человеческой жизни, которые отрицательно сказываются на нравственности и этике. Однако в произведениях поэта доминирует не всеотрицающая критика, а строки, пронизанные болью, вызванные нравственным и духовным вырождением соседа и собрата. В этом аспекте проявляется моральный облик самого поэта, его гражданское лицо. Причем автор отнюдь не демонстрирует преимуществ собственной морали — просто его волнует существующее положение, и, проявляя критическое отношение к нему, он выявляет свои духовные и этические позиции.

Стихи поэта заставляют задуматься о себе, о своем ближнем, о жизни вообще. Поэт считает, что жизнь — это мост, по которому, если сердце твое наполнено любовью к ближнему, — можно пройти честно: «О боже!

То, что с любовью я строю, может, непрочно и ненадежно? Прежде других я должен испытать это, а потом пусть другие рассудят» («Мост»)¹.

Поэт считает, что высокомерие и гордость толкают людей на большие ошибки и зло. Он напоминает об известной истине: настоящему человеку ничто человеческое не чуждо. Об этом надо помнить всегда — глупость и невежество порождают только зло.

Не оставляет равнодушным поэта безнравственная жизнь «ничтожных людейшек», их жалкая участь, вырождение, падение, человеческое коварство, недоверие друг к другу, зависть, клевета, лицемерие. Что порождает эти пороки? Именно это следует выяснить, над этим стоит задуматься («Открытое письмо анонимщику», «Старый спектакль», «В кафе»). У Х. Гагуа есть интересные находки, явившиеся результатом глубокого, пристального изучения жизни, а не поверхностного отношения к ней. Недостатки в человеке замечаешь, если любишь его, думаешь о нем, переживаешь за него. В стихотворении «Сочувствие» беспощадно вскрываются лживость, лицемерие под маской надменности и высокомерия. Люди, носящие эту маску, живут себе припеваючи, имея репутацию «хороших людей». К сожалению, нередки случаи, когда мы теряем способность слушать и понимать друг друга, а без этого нет сочувствия, и не потому, что не можем по-

¹ Здесь и далее переводы подстрочные.

нять или посочувствовать своему ближнему, а потому, что не хотим вникать в его нужды. Нас пугает то, что нам может не хватить искренности, честности для этого: «Задумавшись, стоишь один, больше ничего. Старый знакомый приближается к тебе и с сочувствием треплет по плечу, как церковного нищего. Смеется, как будто себя обкрадывает, куска хлеба не жалеет сытый человек; так в протянутую руку бедного нищего со звоном падает мелочь. Больше ничего. Идет по мостовой вдоль оголенных деревьев, и тень — копия твоего тела — вытягивает шею. Больше ничего» («Сочувствие»).

Человеческой натуре подчас свойственно нелепое чувство превосходства над другими, желание подняться на недолимую для себя высоту, делать не свое дело... Это свидетельствует о невежестве, слабости, дерзости людской... Такие люди, как правило, гибнут морально и физически («На дорогах лежал пепел молчания»). Нравственный аспект этого стихотворения проходит через все тот же постоянный меридиан, меридиан борьбы добра и зла. Он подводит итог всем стихотворениям Х. Гагуа, независимо от того, затрагивается ли эта тема прямо или косвенно. В этом аспекте поэт противопоставляет друг другу разные мировоззрения, разные уклады жизни и моральные категории. И снова он предстает перед нами как поэт - гражданин: «Всемогущий, не наказывая доброго, — не оставляй беспомощным и одиноким. И если у разумного отнимешь силу,

безумному дай больше добра» («Жаждающий родительской любви»).

Именно с точки зрения доброты поэт рассказывает о переживаниях, вызванных потерей друга, и беспощадности смерти. И в этот момент он привносит нравственный аспект: «Не смог подняться он с пола. Когда ангел спустился к нему с неба, освободился... Взвалил мне на плечи груз, который не смог нести» («Памяти друга»). Под этим углом написано стихотворение «Братья», в котором отразилось благородство поэта, его любовь к людям. В неожиданном ракурсе показал он нам то радостное чувство ожидания, когда, исполненный любви к людям, находишься в ожидании чего-то или кого-то тебе дорогого и веришь, что все проникнуто этим же необычным чувством. Это и есть доброта. Но здесь есть и другой нюанс, когда в этой радостной встрече уже чувствуется неизбежность разлуки и вызванная ею боль, ее ощущаешь между строк стиха. «Не спится, напрасно ложусь. В полночь прекратится снегопад, в полночь придет телеграмма — послезавтра из Тбилиси приедут братья. Это и твои братья! Теплая радость встречи будет длиться для них, к сожалению, всего лишь два дня, — ты об этом еще не знаешь — и радуешься».

Выделяется в книге стихотворение «Все еще идет» своими художественными достоинствами, экспрессией повествования, глубиной изображения. Здесь символически передана жизнь человека от его рождения до смерти,

его тяжелая участь, радости и печали на жизненном пути, predetermined ему роком. Человек прокладывает себе дороги через колючий кустарник, именуемый жизнью. Здесь передано также извечное стремление человека любой ценой объединить жизнь и смерть и приблизиться к вечности. Это постоянная забота человека: «Все еще идет, рубит и идет. Из этого мира в иной. Ему безразлично, цветет ли кизил, хороша ли погода, или, с мольбой устремившись к небу, сохнет дуб, как сох всегда, — он упрямо прокладывает свой путь, чтоб соединить ту сторону с этой». В этом сложнейшем аспекте осмыслено стихотворение «В кафе». В нем показано, как сложна внутренняя жизнь человека, как трудно понять его, а потому не следует поверхностно судить о нем, осуждать или одобрять его поступки — нелегко проникнуть в человеческую душу... Напомнив нам о трагической судьбе Тициана Табидзе, Гагуа заставляет нас еще раз задуматься над смыслом жизни.

В книге есть несколько стихотворений, в которых стразились впечатления и настроения войны. Поэт пытается осмыслить тему войны по-новому, пропустив ее сквозь призму собственных переживаний. Война оставила глубокий след в душе поэта и, что примечательно, способствовала формированию в нем своеобразных нравственных и этических убеждений. Война осмыслена поэтом как нравственный фактор в аспекте ее влияния на душу ребенка. Именно с этой точки зрения смотрит он на войну.

Война омрачила его детство, разбила мечты; детство прошло так, что он даже не понял — было ли оно. Таково психологическое воздействие войны на душу ребенка; и после ее окончания оно еще продолжало сказываться на человеческих судьбах. Поэт точно передает связь между детской наивностью, небом, увиденным глазами ребенка, и действительностью. Война разрушила гармонию, столь характерную для детской души, и, оглядываясь назад, поэт вспоминает: «То горе, которое не раз меня обволакивало, и сегодня не знаю, как я называл. И невольно протираю глаза, чтоб увидеть более отчетливо за сверкающей лентой реки — детство, далекое и невеселое, кто знает, куда оно мчится, привязанное к спине неоседланного Мерапи» («1943»). Со стихами на военную тему переплетается стихотворение о матери, выделяющееся своей версификационной структурой, метрико-ритмическими особенностями. Стихотворение известует о материнской любви, о ее заботах и печалях. Мысли поэта сливаются с магеринскими мыслями, в них отражена та же боль, та же печаль... Нужно отметить, что Хуте Гагуа чуждо однообразие ритмического строя. Он часто меняет его в зависимости от темы, которую затрагивает в стихотворении; это вызвано многообразием его чувств. Но общий стиль почти везде остается неизменным. Впрочем, тут же следует отметить, что в книге собраны стихи, весьма отдаленные друг от друга тематически, затрагивающие вопросы самых различных духовных

плоскостей, а это в некотором роде мешает целостному восприятию ее. Может быть, тому виной отсутствие внутренней связи между стихами?! Одно несомненно — сборник не оставляет впечатления цельной книги, ему определенно недостает некоего стержня, который объединил бы отдельные идеи, отдельные точки зрения в одно целое.

Для Х. Гагуа характерно своеобразное восприятие природы, которая для него не только символ прекрасного, но и образ, дарящий вдохновение и доброту. Надо отметить, что стихи, затрагивающие обобщенные темы природы, отличаются каким-то особым лиризмом, дышат большим поэтическим теплом. Береза для него невеста, чистая и непорочная, как снег, и в то же время — символ красоты и доброты («Береза»). Природа помогает поэту размышлять о жизни, о бытии вообще. Красота природы невольно рождает волнующие мысли о жизни и ее мимолетности, о сущности смерти и вечности природы. Природа — неиссякаемый источник для поэтических и философских размышлений. У природы своя жизнь, свои законы и закономерности. Образ природы помогает поэту выразить свое отношение к жизни, свое нравственное кредо.

В сердце Х. Гагуа, как и в сердце каждого патриота, живет любовь к Родине, и как истинный патриот он говорит о своей любви искренне и просто. Беды и радости Родины — источник его бед и радостей.

В стихотворении «Я родился в незапамятное время» он поэтически и символически воссоздает историю нашего народа. На первый взгляд, казалось бы, поэт высказывает свои чувства и отношения совершенно отчетливо, но порой за ними скрывается что-то очень сокровенное. «Другой, может, и не поверит, только ты одна, Родина, знаешь, что как финик восстала из пепла. Во мне кипит та же кровь. Я пожертвовал богу бесчисленные стада овец, за то что не подвели меня ни ум, ни сила, стоя на своем могильном холме, я есть такой, какой я с виду». Тем же чувством проникнута поэма «Возвращение к истокам». После знакомства с ней возникает мысль, о которой говорилось выше: поэт и гражданин, поэт, застрахованный от обыденных взглядов, и гражданин, который принимает к сердцу все, что волнует его Родину. Он чувствует долг и ответственность перед Родиной и считает себя обязанным защищать ее честь. Поэма состоит из нескольких глав, повествующих о разном, но пронизанных одной общей мыслью и идеей. Особенно следует отметить эпизод поэмы, в котором отразилась вся боль поэта, его переживания, его мысли и идеи, глубокое осознание смысла своей жизни и ее неразрывности с судьбой Родины.

Лери АЛИМОНАКИ

О совести, или о неправоте правых

РОМАН Эммануила Фейгина «Синее на желтом» и две тесно с ним связанные повести — «Бульдоги Лапшина» и «Обида Егора Грачева» — по существу об одном. О несходстве этических норм и нравственных критериев у различных людей (несходстве, подчас, смертоносном), о роковом противоборстве беззащитного гуманизма и так называемого долга, до зубов вооруженного всяческими уставами и инструкциями.

«Он ахнуть не успел, как на него медведь напал» — это любимая присказка чеховского штабс-капитана Соленого. Названные выше фейгинские произведения — о медвежьей правоте штабс-капитанов. Не случайно, наверное, еще до выхода в 1979 году третьего тома собрания сочинений Эм. Фейгина они были объединены в одной книге (Тбилиси, изд. «Мерани»).

Прав комбат Николай Угаров из «Синего на желтом», без колебаний убивший в крымской степи романтического, еще не знавшего женщины юношу — младшего лейтенанта Юру Топоркова, которого он принял за дезертира. Даже на смертном одре непоколебимо права угаровская рука с синей татуировкой на желтой коже, рука, осудившая на смерть, рука, исполнившая приговор, рука, не смутившаяся ошибкой. Нет, он не злодей, этот комбат, он по-своему честный и прямой человек, рыцарь долга. И поэтому он никогда не вспоминает тот мартовский, для Топоркова последний, день, никогда не размышляет о нем. А когда топорковский попутчик и лирический герой романа Сема Медведев, чудом не погибший в тот же самый мартовский миг и встретившийся с Угаровым позднее, в их мирной жизни, впервые вслух — и более чем робко! — напоминает ему о Юре, ощерившийся Угаров резко обрывает эту «запретную» тему и чуть позже тихо бросает Медведеву: «Жаль, что я тогда тебя не шлепнул...» Да, жаль, жаль, что не с концами, чтобы и напомнить — даже робко напомнить — было бы некому!..

Я не случайно вспомнил Василия Васильевича Соленого, убийцу барона Тузенбаха из чеховских «Трех сестер». Словно бы не о нем, а об Угарове рассуждает Сергей Залыгин в своем проникновенном эссе о Чехове «Мой поэт»: «В то время как обитатели и посетители гостиной (Прозоровых — П. Н.) страдают от неразрешимости множества вопросов, штабс-капитану чужды сами понятия, из которых эти вопросы проистекают... (Соленый) не знает, почему убил. И никогда не только не узнает, но и не захочет узнать... И он — сильнее окружающих его людей, поскольку те не могут принять бесчеловечные способы жизни, а человеческие — не могут найти»¹.

¹ С. Залыгин. Мой поэт. «Советская Россия», М., 1971, с. 93, 100—102.

Коллизия «Обиды Егора Грачева» не строится на человеческой смерти или хотя бы угрозе ее. Если уж и говорится о поставленной к стенке жизни, то это всего-навсего жизнь 5-месячного несмышленища Принца, дурашливого базановского щенка. Но и в этой повести немало «правых». Прежде всего сам Базанов, хозяин Принца и его матери — злощестной и заливаистой Альмы. «Собака должна быть злой. Доброй собаке грош цена, — такова его точка зрения. — Давай, Альма, давай, рычи, давай, работай». А в случае чего — и сам Базанов не промах: «Ружье, как всегда, на ночь заряжено крупной дробью. Но стрелять... Был бы другой какой-нибудь параграф УК о самообороне, тогда бы не задумываясь, сразу из двух стволов. До последнего патрона. Пух бы летел из проклятых воругов...». У этого Базанова весьма развито чувство собственного, то есть «базановского» (или «угаровского», или «соленовского»), достоинства: «Человечество! А я, по-вашему, из обезьяньего племени? Я и есть человек (? — П. Н.). Примите это к сведению. И кроме того, учтите, я человек с характером, твердых убеждений. Что знаю, то знаю, и если верю, то уж верю. Режь меня, жги меня — не уступлю».

Среди «правых» и главный герой — Егор Грачев, тоже человек с характером и с убеждениями, но сам по себе вроде бы и не злой, даже добродушный (угостил Принца котлетой для знакомства). И поначалу даже как-то непонятно, отчего же такая неприязнь к этому степенному и аккуратному мужчине у Клавдии Петровны, продавщицы в пивном ларьке, и почему же так трагически, так безнадежно грустны глаза Чемберлена, лошади, с которой работает Грачев и которая ни под каким предлогом не желает играть с дуралеем Принцем. В самом деле, почему? А потому, что на повозке, которую влечит Чемберлен, стоит железная клетка. Потому, что в эту клетку каждодневно набиваются четвероногие бродяги. Потому что наш Грачев — ловец, как он себя называет, или попросту — живодер. Более того, он — живодер по призванию; он не только убежден в гигиенической пользе проводимой им «профилактики», но и даже, так сказать, в юридической: «Сегодня укусил — завтра укусит... Раз у него зубы есть, значит, обязательно кусаться будет». И он уже ни за что не выпустит из своей клетки собаку без ошейника, даже если живой хозяин станет его об этом умолять и проклинать. Ни за что! — это и есть его твердое убеждение, хочешь, режь его, хочешь, жги, хочешь, самого в клетку сажай. Как, между прочим, и произошло, когда нашла коса на камень и пострадавшие от него люди, исчерпав все человеческие способы воздействия, воспользовались бесчеловечными — то есть его же, Грачева—Угарова—Соленого, оружием.

«Прав» и режиссер Демин из «Бульдогов Лапшина». Разбуженный ранним звонком, он узнает о смерти главрежа Лапшина и, по дороге на квартиру покойного, предается разрозненным воспоминаниям и вдруг возникшим, но совершенно неотвязным честолюбивым мыслям о новом, о его, о деминском театре. Все вроде бы в них честно, логично и справедливо, но все равно нас не покидает чувство дистанции между Деминым

1959
110-111033

и Лапшиным, дистанции не профессиональной, а скорее нравственной. Уж он-то, Демин, конечно, не стал бы заступаться за увольняемого ветерана Матушкина, и вообще — «ничего превращать порок памяти в порок совести»!...

Но Фейгин — и, на мой взгляд, сознательно — не доводит обозначенные им нравственные коллизии до разрешения. Он дает им, развернуться, выказать личины и лица, границы и грани, но он избегает ставить точки над «и». Это объясняется, видимо, его пониманием писательской миссии, пониманием, лучше всего отраженном в эпиграфе из Герцена к роману «Синее на желтом»: «Мы вовсе не врачи. Мы боль»...

Да, именно боль, ибо писатель, не наделенный болевотворной совестью, — уже не писатель. И боль не только в случае нелепой смерти или бесчеловечной жестокости, но и в случае трусливой и занудливой жизни, зависимой от Угаровых, контролируемой ими (как это случилось, например, с Семой Медведевым и др.).

В своих произведениях Эм. Фейгин придерживается традиционной для русской прозы линии сюжетного повествования, но он нередко отступает от уже намеченного хода и логики ради той или иной подробности или вставного рассказа; в результате действие раскручивается медленно, словно заедающий телефонный диск, а читатель недоумевает — сердиться ли ему на нерасторопного автора или радоваться его неистощимости: сами-то по себе эти попутные вставки (например, эпизод с магнитофонницей или баштанщиком в «Синем на желтом»), как правило, очень хороши! Однако, мне кажется, все эти локальные детали дробят, рассеивают читательское внимание, объективно отвлекают его от главного — этического — наполнения фейгинской прозы.

Тем не менее в такой писательской позиции — мне все интересно, все нужно, все! — есть немало привлекательного. И не будь этой позиции — не было бы и посвященной прекрасному поэту Александру Цыбулевскому повести «Тбилиси, предвечернее небо», повести, написанной фрагментарно, ассоциативно, с множеством милых фабульных подробностей, доподлинных запечатлений! Сюжета нет вовсе — хотя бы западающего, исчезающего на время, словно на волнах чайка. И уже не на сюжете, а на чем-то совершенно ином держится вся эта словесная масса. Мне кажется, что здесь конструктивнее всего любовь, что именно она — по-человечески прекрасная любовь к жившему и вот умершему другу (повесть писалась через год после смерти А. Цыбулевского) — явилась незримым центром этого не совсем обычного произведения.

¹ Все это сближает эту вещь с прозой самого Цыбулевского, типичной прозой поэта, сознательно воспринимавшего свою прозаическую работу как подготовку к стихам, как их своего рода подстрочник: «А может быть, удел прозы: история стихотворения — пусть даже и не написавшегося» (А. С. Цыбулевский. Владелец шарманки. Стихи и проза. «Мерани», Тбилиси, 1973, с. 200).

В целом же самодвижение Фейгина я охарактеризовал бы как сдвиг прозаика к поэтическому в нем. Это было и в начале — романтический лиризм, хлесткая ассоциативность заголовков. Но в последней повести этот лиризм усиливается ничем не скрываемой личностью воспоминаемого и переживаемого. Из повести струится как бы двойной и обратимый свет: помимо образа друга-поэта и его души она светит и вовнутрь автора, высвечивает его душу и сущность.

Павел НЕРЛЕР.

ЛОКАТОР ДУШИ

«Город воспоминаний» — первая книга на русском языке и пятая по счету молодого грузинского поэта Гиви Алхазисвили. Хотя, вероятно, говорить о молодости тут можно весьма условно, учитывая число книг автора, принимая во внимание то, что он был участником нескольких фестивалей поэзии братских республик, и наконец — самое главное — уровень его творчества, который давно превысил эпитет «молодой». Гиви Алхазисвили самобытен. Стихотворениям его присуща глубокая, насыщенная и точная образность. Музыку стиха, мудрость заложенных в нем изречений, высказанных не нарочито, а с пленительной естественностью, эта образность дополняет органично и закономерно. При всем этом поэт остается глубоко национальным. Вот он пишет о Мцхета:

...когда лоза на грудь мою положит
свой лист,
Как материнскую ладонь...

(«Мцхета»)

Его точное зрение замечает, что

кустов растрепанные тени —
как пряди сбившихся волос.

(«Апрель»)

Поэт локатором своей души воспринимает все события мира и отзывается на них трепетно и своевременно. И сам он зачастую не стоит в стороне от этих событий.

Гиви Алхазисвили. Город воспоминаний. Москва. «Молодая гвардия», 1979 г.

16.035940
11101933

Поэт, живущий в наше беспокойное время, не может в своем творчестве не задумываться о войне и мире. Собственно, почти во всех стихотворениях эти раздумья присутствуют прямо или косвенно, но наиболее талантливо они воплощены в таких стихах, как «Хиросима, 1945 год», «Братская могила в березовой роще», лирический монолог «Детство». К слову сказать, тема детства у поэта неразрывно связана с темой мира, и поэт вплетает свой голос в общий призыв — защитить детство от бурь XX века:

Мир!
Смотри!
Перед тобою дети!
Мир!
Спасти ты должен ветки эти...

(«Хиросима, 1945 год»)

Многие стихотворения Алхазидшвили напоминают ночные картины Пиросмани или Куинджи — так они графически четки по экономному рисунку, так зримо подчеркнута в них очарованная лунного пейзажа с горной рекой, одиноким тополем, арбой на дороге, крепостью над скалой. Их, эти стихи, можно было бы выделить по настроению в отдельный цикл «Графика ночи». Вообще отрадно отметить, что сочетание четкой графики стиха и неожиданной насыщенной образности как раз и создают в произведениях Алхазидшвили необычайный эффект воздействия на читателя.

Острое зрение поэта видит, как

Крылья грустных ворон,
Словно черные флаги,
На деревьях растреплет зима.

(«В горском селеньи»).

Мы вместе с поэтом замечаем, что

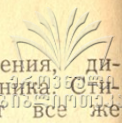
Ястреб канет в небеса,
Как упавший в море камень.

(«Вечер»)

А вот строчки из прекрасного стихотворения «Капля», которое по недостатку места нельзя процитировать полностью:

Желанья выдают меня,
Как окна
Маленькую комнату...

Я за надежду так держусь,
Как капелька
За ветку держится...



Вообще совершенное отсутствие интонаций поучения, дидактики, декларативности характерно для всего сборника Стихотворения хотя и разделены заглавиями, составляют все же единый лирический поток, своего рода исповедь, в которой одно стихотворение как бы вытекает из другого, в которой доверительная взволнованность и сердечная открытость делают поэта необычайно близким читателю. Так что мы имеем дело с книгой мастера, чье дарование предстало в ней окрепшим, самобытным, созвучным нашему времени.

Много в книжке стихов о любви. И это замечательно. Ведь в стихах на эту интимнейшую тему необходимо быть предельно искренним, откровенным, многие же поэты стесняются этой темы. А ведь любовь — основа поэзии, мы как-то забываем об этом подчас.

Хотелось бы пожелать поэту большего присутствия цветовой гаммы в его стихах. Цвета им порой не хватает. Думается, что не совсем органично для книги стихотворение «Небо», явно отдающее подражанием Андрею Вознесенскому.

В целом же сборник очень талантлив, и немалая заслуга в этом принадлежит переводчику Владимиру Шленскому, успешно справившемуся со своей нелегкой задачей.

Арсентий СТРУК

И БЫЛИ ЛЮДИ ТОЛЬКО ЕДИНЫМ НАРОДОМ...

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК
БРАТЬЯ УЗНАЛИ
ДРУГ ДРУГА

Н Е от самого ли сотворения мира повелось так? Во всяком случае, с момента появления человека на земле жизнь его разделилась на две части, к сожалению, всегда неравные, — на войну и мир. К несчастью, в длинном возрасте человеческого общества доля мирных лет очень мала. Ученые подсчитали: только за последние 5500 лет на земле происходило 14500 малых и больших войн, или 2—3 войны каждый год. В этих войнах погибло три миллиарда 640 миллионов человек. Другими словами, почти столько же, сколько составляет ныне население нашей планеты. А ведь речь идет только о войнах, о которых сохранились сведения в анналах истории.

Неспокоен человек и в короткие интервалы мира. Он или готовится к новой войне или поглощен заботами о ее предотвращении. К его великому прискорбию, с последним он справляется далеко не всегда. И в час нового кровопролития человек тщетно надеется пытливым умом своим докопаться до заветной истины: почему так повелось, что испокон веков люди убивают друг друга, народы скрещивают мечи на поле брани, и что нужно сделать, чтобы покончить с этим навсегда?

В эти же печальные раздумья погружен и герой лежащей перед нами небольшой повести. Молодой крестьянин, он всю жизнь не выпускал из рук плуга и оружия, оружия и плуга. Пахал и сеял. И защищал родную землю. И сейчас, перед боем с отрядом, который идет к его родному очагу, он вспоминает предание, услышанное еще в детстве.

В спокойном хладнокровии перед неравной схваткой он рассказывает своему новому другу, верному товарищу по оружию: «Говорят, давным-давно, задолго до Исы и Мохамеда, народ жил далеко за морем, где-то в Аравии. Он делился на восемь племен. Захотев увидеть мир, племена разошлись кто куда. Так говорится и в коране: и были люди только единым народом, но разошлись. Племена потеряли друг друга и, встречаясь, не узнавали, думали — чужие и воевали, как с чужими...»

«...И были люди только единым народом, но разошлись». Эти слова поставлены эпиграфом к исторической повести М. Лохвицкого (Аджук-Гирея) «Громовый гул».

Версия молодого крестьянина для писателя, конечно, не объяснение причин возникновения войн. Но предание художественно оттеняет одну из ценных мыслей повести.

Марксизм-ленинизм различает два рода войн — справедливые и несправедливые, учит, что в каждом конкретном случае войну нужно оценивать по характеру и движущим силам. Если взять в целом, справедливой была борьба народов Северного Кавказа против национально-колониальной политики царизма, рассматриваемая историками как часть освободительной борьбы народов России. Борьба эта была долгой и кровавой. История ее полна драматических событий и героических страниц. Но, как отмечает автор послесловия к повести «Громовый гул» известный писатель-историк Ю. Давыдов, это обстоятельство еще раз подтверждает противоречивость и сложность истории. «История — это жизнь, пусть и протекшая, а не инвентарь музеев, пусть и прекрасных. А жизнь, как известно, не однозвучна, не одноцветна, не однозначна, — пишет Ю. Давыдов. — Но история — это и высота. Высота, позволяющая обозреть широкую панораму. Обозревая, не следует надевать ни розовые, ни темные очки, а если уж пользоваться оптикой, то с чистыми стеклами».

Через чистые стекла, т. е. при объективном взгляде на факты, и с высоты истории особенно глубоко воспринимаешь смысл и справедливость слов Энгельса о том, что Россия «играет прогрессивную роль по отношению к Востоку». Предпосылки включения Кавказа в целом в состав Российского государства, прогрессивные последствия этого исторического акта, а также первопричины Кавказской войны в последние годы успешно исследуются советской исторической наукой. Что же касается художественной литературы, она, за редкими исключениями, все еще предпочитает стороной обходить эту тему. Работы, в которых были бы представлены все силы, все слои населения, вовлеченные в борьбу, показывали бы войну как всенародную трагедию, трагедию обеих сторон, — большая редкость. Вот почему «Громовый гул» привлёк внимание широких читательских кругов, хотя он и не охватывает все стороны вопроса.

В повести Лохвицкого выделяется одна весьма важная линия, одна очень благородная и справедливая мысль. Это раскрытие исторической истины о том, что несмотря на козни стоявших у руля государственной власти, несмотря на официальную установку натравливания одних народов на другие, чувство протеста против несправедливости, борьба за счастье и лучшую долю всегда сплачивали трудовой люд, независимо от национальной принадлежности. Классовая солидарность, интернациональное единство трудящихся — так именуется это великое дело.

¹ Впервые повесть была опубликована в 1977 г. и после этого дважды переиздавалась.

Повесть обладает еще одним примечательным свойством. Она служит серьезным возражением против фальсификаторов истории, поднаторевших в клевете на русский народ, против тех, кто изображает Кавказскую войну как национальную войну русского народа против народов Кавказа.

Правда истории не терпит не только искажения, но и упрощения. Писатель не упускает из виду многосложности вопроса. Потому-то так ярко открываются читателю различные грани этой правды. Здесь самое место вернуться к диалогам о войне между молодым крестьянином, который всю сознательную жизнь не выпускал из рук плуга и оружия, оружия и плуга, и его новым товарищем.

Молодой пахарь и воин из шапсугского племени Аджук, его новый друг Якуб — основные герои повести.

Оказывается, не просто из-за интереса к прошлому Аджук взволнован тем обстоятельством, что в давние времена, как он рассказывает, люди, бывшие единым народом, разошлись по миру, став разными племенами, потом не узнавали друг друга и воевали между собой. «Ты ведь тоже не узнал меня, когда мы встретились, и я тебя тоже», — сетует он, обращаясь к другу. «Но мы все же узнали друг друга». «Ты хорошо сказал — мы все же узнали друг друга». Далее следует резюме Аджука, являющееся своеобразным толкованием вопросов войны и мира: «Люди забыли, что они единый народ, пока не вспомнят, мира на земле не будет».

Все это могло бы показаться праздною философией на досуге, но беседа проходит на фоне суровой действительности, при самом тесном сплетении войны и мира, и оборвет ее сигнал о приближении войск к аулу. А через несколько часов оба окажутся в кровавом клубке бессмысленной бойни.

«Громовый гул» — повесть о сыновьях человечества, рожденных в разных племенах, но сумевших соединиться в единую силу, чье имя — народ. О двух братьях, сумевших открыто посмотреть друг на друга сквозь пелену годами устоявшейся враждебности, протянуть друг другу руки через плотную стену, возведенную между их племенами.

Если вспомнить о силах, подпиравших эту стену с обеих сторон, то не так-то просто было героям Лохвицкого оказать вместе. Писатель далек от облегченного толкования такого далеко не рядового в ту пору движения людей навстречу друг другу. Он не скрывает сложности и даже исключительности этого процесса. И утверждает его не декларациями, не констатацией конечных результатов, а в развернутых действиях. Перед нами оказываются события и человеческие судьбы, вовлеченные в трагическую круговерть суровой действительности. И какими бы разными они ни были изначально, в них обнажается немало общих свойств, когда их перемалывают неумолимые жернова истории. Ибо какие бы силы ни раздирали человечество на части, как бы ни противоборствовали страны и народы, в людях остается что-то такое, что, если еще раз вспомнить легенду Аджука, не дает им забыть, что они все-таки из единого племени. Какие бы бури ни свирепствовали над планетой, люди сохраняют свойственные только им

черты, подобно тому, как разверзшиеся материка миллионы лет хранят у противоположных берегов океана геологические приметы и очертания некогда единой земли. Для Якова было очень непростым делом преодолеть путь через этот океан, когда его потянул магнит противоположного берега. Но когда наступило прозрение, когда ему открылась жестокая истина, он решительно шагнул вперед, с открытым лицом приняв приговор суда собственной совести.

...Яков Кайсаров — «молодой человек дворянских кровей, с детства лелеял одну высокую, как повелось считать среди верноподданных, мечту: стать офицером и отправиться на Кавказ. Нет, не потому, что он жаждет крови. И даже не оттого, что влечет служба на Кавказе, которая давала молодому офицеру скорейшую выслугу и ряд других преимуществ, словом, сулила верную карьеру. Стремление его выглядело очень чистым и привлекательным, если смотреть на него глазами тогдашней официальной России. Яков Кайсаров убежден, что участие в покорении «диких племен», «разбойников-абреков», «басурман—людей магометанской веры» — почетный долг каждого русского патриота и православного. Позже, увидев, как ни казаки, ни русские мужики не хотели селиться в местах, отсюда были изгнаны горцы, он поймет, что и в дни его юности, и раньше по-другому смотрел на все это русский народ, а затем отметит в своих записках: «Разговоры о том, что захватить Кавказ было исконной мечтой русского народа, — гнусная ложь. Монархи всегда прикрывают свои гнусности ссылками на исполнение ими мечты и воли народа».

После окончания кадетского корпуса Яков Кайсаров оказывается участником истребительных экспедиций, наблюдает жизнь офицеров и солдат, и ему открывается вся преступность царской политики в крае, в его душу закрадывается сомнение. Окончательное смятение в его мысли вносит трагедия горцев, переселяющихся в Турцию. Кайсаров случайно становится свидетелем того, как тысячи горцев в бесчеловечных условиях умирают на берегу моря. Тихо умирали, угасали целые семьи. Умирали от полной безысходности, от крайнего отчаяния.

Надо сказать, что эти эпизоды повести написаны с потрясающей силой. Увиденное производит на молодого офицера удручающее впечатление. Он становится близок к умопомешательству. Разница между тем, каким ему представлялась война на Кавказе, и тем, какую она оказалась на самом деле, рождает в нем крайнюю злость на самого себя. Кайсаров решает наложить на себя руки; от этого его спасает встреча с юношей-горцем, поэтом, оплакивавшим умирающих у моря переселенцев.

Такова жизненная драма Якова Кайсарова, составившая сюжет повести М. Лохвицкого.

Дальше с ним происходит то, что нередко имело место в ходе Кавказской войны. Вместе с юношей-певцом Кайсаров идет в шапсугский аул. Горцы радушно принимают его в свое общество, помогают построить дом, обрести семью, покой. Здесь Кайсаров находит друзей, любовь. И получает новое имя —

1910333

Якуб. Сердечность, радушие, трудолюбие горцев, их любовь к родной земле, чувство собственного достоинства, высокое понятие о чести и долге, так резко выраженное у простых жеников, окончательно покоряют Кайсарова. Вот почему вместе с новыми братьями, которых он «узнал» и которые его «узнали», он становится на защиту аула от тех же самых войск, в чьих рядах начал офицерскую карьеру.

Но маленький аул, конечно, не мог противостоять хорошо обученным и вооруженным регулярным войскам. В бою погибают все близкие друзья Якуба, любимая жена. Сам он в тяжелом состоянии вновь попадает в руки своих же бывших сослуживцев.

Это был день окончания Кавказской войны. Победители ликуют. В армию приехал сам главнокомандующий — великий князь Михаил. Ему доложено, что поручик Кайсаров находился в плену у горцев — решено скрыть, что офицер, дворянин стал изменником. И поручика принимают обратно со всеми почестями. Но Кайсаров отвергает все. Он теперь знает, где правда, а где ложь. Он теперь узнал своих братьев. И из его памяти не выходят картины их гибели, жестокого истребления аульчан. «Вы — людоебийца», — бросает он в лицо великому князю, пожелавшему побеседовать с «героем-поручиком».

Резкий поворот в мыслях и действиях Кайсарова, по сути дела его новое рождение, могли бы омрачить впечатление от повести банальной схематичностью, что нередко бывает в таких случаях. Но этого не происходит. Превращение героя из воинствующего верноподданного в противника самодержавия обрисовано автором убедительно. Оно протекает, как отмечалось выше, под влиянием весьма впечатляющих обстоятельств. В сущности, прозрение Кайсарова началось сразу же после прибытия на Кавказ. Во многом способствовала этому история с «кавказской дуэлью» с одним из офицеров полка, которого Кайсаров вызвал, заподозрив его в неуважении к царствующей фамилии.

Когда падает пелена с глаз, Кайсаров узнает многое. Через восприятие новообращенного Кайсарова обрисованы сложные схемы расстановки классовых сил в обществе, другими словами — подчеркивается классовый характер истории, именно с классовых позиций рассматриваются знаменательные исторические факты, ретроспективно отраженные в повести — такие, как добровольное присоединение Кабарды к России, изгнание шапсугов своих феодалов, которые затем обратились за помощью к Екатерине II, и др. Кстати, русская царица дала этим феодалам казаков и артиллерию для расправы с собственным народом. Угнетатели в таких случаях всегда находили общий язык. В записях Кайсарова упоминаются и фамилии горских феодалов, участвовавших в рядах завоевателей в войне против своих народов. Прав писатель и тогда, когда одну из причин столь поспешного уничтожения царским правительством причерноморских черкесов видит в том, что демократический общественный строй шапсугов, абадзехов и других адыгских племен, лишивших своих дворян всяких привиле-

гий, оказывал определенное воздействие на русских людей («Вольный образ их жизни, — записывает Кайсаров, представлявший великий соблазн для русского раба-мужика по-видимому, угрозой для монархии»).

Примечательно и то, что в повести Кайсаров далеко не единственный перебежчик к черкесам. В ней фигурирует и рассказ о смерти поляка Штефана Высоцкого, ставшего у шапсугов Алецуком. Участников неоднократных польских восстаний царское правительство ссылало в Кавказскую армию. Известно много случаев, когда они целыми группами переходили к черкесам.

Словом, произведение М. Лохвицкого проникновенно повествует о силе единения и братства людей различных национальностей, которые вместе с русским народом вели борьбу против российского самодержавия («...Я люблю Россию, я ненавижу только вашего царя», — горячо и взволнованно говорит умирающий Высоцкий).

И, наконец, то, с чего мы начали. «И были люди только единым народом, но разошлись...» Эти слова часто звучат в ушах Кайсарова и через много лет. И спустя долгие годы он не может не содрогаться при воспоминании о разгроме аула, о гибели жены, других дочерей шапсугов, «которых природа сотворила красавицами». «Так можно ли примириться с тем, что красота была убита, что красоту будут убивать вновь и вновь?» Нет, нельзя с этим мириться. И мы, идущие в авангарде борцов за мир, с особенной теплотой воспринимаем сегодня желание героя Лохвицкого крикнуть всем людям, что они должны «узнать друг друга».

Повесть построена в виде записей воспоминаний Кайсарова, уже несколько лет находящегося в Сибири по приговору. Он сам настоял на том, чтобы его судили как изменника, выразив этим не только верность избранному пути, но и протест против кощунства и фарисейства, с которыми столкнулся, вновь оказавшись в своем полку. Такая форма дала автору возможность использовать документы, ставшие достоянием гласности уже после описываемых событий, включить в повествование факты, имевшие место в последующие годы. Правда, если мерить законами жанра, такой прием может и озадачить. Но не это главное. В подобных случаях авторская мысль, авторские концепции главенствуют над эстетикой жанра. Если говорить конкретно о «Громовом гуле», то надобно заметить, что в незначительный объем повести втиснуто многовато ссылок на документы и исторические факты. Некоторые из них вообще не развернуты в художественном порядке, хотя драматическая напряженность сюжета от этого не ослабевает.

Но вот, чтобы связать эти документы с трагедией, с чаяниями адыгов в изображаемый период, — на это требуется определенная художественная изобретательность. И такая изобретательность в повести налицо.

Вернемся еще раз к диалогу между Якубом и Аджукком. С записями воспоминаний Кайсарова об этой памятной беседе перед смертельной схваткой с царскими войсками логически увязана «услышанная мною от очевидцев совершенно достоверная история» о том, как черкесская депутация посетила в

1861 году ставку приехавшего на Кавказ императора Александра II. Депутация просила прекратить военные действия, не изгонять мирных жителей, не разрушать аулы, не вырубать леса и сады. Ответ «всемиловитейшего царя-освободителя» был краток: «Выселиться, куда укажут, или переселиться в Турцию».

Здесь мы вновь сталкиваемся с темой другой трагедии горцев — переселением в Турцию, с темой, которая все еще остается почти нетронутой в художественной литературе. Своеобразно раскрывается эта тема в широко известном романе абхазского писателя Баграта Шинкубы «Последний из ушедших», где главным оказывается возможность оценить с сегодняшних наших высот правильность выбора народом исторической судьбы.

Об этом же думаешь, прислушиваясь к спору Якуба и Аджук: что важнее в их мыслях — тревога за будущее народа или поиски достойного выхода из создавшейся ситуации, пусть даже ценою жизни. Да, одни уезжали в Турцию, оставляя родную землю, другие за эту землю умирали с оружием в руках. Но ведь были и такие, кто соглашался переселиться на отведенные им места. «Не дальновиднее ли последние, не окажутся ли они в будущем мудрее нас, ибо хотя бы часть изъязвивших покорность сохранит свои жизни и жизни своих потомков?» — так рассуждает Якуб.

Фактически так оно и оказалось. Те, которые переселились, сохранили край, нацию, имя ее на карте. Вместе с другими народами бывшей Российской империи прошли путь революционного обновления и социального прогресса, вместе с другими стали частью новой исторической общности, имя которой советский народ. Утверждение читателя в этой мысли — очень сильная сторона повести М. Лохвицкого.

Однако суров и немилосерден жребий истории. Достоин ли отважных, гордых людей смирение и жизнь на коленях? Легко ли свободолюбивому народу выбрать покорность? «Твои слова о мудрости поднимающих руки ради жизни правников коварны, — возражает Аджук своему другу. — Раз став на колени, легко привыкнуть к ползанию... Я знаю одно: человек должен защищать свою саклю, а народ — свою землю. Так было, так есть и так будет!».

Мы сделали эти пространные выписки из диалога потому, что в них легко вычитывается то главное, во имя чего и Аджук и многие другие горцы предпочли умереть, отстаивая каждое селение, каждый дом.

Конечно, ни Аджук, ни его друзья не могли указать в то время своему народу верного пути. (К сожалению, в повести эта идея осталась лишь намеченной). Тому множество причин. Одна из них та, что в ту пору братьев, узнавших друг друга, было еще очень и очень мало.


Хачим КАУФОВ

Симон ДЖАНАШИА

ГРУЗИНКА В ЭПОХУ РУСТАВЕЛИ

Роль женских персонажей в бессмертном творении Руставели, культ женщины и возвышенной свободной любви, как один из основных сюжетных мотивов и важнейшая тема романа, заостряют внимание на общем положении женщины в грузинском обществе эпохи поэта. В сложной иерархии этого общества феодальная историография полнее всего освещает высшую ступень. Здесь очевидна значительная активность женщин из царской семьи грузинских Багратионов. Уже Гурандухт, мать Баграта III (978—1014), первого монарха объединенной Грузии, выступает в первом периоде этого царствования, как соправительница. Вдовствующая царица Мария, мать Баграта IV (внук предыдущего), лично отправившись в Константинополь, добивается у кесаря мира и почестей для своего царственного сына. Сестра Баграта IV, Гурандухт, «женщина совершенная и бесподобная», становится регентшей-государыней, когда ее брат вынужден оставить царство, капитулируя перед феодальной знатью. Возвращение царя к власти трактуется летописцем как плод инициативы той же Гурандухт. Дочь Баграта IV, Марта, переименованная по византийскому обычаю в Марию, жена императора Михаила VII, о которой Анна Комнена (визант. царица-писательница) с восторгом говорит, что «ничего подобного ей по красоте не создавали ни Аппеллес, ни Фидий», играет большую роль в политической жизни Византии в конце XI в. Сокращая этот список, укажем на тетку Тамары, Русудан, пользовавшуюся, по-видимому, значительным влиянием на государственные дела в начале царствования Тамары, и на самую Тамару (Тамар). Эта государыня, в знак самодержавия носившая титул царя («ме-

Статья написана в 1937 году по заказу газеты «Известия» в связи с 750-летием со дня написания «Вепхисткаосани».



пе»), а не царицы («дедопали»), опоясанная мечом в качестве верховного полководца, соединявшая в своем лице главу могущественнейшего государства с женщиной, блистающей примерной красотой, естественно превращается феодальной общественностью в предмет обожания, будучи украшена такими эпитетами, как «богоравная», «четвертое лицо св. троицы» и т. д. Летописец, автор восторженного панегирика Тамар, в поэтической гиперболе повествует, что при жизни царицы «уста грузин произносили лишь — «Тамар!»; ибо на домах в форме акростиха писали оды Тамаре, и похвалу ей чертили на перстнях, и украшая ножи и посохи, надписывали на них что-нибудь, восхваляющее Тамар. И уста всех готовы были совокупно изречь слово, достойно величайшее Тамар. Отроки, погонщики волов, рассекая борозды, слагали хвалебные стихи Тамар. В Ираке играющие на гусях и арфе музицировали хвалу ей. Мореходцы франки и ромэи, при тихом ветре, восхваляли ее. Так-то весь мир был исполнен ее хвалой, и всяк язык, куда только слух о ней достигал, славословил ее». Действительно, мы знаем, что в Византии возникает поэма (сохранившаяся в древнерусском переводе) о царице Динаре, в которой легко узнать Тамар, а Иван Грозный, у стен осажденной Казани, ободрял свои войска напоминанием о славных делах иверской царицы Динары против «бусурман». Естественно думать, что представление о Тамар, витало в душе Руставели, когда он чеканил свои женские образы. Укажем наконец, на дочь Тамар, Русудан (1222 — 1244), царствующую в трудные годы первого монгольского завоевания, чрезвычайно интересную личность, хотя ее биографию и несколько скандализировали позднейшие, склонные к сплетне, летописцы.

Несмотря на то, что о женщинах других слоев общества мы знаем меньше и что феодальное земельное право действовало здесь ограничивающим права женщины образом, и тут мы видим весьма характерные явления. Знаменательно, что в один из самых важных моментов истории феодальной Грузии, когда решался вопрос коренной реформы государственно-го строя в сторону учреждения феодального парламента, к вооруженным повстанцам, подступившим к царскому дворцу с требованием освободить арестованного ранее того вождя этой радикальной политической партии, Тамар высылает для переговоров «двух почетных княгинь», которые с искусством выполняют поручение Тамар.

Эмансипация (в феодальных рамках) грузинки была следствием многих причин; из них укажем на: а) рост феодализма, высвобождавшего женщину из-под гнета отношений и представлений рабовладельческого общества; б) чрезвычайную живучесть традиций матриархального строя, доведенного грузинскими племенами до высшей ступени развития; эти традиции, в качестве формальных пережитков, оказывали сильное влияние на феодальные отношения; в) новые элементы, появляющиеся к концу классического периода и начинавшие разлагать сами феодальные отношения.

Несмотря на скудость источников, мы имеем немало фактов, подтверждающих процесс все большего высвобожде-

ния женщины и взаимоотношений между полами из-под ^{одежды} церковного ханжества и общественного консерватизма. Даже в литературные произведения церковного характера ^{проблема} вносятся сообщения о «свободных» романах. Вот история Зенона (конец VIII в.), желающего убить человека, соблаздившего его сестру, но отказывающегося от своего намерения по тому мотиву, что любовник стоял социально ниже Зенона. Зенон оставляет все свое имущество сестре, а сам уходит в монастырь. Получается впечатление, что Зенон хуже мирится с происхождением обольстителя, чем с самим фактом «прелюбодеяния». Вот куропалат Ашот (нач. IX в.), владетель Кларджети (в Чорохской долине), полюбивший одну «блудницу» (по терминологии церковника) «чрезмерно», будучи «порабощен страстью до потери самолюбия», потеряв ее (возлюбленную у князя отнимают монахи), восклицает «от сердечной боли: блажен человек, который более не жив». Вот Бирилла, жена куропалата Адарнесея: она постриглась в монахини, потому что муж полюбил другую, а ее выдворил из дому; несмотря на такое оскорбление, просящему у нее прощения, тяжело заболевшему мужу она посылает сказать: «Клянусь Христом, никогда из моих уст не исходило слово проклятия, и его я также не проклинала». Вот крупный феодал Чорчанели (IX в.), рано потерявший жену, но до конца жизни никогда больше не пожелавший «соединиться с другой супругой». Вот Яков, отец знаменитого грузинского церковного деятеля Георгия Афонского: попав случайно в один дом и пленившись красотой и женственностью хозяйской дочери, которая, следовательно, свободно выходила к совершенно незнакомому гостю, Яков женился на ней и поселился здесь же. Еще более интересна история сына Тамар, Георгия Лаша: будучи уже самодержцем, он безумно влюбился в жену одного своего дворянина, отнял ее у мужа и сам женился на ней. Когда же всемогущий «дарбази» (феодальный совет) признал этот брак незаконным и разлучил влюбленных, царь Георгий остался навсегда верен своей возлюбленной и не захотел больше жениться.

Возникающая на почве новых общественных отношений, в частности половых отношений, идея равноправия полов рано начинает просачиваться даже в церковную литературу.

Так, один литературный памятник IX в. проповедует: «Не мужчины и не женщины, но все вы равны».

«Равноправие» в феодальном значении в некоторых сферах жизни переходит даже в преимущественное право и влияние женщины, нравственного, конечно, главным образом, характера. Для иллюстрации укажем на рассказ известного арабского историка Ибн-Аласира: в 1162 г. грузины из г. Двина привели к себе на родину много пленных мусульман и, чтобы надругаться над ними, совершенно оголили их; но грузинки решительно запротестовали и спасли от позора несчастных.

Из всего видно, что женщина в Грузии XII в. чувствовала себя много свободнее, чем во многих других феодальных странах, не говоря уже о мусульманских. Это положение грузинки эпохи Руставели имело и свое экономическое основание: хотя общее феодальное земельное право и ограничивало, как всюду,

власть женщины над землей в сравнении с мужчиной, однако женщина в Грузии не была лишена своего имущества, в частности недвижимого — земли: наряду с основной категорией — «мамули» — вотчиной, существовали и земли — «дедули», буквально «(полученные) от матери», наследуемые по женской линии, главным образом путем приданого. Земли, полученные в приданое, «мзитиви», находились в особо привилегированном положении и составляли объект более свободного распоряжения владельцев, чем чисто феодальные земли. Значительным ростом имущественных и общественных прав женщины мы и объясняем одно чрезвычайно любопытное явление, наблюдаемое в области патронимистики (фамильных имен): древнейшие фамильные имена имеют форму, обозначающую общинно-родовые и корпоративные группы (окончания — иани-овани, -ши, -ти, -ури и пр.). С развитием феодальных отношений возникают новые формы фамильных имен, образующихся посредством присоединения в конце слова частицы «дзе», что в древнегрузинском имеет значение только «сына», — явное последствие преобладающего значения мужского, отцовского, права, в частности в области земельных отношений. Но с ростом значения женщины и женского, материнского, права подобная огласовка фамилий явно уже не может вместить нового общественного и имущественно-правового содержания: наблюдается очень интересная попытка придать слову «дзе» значение вообще «дитяти» (так, в частности, и у Руставели), что совершенно необычно с точки зрения семантики древнегрузинского языка, но вследствие неудачи (судя по общему развитию языка) этой попытки частица «дзе» заменяется в фамильных прозвищах словом «швили», что как в грузинском, так и в других картвельских языках всегда означало именно «дитя», «детеныш». Таким образом, история развития грузинских фамильных имен отражает историю развития социально-экономических отношений в феодальной Грузии.

Понятно, что схематически обрисованные тут общественные отношения послужили условием для революционного поэтического акта Руставели, когда он феодальный долг вассала подчиняет общечеловеческому долгу влюбленного...

Паата НАЦВЛИШВИЛИ

СКРИПКИ НА СТЕКЛЕ ИЛИ ХВОСТ ЛЕОПАРДА

Хозяин протянул руку и пригласил пройти в темную комнату. Заодно извинился, здесь, мол, один стажер из Киева над чем-то чудит, не будем ему мешать. Мы сделали несколько шагов, он открыл дверь и провел меня в другую комнату. Здесь никто не чудил. На стене висело громадное вогнутое зеркало, какое обычно бывает на лбу у ларингологов. Рядом с зеркалом стоял лазер. Я понял это в тот момент, когда заведующий лабораторией нажал на какую-то кнопку, и красный луч света уперся в противоположную стену. Комната была заполнена незнакомой для меня аппаратурой и множеством каких-то приборов и инструментов; окон в ней не было. На столе лежали стеклянные пластины. Они показались мне грязными. Завлаб взял одну из них, нацелил на нее лазерный луч, потом погасил в комнате свет и сказал: «Ну-ка, посмотри отсюда». Я знал, что увижу какое-то чудо, но увиденное превзошло все мои ожидания: с той стороны стеклянной пластинки на меня смотрело чужое лицо. Это не был ни стереоэффект, ни обман зрения. Это было настоящее трехмерное изображение. Я мог детально изучать лицо со всех сторон, для чего надо было лишь слегка изменить угол зрения. Изумленный, я долго стоял перед этим чудом. Но самым удивительным было ощущение, что лицо существовало позади стеклянной пластинки само по себе, парило в воздухе, ни на что не опираясь. Наверное такое же чувство было и у тех, кто смотрел на первые дагерротипы или присутствовал на первых сеансах синемаатографа.

— Это старая голограмма и ее восстановление без лазера невозможно. Голограммы же нового типа видны и при обычном освещении, — объяснил мне завлаб и нажал на кнопку.

1975
1033

Световой пучок высветил скрипку. Это была не скрипка. Это была голограмма скрипки. А впечатление создавалось такое, будто она лежала в стеклянной коробке. На второй пластине появились грузинские кинжалы. На третьей — иконы, потом снова скрипки, дальше выплыли серебряные украшения, а я никак не мог свыкнуться с мыслью, что этого всего не существовало. Изображение было удивительно материальным, и я был уверен, что смогу дотронуться и до скрипки и до кинжала. Но когда искушение оказалось сильнее меня и рука коснулась пластины, пальцы ощутили прохладную, гладкую поверхность стекла. Завлаб перевернул голограмму, и теперь скрипка оказалась перед пластиной. Я снова протянул руку и вновь почувствовал прохладу стекла, но с той разницей, что на сей раз рука прошла сквозь всю толщу скрипки (не знаю, брать ли слово «толщу» в кавычки).

Растерянный, я оглядел комнату, пытаюсь увидеть что-нибудь материальное, но на глаза попадались лишь мутные стеклянные пластины. Однако теперь я уже знал, что каждая из них таила в этой «мути» чудо. И вообще, эта лаборатория была для меня столь же необычной и экзотической, как имя и фамилия ее заведующего: Шермазан Какичашвили.

Имя Шермазан я никогда прежде не слышал. А что касается фамилии, то она мне уже встречалась однажды: несколько лет назад я написал небольшую рецензию на фильм «Жил певчий дрозд» и хорошо помню, что одним из соавторов сценария был Ш. Какичашвили. Тогда мне и в голову не могло прийти, что «Ш. Какичашвили» окажется именно тем самым Шермазаном Дмитриевичем Какичашвили, кандидатом физико-математических наук, заведующим лабораторией оптических исследований Института кибернетики АН Грузии.

Эта лаборатория была основана по инициативе Шермазана Какичашвили в 1964 году. Подобных ей в Советском Союзе всего лишь несколько, а за исследованиями, проводимыми здесь, следят многие ученые всего мира.

Меня сюда привела немногим ранее опубликованная в прессе заметка. ТАСС сообщало, что «в Государственном комитете СССР по изобретениям и открытиям под номером 214 было зарегистрировано открытие Шермазана Какичашвили — «Явление воспроизведения волновой картины электромагнитного поля». Это первое официально зарегистрированное открытие грузинских исследователей. К этому факту, вызвавшему профессиональный интерес, добавилось еще и личное любопытство, и я решил написать об авторе открытия очерк. Но мои знания о голографии ограничивались несколькими газетными и журнальными статьями, да и сами голограммы я видел-то всего три штуки: одну — в доме у моего друга Васико Барнова еще в студенческие годы, и две — на американской фотовыставке в 1977 году. Вот и все. Само собой разумеется, что являться к Шермазану Какичашвили с таким запасом знаний было не совсем удобно. Однако популярной литературы о голографии почти нет.

И хотя я знал, что многого не пойму, все равно просмотрел несколько книг о голографии и заключил, что грузинский

ученый пользуется заслуженным авторитетом не только среди советских, но и зарубежных коллег. Кроме этого открытия ему принадлежат более 30 изобретений, он является также автором около 70 научных статей. В капитальном труде «Голография: методы и аппаратура» под редакцией Веры Гинзбург и Бориса Степанова рассмотрен метод создания круговой голограммы, который принадлежит Шермазану Какичашвили. Именно в Тбилиси и именно под его руководством была создана первая в мире круговая голограмма, где изображение объекта, в отличие от обычной голограммы, угол зрения которой всего 180 градусов, является оптически точной его копией.

— Круговая голограмма гораздо более экзотична и, к тому же, в практическом отношении у нее гораздо больше перспектив, — сказал мне Шермазан Дмитриевич и, чтобы дать представление о круговой голограмме, популярно объяснил: — Это коробка из-под торта, но только прозрачная и внутри вместо торта — какое-нибудь изображение.

Потом я увидел и саму круговую голограмму. Это был автопортрет ученого, высеченный на пластине лучом рубинового лазера. Портрет был сделан в 1971 году и на нем почти не видна седина Шермазана Какичашвили, так прибавившаяся за последнее время. Удивительно: можно крутить «коробку из-под торта» и смотреть на лицо, вернее, на голову, откуда тебе вздумается, можно повернуть голограмму так, что кроме затылка ничего не увидишь, а если слегка приподнять ее на цыпочки и посмотреть сверху вниз, то можно увидеть застегнутый ворот сорочки и неправдоподобно «живую» прозрачную пуговицу. Я, наверное, не смогу передать весь эффект, вызванный круговой голограммой. Описать это невозможно. Все это нужно увидеть собственными глазами!

Первую круговую голограмму — маленькую игрушечную лошадь — Шермазан Какичашвили снял в 1966 году. Это был венец трудной и напряженной двухлетней работы. В кабинете ученого висят фотографии его первой голограммы. Это простейший и частный ее тип — двухмерная голограмма: на верхнем фото изображен сам объект — кадр из детского диафильма «Красная шапочка», в середине — голографическая запись этого кадра, на которой можно лишь смутно различить изображение, и то только потому, что знаешь, что на ней должно быть изображено. На последнем же снимке — восстановленная голограмма, которая почти не отличается от оригинала. Она была снята в 1964 году и является первым серьезным достижением лаборатории. Да и не только лаборатории, фактически это была одна из первых голограмм в мире, открытие, которое почему-то попало в закрытые научные отчеты и только поэтому не было зарегистрировано и обнародовано. Эта голограмма тем более примечательна, что она снята без лазера, ртутной лампой, свет которой был «очищен» с помощью монохроматных фильтров и особых отверстий.

Над письменным столом ученого — детские рисунки его дочери и сына — Эко и Мито (оба они сейчас студенты-физики). Здесь же прикреплен вырезанный из какого-то журнала

симпатичный афоризм: «Не хватай за хвост леопарда, а если схватил — не отпускай».

Я думаю, что именно эта экзотическая мудрость является ключом к характеру Шермазана Какичашвили — ученого и человека. А ключ, как известно, существует и скрипичный, и скрипка не случайно стала одной из основных тем в голограммах Шермазана Дмитриевича, — он скрипач! Если впервые войдя в комнату, я решил, что лежащий на полке инструмент — просто удобный для изображения предмет, то постепенно он стал обретать свой изначальный смысл. И я представил: около трех часов ночи, когда в Институте уже никого нет и когда на пластине, положенной в проявитель, постепенно проступает «голографическая мать», усталый ученый осторожно достает из футляра скрипку и начинает играть. Музыцируя, он, наверное, отдыхает... Ему часто приходилось оставаться в лаборатории не только до трех ночи, но и до утра, и пришедшие на работу сотрудники удивлялись, что он так рано уже на месте.

Для своих коллег Шермазан Какичашвили — идеал истинного ученого и гражданина. Во всяком случае, я разговаривал с двумя молодыми сотрудниками лаборатории и оба охарактеризовали его так, как обычно в сказках описывают мудрых и смелых рыцарей. Не скрывали, что он умеет и сердиться, сердиться по-настоящему, по-мужски, а не брюзжать и надуваться. А когда я попросил их назваться, они сказали, что это не суть важно, что каждый сотрудник их лаборатории повторит то же самое.

Ученый подошел к окну и вытащил из портфеля небольшой сверток. В нем оказались яблоко и орехи. Орехи были очищены. Такой сверток каждый день готовят Шермазану мать и жена: кто знает, может, он в лаборатории останется до утра? Мать Шермазана Мариам Думбадзе и две ее сестры вырастили мальчика без отца: Дмитрий Какичашвили был выдающимся инженером и крупным партийным работником...

— Угощайтесь, — Шермазан Дмитриевич придвинул ко мне раскрытый сверток.

Я поблагодарил.

Потом разговор зашел об университете. В этом году на физическом факультете впервые была открыта специальность квантовой электроники. И в этом же году был впервые прочитан курс голографии. Вступительную лекцию этого курса в упрощенном варианте я и прослушал в тот день. Хотя беседа мало походила на лекцию, так как я постоянно прерывал лектора слишком дилетантскими вопросами, которые для специалистов были, видимо, из категории: почему у машины четыре колеса. Но он отвечал, спокойно и четко, удачно подбирал наглядные примеры и интересные модели, и вскоре мне многое стало понятно.

* * *

Сегодня всем известна общая схема фотографирования: объект — линза — пленка. С помощью линзы собирается информация, идущая от объекта, и отпечатывается на пленке. Во время проявления же получаем двухмерное изображение.

А что произойдет, если из этой схемы убрать линзу? Опыты показывают, что никакого изображения на пленке не появится, она будет покрыта только серыми пятнами. Но ведь ~~это~~ спорно, что информация и без помощи линзы доходит ~~до~~ и отпечатывается на пленке. Просто необходимо найти путь, который позволит прочесть эту зашифрованную информацию. Первые опыты в этой области начал проводить в конце 40-х годов Денис Габор, английский ученый венгерского происхождения, считающийся отцом голографии. Габор работал над усовершенствованием электронного микроскопа и в мае 1948 года опубликовал статью, в которой определены новые методы записи и восстановления волнового фронта и за которую спустя четверть века — в 1971 году была присуждена Нобелевская премия. Эта запоздавшая премия была всеобщим признанием не только Габора, но и самой голографии, в определении основополагающих принципов которой не менее значительную роль сыграли Юрий Денисюк, Эмет Лейт, Юрис Упатниекс и Шермазан Какичашвили. Сам термин «голография» принадлежит Габору. Это греческое слово означает «полную запись». Действительно, изображение на голограммах сохраняет всю визуальную информацию предмета и создает точность оригинала, чего нельзя было добиться старыми стереоскопическими методами. Но первые голограммы Габора никакого эффекта на зрителя не оказывали: теоретически на голограммах должно было быть трехмерное изображение, но на деле этот принцип оправдывался только по отношению к плоским предметам. Дело в том, что в то время еще не было соответствующего источника света — строго монохроматного (одноцветного) и когерентного (с упорядоченной фазой). И только в 1960 году после изобретения лазера стало возможным осуществление основной идеи голографии. Лазерный луч отличается от ранее известных искусственных и естественных источников света строгой монохроматностью и высокой когерентностью. С помощью лазера Габору удалось добиться еще не получившей трехмерной голограммы, но он никак не смог избежать двойственности изображения: на его голограммах по обеим сторонам пленки одновременно существовали оба изображения — настоящее и воспроизведенное. А ведь Габору достаточно было нарушить в какой-нибудь части его схемы симметрию, чтобы изображения сами по себе отделились друг от друга. В 1961 году такую асимметричную схему разработали в Мичиганском университете: американские физики Эмет Лейт и Юрис Упатниекс получили объемное изображение детского паровоза. Это была самая точная копия из всех ранее существовавших.

Для записи голограммы необходимо наличие двух световых потоков. В схеме Лейт-Упатниекса эти потоки параллельные. А в 1962 году советский физик Юрий Денисюк разработал метод записи голограммы посредством встречных потоков, что дает возможность прочтения голограммы при солнечном свете. Любое черно-белое, цветное или стереофото по сравнению с голограммой — лишь жалкий полуфабрикат, хотя в основе голографии, так же как и фотографии, лежит принцип фотохимического воздействия света на фоточувствительный

материал. Существенное различие заключается в безлинзовой системе, специфическом освещении и, как следствие этого, в довольно сложной схеме.

Во время записи голограммы лазерный луч посредством особого зеркала делится на два. Один, называемый опорным лучом, направляется прямо на пленку, а другой — объектный — на пленку попадает лишь после того, как отразится от предмета и рассеется. По схеме Лейт-Упатниекса оба луча падают на пленку с одной стороны, а по схеме Денисюка — с разных сторон. Вследствие взаимовоздействия лучей на пленке отпечатывается интерферограмма — картина взаимосовмещения правильного, то есть эталонного, и отраженного от объекта, или «искаженного» им, лучей. Это — невидимая глазу черно-белая линейная структура, которая после проявления оставляет впечатление «мути». Если проявленную пленку снова осветить эталонным лучом, восстановится второй луч, то есть восстановится отраженный от воспроизводимого предмета свет, который дает точное изображение объекта.

Методом фотографии, с помощью которой можно фиксировать только интенсивность света, невозможно записать третье измерение, так как информация об объеме заключается в световой фазе. Из основ оптики известно о волновой природе света и то, что его характеризуют четыре особенности: амплитуда, длина волны, фаза и поляризация. Совершенная голограмма подразумевает запись всех четырех особенностей и их последующее воспроизведение. Запись только интенсивности или амплитуды дает двухмерное изображение объекта, а если вместе с амплитудой записать и фазу, то получим объемное изображение, которое будет обладать всеми оптическими особенностями предмета, кроме цвета. Условно мы можем назвать его черно-белой голограммой. Условно потому, что лазерный луч никогда не бывает белым, и голограмма в большинстве случаев получается черно-красной. Впрочем, в объемном изображении с такой точностью переданы форма и фактура предмета, что человеческий глаз восстанавливает даже цвет. Это явление еще не объяснено детально, но ясно, что оно должно быть связано и с психологией зрения.

Теоретически идею одновременной записи амплитуды света и фазы разработал Габор, а практическое воплощение она получила у Лейта и Упатниекса. Третью характеристику света — длину волны — впервые записал Денисюк в 1962 году, после чего исчезла существующая визуальная разница между изображением и реальным объектом.

Для того чтобы окончательно установить основы голографии, необходимо было записать четвертую и последнюю особенность света. Правда, поляризация не воспринимается глазом, но имеет громадное значение в различных отраслях науки, техники и промышленности. Кроме того, ее голографическая запись была необходима для совершенствования самой голографии как метода. Над решением этой проблемы работали видные ученые всего мира, среди них был и Шермазан Какичашвили, который уже в 1971 году пришел к основным принципам голографической записи поляризации света.

За прошедшие годы грузинский ученый разработал теоретические и практические основы этого метода, а в 1974 году представил заключение и выводы в Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. Этим открытием Шермазана Какичашвили замкнулся круг и завершилось формирование голографии как метода.

Сейчас на очереди — изучение особенностей голографии и ее практическое использование. Несомненно, что голография получит широкое применение в науке, технике и искусстве. Сегодня она уже внедрена в кристаллографии, электронной микроскопии, некоторых областях медицины. И, может быть, недалек тот день, когда место редчайших музейных экспонатов займут их голографические изображения, что будет полезно по двум причинам: во-первых, музейные редкости будут храниться в гораздо лучших условиях, защищенные от пыли и вдали от посетителей, а, во-вторых, любой музей сможет иметь абсолютно точную голографическую копию любого экспоната.

В будущем голография окажет человечеству неоценимую услугу благодаря своей неслыханной «памяти»: теоретически маленькая голограмма может полностью вместить всю информацию БСЭ. Для того чтобы одно изображение не совпало с другим, достаточно варьировать длиной волны опорного луча и углом его падения. Но до сегодняшнего дня на одной голограмме практически было возможно записать всего лишь несколько изображений, сколь высоко бы ни была проводимость фоточувствительного материала. А после открытия Шермазана Какичашвили появилась возможность варьирования и поляризации, что позволяет максимально увеличить объем информации, записанной на одной голограмме.

Интересно и то, что с помощью голографии можно создать визуальные изображения несуществующих математических моделей. Для этого необходим компьютер, который определит «отраженную» от воображаемого объекта световую фазу.

Еще одна удивительная черта голограммы: любая ее точка хранит полную информацию о записанном объекте. Если разрезать запечатленное на фотографии лицо на две части, то на каждой половине останется пол-изображения, а если раздробить на мелкие кусочки голограмму, то с изображением ничего не сделается, оно лишь уменьшится в размерах, и мы увидим столько лиц, на сколько частей была разделена голограмма. Эта особенность голографии очень заинтересовала исследователей человеческого мозга. Профессор университета в Индиане Поль Пич изучил результаты изъятия и трансплантации отдельных частей мозга и пришел к выводу, что между работой человеческого мозга и механизмом голографии существует явная аналогия.

Громаднейшая роль голографии в науке не вызывает сомнений. В то же время она обязательно скажет свое слово и в искусстве. Наверное скоро, очень скоро появятся голографические декорации для театров. Но все-таки самая соблазнительная идея — это идея голографического кино. Представьте

себе объемный фильм, когда зритель сможет, не удовлетворившись кадром, предложенным оператором, увидеть и то, что спрятано, скажем, за деревом или стеной. Это даст режиссеру дополнительные возможности, но в то же самое время доставит ему и дополнительные затруднения. Однако пока трудности стоят лишь перед создателями голографического кино. Дело в том, что невозможно увеличить голограмму до тех размеров, при которых ее показ был бы возможен в зале, не потеряв при этом объемность и угол зрения. С другой стороны, очень трудно менять голограммы со скоростью 24-х кадров в секунду. Исходя из всего этого, Габор заявил, что голографическое кино — забота XXI века. Но у его грузинского коллеги несколько иное мнение: Шермазан Какичашвили и не пытался преодолеть трудности, неразрешимые, по словам Габора, в сегодняшних условиях. Он просто обошел их стороной и в 1969 году снял первый в мире голографический фильм. Фильм кукольный и длится всего лишь несколько секунд, но сейчас важно не качество или продолжительность фильма, а принцип, по которому его сняли.

Как ни парадоксально это звучит, но грузинский ученый в схему голографии — безлинзовой фотографии — опять ввел линзу. Только здесь линза очень большого размера, что, в свою очередь, опять создает определенного рода трудности, так как изготовление такой линзы крайне тяжело. Однако, как говорит сам ученый, для голографического фильма совсем не обязательна ее большая точность. Так или иначе, но путь голографической кинематографии, указанный Какичашвили, кажется очень перспективным и обнадеживающим. Работа продолжается.

Одно из фундаментальных открытий в голографии, создание круговой голограммы и разработка принципов голографического кино — не так уж это мало для одного ученого! Но Шермазан Какичашвили не останавливается на достигнутом и стремится осуществить все новые и новые идеи. Кто знает, сколько еще леопардов следует поймать за хвост...

— Всегда бывает так, — говорит Шермазан Дмитриевич, — что вокруг большого гриба обязательно расселяются и маленькие. У моего открытия есть такие же грибы-спутники. Каждый из них требует отдельного изучения. И в это время главное не устать, надо правильно рассчитать свои силы.

Я, естественно, заинтересовался основным направлением его дальнейшей работы.

— Сегодня главная задача нашей лаборатории, равно как и голографии вообще, — усовершенствование метода голографии и поиски путей ее практического применения. Возможности голографии неиссякаемы и безграничны. Мы до конца еще не знаем всех сфер ее применения.

И словно в ответ на это я вспомнил, что лишь вчера прочитал о том, что размеры голограммы ограничены.

— Размеры голограммы ограничены ровно настолько, насколько, скажем, размеры фотографии или возможности машиностроения: невозможно снять фотографию размером с Зем-

лю, или создать машину размером с Луну. Но из этого не следует, что возможности машиностроения и фотографии ограничены. Просто здесь сказывается своеобразное недоверие к новому начинанию, а потому всеобщая закономерность выдается за его недостаток.

— Некоторые ученые считают, что со временем XX век назовут «веком голографии». Что вы думаете об этом?

— Я думаю, что из всех значительных явлений XX века два являются наиболее важными: открытие атомной энергии и высадка человека на Луну. Все остальное на втором плане. А вообще открытие голографии можно приравнять к открытию радио.

— Настанет ли время, когда человек будет пользоваться прибором для снятия голограмм так же, как фотоаппаратом?

— Но ведь пользуемся мы сегодня фотоаппаратом? — вопросом на вопрос ответил мой собеседник и рассмеялся. — В свое время это, наверное, тоже было невероятным.

— Можно или нет делать фотографии с голограмм?

— Точно так же, как и с любых других объектов.

— А голограмму с голограммы?

— И это возможно. Вообще, можно делать все, что только придет человеку в голову.

— А возможна ли передача голограммы на расстояние? — я почему-то придал вопросу научную форму, хотя имел в виду просто голографическое телевидение.

— И это возможно. Телевидение будущего несомненно будет голографическим. Может, это и излишняя роскошь, но сама по себе весьма экзотичная.

Экзотичная! Шермазану Какичашвили явно доставляет удовольствие это слово, и, как я заметил, в нем сильно пристрастие ко всему необычному, экзотичному, и возникло оно еще в детстве.

Ему было лет четырнадцать, когда его увлекла астрономия. Потом у него появилось желание мастерить, и он начал делать астрономические приборы. Это желание и привело его в слесарный кружок Дворца пионеров. Кружком руководил Саша Маисурадзе.

«Этот человек очень скоро понял, что слесарное дело интересует меня постольку, поскольку оно необходимо в изготовлении астрономических приборов, и помогал мне, как мог. Я даже в университете не получил столько знаний, сколько мне дал дядя Саша. Это сказано не ради красного словца, все действительно так и было. Кроме того что он великолепно знал свое дело, у него еще было удивительное педагогическое чутье, совершенно необходимое в работе с детьми».

Потом Саша Маисурадзе преподавал труд в тбилисской 1-й средней школе, и я хорошо помню этого высокого, седого человека. В разговоре выяснилось, что мы с Шермазаном Дмитриевичем учились в одной и той же школе и у нас были одни и те же учителя по некоторым предметам, хотя, когда я поступил в школу, он уже оканчивал университет. Физике нас обоих учил Шота Абаишвили.

«Сама по себе физика меня не увлекала, а если я и интересовался этим предметом, то только потому, что он был нужен для астрономии. Полюбить физику мне помог Абашвили».

Потом случилось так, что Шермазан Какичашвили продолжил учебу именно на физическом факультете и к тому же по специальности теоретическая физика, хотя его больше увлекала астрономия и он предпочитал работать в области экспериментальной физики, коль скоро он имел с нею дело.

«Как видно, это решение было правильным: и физику выучил и любовь к астрономии не потерял».

Будучи студентом III курса, он руководил кружком астрономии во Дворце пионеров в 1957 году. И в течение всех этих лет скрипка была его неразлучной спутницей. Я спросил его, как уживались вместе астрономия, физика и скрипка?

— С физикой и астрономией я ее еще кое-как ухитрялся совмещать, а вот со слесарничеством — приходилось трудно. Представьте, что было с моими пальцами от единоборства со станком и тисками! «Брось ты слесарить», — все твердил мне учитель музыки. Я же, правда спустя почти восемь лет, бросил именно скрипку. Я был уже на IV курсе музыкального техникума, когда запретили учиться в двух вузах одновременно. Тогда почему-то и музыкальные техникумы считались высшими учебными заведениями, а то, кто знает, может и продолжил бы со временем учебу в консерватории. Техникум я бросил, но для себя иногда все-таки играл.

— А сейчас? Сейчас вы играете? — наконец я задал давно припрятанный вопрос.

— Сейчас уже нет. Даже смычок моль съела. Правда, одна моя приятельница подарила мне в день рождения новый смычок, но лучше бы она подарила мне свободное время, а смычок я бы купил сам...

Я смотрю на этого человека и все больше убеждаюсь: он был бы таким же хорошим скрипачом, какой он физик, ну а если бы он остался просто слесарем, то и там бы достиг фантастических успехов; за что бы ни взялся Шермазан Какичашвили, он все преобразовал бы, во всем сказал бы свое слово. Но его с детства увлекала астрономия, и после окончания университета он начал работать в Абастуманской обсерватории.

«Я считаю, что три года, проведенные в Абастумани, полностью все же не потеряны».

В обсерватории молодой специалист непосредственно был занят наблюдениями. Потом, словно сама по себе, родилась проблема: для фотографирования небесных тел необходима большая экспозиция, и если телескоп не будет смещаться, независимо от вращения Земли, на фотографии вместо точек получатся полосы, точно так, как отпечатывается на снимках ночного города свет от фар. Если мы имеем дело со звездами, то с подобной фотографии легко можно восстановить первоначальную картину, но при фотографировании сложных объектов, например Луны, мы не добьемся никаких результатов. Неужели не существует обратного процесса, который смог бы

восстановить искаженное или неясное изображение объекта? Этот вопрос уже подразумевал голографию. Сюда же добавилась и прочитанная в физической энциклопедии статья «Дифракционная волновая микроскопия», в которой Шермазан Какичашвили увидел весьма своеобразное, интересное и оригинальное явление.

«Это была очень интересная и соблазнительная идея — получить что-то из ничего. Все это было похоже на чудо. С того дня и зародился мой интерес к голографии».

Шел 1963 год. В то время Шермазан Какичашвили уже работал в Тбилиси, в Институте кибернетики.

— Вначале я думал, что Институт кибернетики — мое временное прибежище. Но потом, когда я получил возможность открыть лабораторию, то остался и, как видите, до сих пор работаю здесь.

— Да, но астрономия, ваше детское увлечение?

— Я и астрономии не изменил, обязательно вернусь к ней. Еще со студенческих времен у меня вертится одна космологическая проблема, которая намного важнее голографии. Когда-нибудь, наверное, я и для этого высвобожу время, а пока надо заниматься идеями в оптике и голографии.

А идеям этим нет числа. Их столько, что для некоторых из них Шермазан Какичашвили просто не может найти времени, и нередко бывает так, что он отдает их для воплощения другим. Честно говоря, я немного удивился такой щедрой раздаче идей и спросил, чем это оправдано. Но разве можно найти оправдание родителю, который отдает своего ребенка в чужие руки, даже если у него их тридцать? —

— Во-первых, если ты сам не можешь, пусть лучше ребенка вырастит другой, чем он попадет под машину! — ответил Шермазан Дмитриевич и продолжил: — Голография — наука молодая и каждый день приносит что-нибудь новое. Если ты сегодня чего-либо не заметил и не открыл, то завтра это сделает другой, и приоритет останется за ним. Один человек не может все охватить. А я хочу, чтобы приоритет принадлежал нашей лаборатории, Тбилиси, Советскому Союзу. Я думаю, что мои сотрудники это хорошо понимают.

С первого дня основания над лабораторией начали довлеть трудности: финансовые, организационные, материальные, моральные... Сперва с трудом достали лазер, без которого голография невозможна, потом вышла целая история с кристаллами рубина: они были присланы именно для этой лаборатории из Еревана. Их стоимость, естественно, оплатил институт и, видимо, по этому «праву» спустя восемь месяцев потребовал их обратно, чтобы передать другой лаборатории. К тому времени один из кристаллов уже был вмонтирован в уникальный лазер и достать его обратно без повреждения было невозможно. Во время вынужденного демонтажа кристалл действительно сломался. Тем не менее он был передан другой лаборатории, которой кристалл не нужен был ни целый, ни, тем более, сломанный.

Шермазан Какичашвили не раз испытал на себе глубоко укоренившийся у нас «научный цинизм» (по его же выраже-

нию), равнодушие и тысячи разных унижений. А как иначе назвать то, что за 3,5 часа пропусков (именно так написано в приказе) строгий выговор был объявлен человеку, который ночи и выходные дни проводил и проводит в лаборатории; когда распечатываются адресованные ему письма; когда те, кто в обязательном порядке должен заботиться о благе науки, считают Шермазана Какичашвили всего лишь человеком, делающим снимки, чуть ли не фотографом!..

— Если мы подведем итоги тому, сколько понадобилось сил, чтобы выдержать или обойти тысячи разных трудностей или искусственно созданных препятствий, большая половина моего времени окажется потерянной, — говорит ученый, которому не хватает времени для воплощения собственных идей и именно из-за этого он тщетно старается сохранить приоритет открытия или изобретения за своей страной!

Но, несмотря ни на что, лаборатория с самого начала сумела достичь успехов и приобрести значительный авторитет в научных кругах страны. В первый же год создания лаборатории здесь сумели получить первое голографическое изображение, спустя два года Шермазан Какичашвили снял первую в мире круговую голограмму. Затем последовала успешная попытка снятия голографического фильма и, наконец, уже нашумевшее открытие, которое, это надо отметить особо, было сделано вне плана работы лаборатории. Параллельно в лаборатории изучают особенности использования голографии в отдельных отраслях медицины, работают в направлении акустической голографии (в этой области лаборатория единственная в Советском Союзе), совершенствуют и разрабатывают новые методы, исследуют, ищут, уточняют...

Перед уходом я еще раз посмотрел голограммы, и обычные и круговые. Запечатленное на стеклянных пластинах чудо с большим успехом было встречено на международных ярмарках и выставках в Париже и Праге, Измире и Страсбурге, Лионе и других городах. Это я знал с самого начала, и поэтому спросил, в каких еще городах побывали его голограммы.

Шермазан Дмитриевич рассмеялся и ответил:

— Мне легче перечислить те города, в которых наши голограммы еще не побывали!

Я тоже рассмеялся и вспомнил программный афоризм Шермазана Какичашвили, столь лаконичный и экзотичный:

«Не хватай за хвост леопарда, а если схватил — не отпускай».

Перевод Тамары ПАПАЛАШВИЛИ

Кетеван КИНЦУРАШВИЛИ

О ГРУЗИНСКОЙ ШКОЛЕ СЦЕНОГРАФИИ

Грузинское театральное-декорационное искусство — предмет пристального внимания. Театральные художники Грузии пользуются широкой популярностью, групповые и ретроспективные выставки их работ с большим успехом проводятся в городах Советского Союза и находят широкий отклик во все-союзной прессе.

Наша цель — ознакомить читателя с высказываниями московских и ленинградских специалистов, собранными при работе над вопросами грузинского декорационного искусства. Не берясь анализировать мысли, встречающиеся в прессе и стенографических отчетах, постараемся лишь по возможности систематизировать их, ограничиваясь общими вопросами, так как охватить в одной статье материал, касающийся отдельных художников, почти невозможно.

Специалисты единодушны в мнении, что в Грузии существует национальная сценографическая школа. Ее расцвет часто объясняют «склонностью всего грузинского искусства к театральности, эффектности в самом высоком смысле». Основное, что привлекает внимание к этой школе, — «четко выраженная национальная самобытность», «гармоничность соединения традиций и новаторства» (Э. Кузнецов. Обсуждение выставки. 23.3.1976. Ленинград. Стенографический отчет и «Творчество», № 8, 1979).

Об этом свидетельствуют и слова Г. Коваленко: «Сила, неповторимость и своеобразие современной грузинской декорации во многом обусловлены тем, что это не просто явление, ... возникшее ни с того ни с сего, но явление, удивительным образом вобравшее в себя и преобразившее вечные истины гру-

зинского искусства — не только театрального» («ДИ СССР», № 4, 1978 и № 6, 1979).

Но в то же время, это «искусство... отнюдь не замкнутое в себе» (Э. К.). Грузинские сценографы — «художники, глубоко эрудированные, знающие и мировое искусство, не ограничивающие свое творчество узкими рамками национальной замкнутости» (Л. Златкевич. Обсуждение выставки. 23.3.1976. Ленинград. Стенографический отчет). А «умение вобрать... именно то «чужое», что отвечает потребностям собственного развития, собственного характера» (Э. К.), обуславливает способность грузинского искусства «оставаться грузинским, несмотря на самые крайние проявления любых экспериментов» (Г. К.).

Суммируя вышесказанное, словами Э. Кузнецова можно отметить, что, находясь в русле передовых новаторских исканий всей советской сценографии, грузинские художники демонстрируют приверженность глубокой и органичной национальной традиции и в ней черпают силы своего новаторства. Говоря о традиции, критики справедливо упоминают корифеев грузинского декорационного искусства И. Гамрекели и П. Оцхели.

Если учесть, что, по мнению некоторых специалистов, «грузинской сценографии наиболее удаются два жанра — трагедия и фарс» (Г. К.), неудивительно, что другие указывают на «органичное сочетание в ней, с одной стороны, веселой импровизационной комедийности и, с другой, — романтического пафоса и глубочайшей трагедийности» (В. Березкин. «Заря Востока», 25.3.1977).

О грузинской школе сценографии как о школе живописной декорации говорят многие искусствоведы: «каждый грузинский сценограф прежде всего живописец» (Г. К.), «работам художников Грузии свойственна яркость, насыщенность красок» (М. Пожарская, «Искусство», № 9, 1979), живописность и конструктивность у них сливаются в одно целое (Э. К.).

Другая характерная черта — «монументальность — одна из тех особенностей современной грузинской сценографии и одно из тех поразительных ее качеств, которые уходят своими корнями в древность, в мистирию, в народный праздник» (Г. К.).

По мнению В. Березкина, особенность грузинской школы сценографии заключается не столько в характере сугубо образительного мастерства, сколько в своеобразии театрального мышления, именно в живой и необычайно тесной связи с традицией народного игрового театра, которую художники развивают на основе наиболее прогрессивного метода действенной сценографии.

Тем самым сценографы, как считает Э. Кузнецов, «вновь и вновь доказывают, каким сильным источником творчества может быть национальная принадлежность».

Высказывая разные точки зрения, критики сходятся в мысли, что грузинская декорационная школа выделяется единым, цельным пластическим лицом, что явление отнюдь не частое (С. Бархин. Обсуждение выставки. 23.3.1976. Ленинград. Стенографический отчет).

«Художники... едины по своему творческому кредо, но остро современному подходу к явлениям, по уменю с позиций сегодняшнего дня осмыслить прошлое и подать его через призму своего собственного видения мира», считает Л. Златкевич.

Однако при общности позиций, «тут каждый художник — отчетливая индивидуальность» (Э. К.), «все они разные и в каждом из них много достоинств» (Э. Кочергин. Обсуждение выставки. 23.3.1976. Ленинград. Стенографический отчет).

Вопрос национального своеобразия — вопрос сложный. И неудивительно, что мысли, высказанные о грузинской сценографии в статьях и на обсуждениях выставок, иногда недостаточно обоснованные, частью излишне восторженные, не отличаются четкостью формулировки, нуждаются в конкретизации. Например, возникают вопросы: что подразумевается под «сочностью национального колорита» (Т. Михайлова «Театр», № 4, 1978); в чем выражается «эле уловимый национальный колорит»; в чем Шекспир и даже Брехт «в руках грузинских художников становятся грузинами» (Э. К.); или же — какие именно представления о сценографическом образе «так убедительно и значимо сформулировали в своих работах И. Гамрекели и П. Оцхели» (Г. К.)? Вероятно, это объясняется тем, что для большинства критиков грузинская сценография не предмет независимого изучения, а повод к интересным суждениям, которые, со своей стороны, наталкивают на более глубокие исследования. Вопросы, затронутые указанными авторами, должны найти ответ в будущих научных трудах, необходимость разработки которых остро назрела, ибо, по словам того же Э. Кузнецова, «грузинская сценографическая школа 1960—70-х годов заслуживает серьезного изучения и надо надеяться, что она будет рассмотрена как одно из ярких проявлений расцвета национальных культур нашей страны».

ПРИТЧА О ЛЕСЕ

Сначала все просто. Нико Бернадзе, петербургский студент, вызван на родину, в горное селение. У местных крестьян хотят оттяпать окрестный лес. Кому, как не будущему юристу, заступиться за неграмотных? Мать отдает Нико последние драгоценности. Учитель вручает ему ветхие, изъеденные временем документы. На глазах у молчаливых, торжественных односельчан поцеловал Нико святую хоругвь, повернулся и пошел — на борьбу с неправотой. На подвиг, может быть, на гибель он отправился так, как идут прогуляться, — без долгих слов, налегке, без дорожных вещей, без шляпы, даже без завтрака в узелке, традиционном для героя фольклора.

Тут мы, опомнившись, начинаем понимать, что с самого начала все было не так просто. Станный, бестеновой, призрачный свет ровно заполняет пространство кадра, так что решительно не определить, утро это, вечер или полдень. И странен этот когда-то богатый дом, сейчас забитый случайными вещами, скрипучий, гулкий, готовый распасться, как халупа в трущобном переулке. И зловеще, пугающе неподвижны плети кустарника — кажется, что тайный враг постепенно завоевывает пространство двора, проникнув за худую изгородь. И какая щемящая, трагическая нота вдруг отозвалась в хрупкой красоте старой Матери, прикованной недугом к аристократическому креслу. А сам юный приезжий? Его походка (будто кто-то другой переставляет ему ноги), сутулость не по годам, незабываемый взгляд печальных глаз, одновременно и кроткий и пронзительный? И что за странное пальто до земли, с которым он так и не расстанется нигде, ни дома, ни в присутственном месте, ни в гостинице, из которого его лишь насильно вырвут злоумышленники?.. На каком барахольном раскладе приобрел он эту вещь, явно себе не по росту? Или — фантастическая догадка — не досталось ли оно ему с плеч Родиона Романовича Раскольникова? Тот, помните, в «Преступлении и наказании» под таким же широким балахоном приспособлял петлю для тайного топора...

«Грузинская хроника XIX века» из тех картин, в которых первый, поверхностный слой несет в себе очень мало. Фабула здесь на диво коротка и рассказана броским пунктиром, когда очевидные звенья безболезненно опускаются. Но не потому,

что фильм тороплив. Совсем напротив. Лаконичность и четкость истории ему нужна, чтобы можно было заняться частностями, вылепленными с вдохновенной тщательностью на старых миниатюрах. В музыкальной плавности очень важны частые, прекрасно затянувшиеся паузы, когда основную драматическую тему ведут два скрестившихся взгляда, странный натюрморт на чиновничьем столе, злобещая геометрическая правильность сада за спиной мирно беседующих персонажей, когда крупный план, без преувеличений, становится полноценным визуальным монологом, которому нелегко подобрать подходящий словесный адекват.

В результате не событие становится сутью, а рассказ об этом событии, и подробности, по законам поэзии, расширяют, осмысливают происходящее или даже поворачивают его совсем иным концом.

«Хроника» на поверку оказывается совсем не хроникой, а скорее легендой, сагой или, может быть, даже притчей, где главным приемом становится иносказание. Фотография фильма трезва, даже жестока, она не допускает кривотолков, сторонится дымки и нерезкости. Но предметы, попадающие в кадр, своей совокупностью создают символическое поле напряжения. — и тогда малое становится большим. Пропал у Нико чемодан с пролетки — шутница-река вернула похищенное. Но был чемодан полон книг. Горная, богатая минералами вода съела печатать. Уцелел только один, навертное, самый любимый том, перевязанный крест-накрест бечевкой. Это — Герцен, его сборник «С того берега». Бесцензурное сочинение революционера-эмигранта, истового врага деспотизма. Вся остальная мудрость веков не выдержала проверки в этом, совсем не пейзажном мире.

Фильм зовет к внимательному истолкованию чуть не каждого кадра. Старую повесть можно прочесть по ходу внешних событий, можно было бы дополнить ее, скажем, песнями и плясками тех далеких лет или, напротив, пойти к цифрам и фактам, перечислить данные о крестьянских бунтах, вспыхивавших по всей огромной империи из-за леса, из-за земли, из-за права ловить рыбу в ручье или дышать этим воздухом. Сценаристы и режиссер пошли иной дорогой. Жизнь старой Грузии предстает в их повествовании не бытовыми, не этнографическими, не экзотико-романтическими подробностями, а как бы в разложении на составные поэтические множители, в анализе первородных нравственных начал.

Просвещенческий гуманизм в своей книжной модели — эта норма осталась в далеком северном городе, в университетской библиотеке. Здесь, в разгаре будущих событий, на нее так же мало можно опереться, как сверить цитату по чистой, смытой странице. Сельский мир живет по иным категориям. Здесь ты должен отказаться от себя, стать этой массы частью, а так как тебе больше дано, то и стать заступником чужих бед. И не оттого ли так ходит Нико, что и впрямь его ведет постоянная, безличная сила, не знающая пощады в своем служении добру?

Третья нравственная норма, — точнее, конечно, безнравственная, — притаилась в маленьком чиновничьем городе. Это отсюда злым туманным мороком нависает неопределенная угроза — над лесом, горами, над каждым из живущих. Да самому себе город беспощаден. Пустые улицы. Серые дома. Если и мелькнет прохожий, то позже откроется как соглядатай. А вот и казенное учреждение с отвратительным, смрадным коридором, с комнатками, переполненными бумагами и папками, с архивом вроде склада и тут же — белье в тазу, тихий девичий взгляд, мирная клетушечка семейного уюта. Тут живут! Вот что самое страшное. Фильм, вместе с Нико, не устает поражаться этому обстоятельству.

Пословицу про «бумажные души» отвергнуть легко. Да она и придумана, чтобы уйти от вопроса. Такая душа, бумажная по итогам деятельности, внутри-то все-таки человеческая. Как же в ней совмещается несовместимое, как существует она в условиях, в которых существовать невозможно?

Обжились, приспособились, окопались. Поливают кактусы, завтракают на казенном столе, развернув салфетку поверх бумаг, тайком подглядывают заветную картинку — не какую-нибудь там эротику, абсурдистский рисунок Магрита: курочка размышляет, не позавтракать ли ей собственным яйцом... А из-за шкафа выглядывает беленая металлическая спинка кровати. А книги на верхней полке полуприкрыли портрет, вряд ли официальный, скорее что-то лирическое, в сентиментальном повороте...

Их, чинов царской бюрократии, многократно изображали трубами, надменными самодурами. Режиссер А. Рехвиашвили разглядел в этой житейской модели кое-что пострашнее. Хам — он хамом и остается, а этот серьезный, доброжелательный человек с умными, тихими глазами мог бы быть бог знает кем! Недаром он так похож на вальяжного оперного певца. Так нет же, с абсурдистской старательностью он нумерует страницы «дел», листает дряхлые документы, устало отсылает просителя на завтра, еще на завтра, еще на несколько дней... Какой-то неведомый, вечно отсутствующий Директор сочинил резолюцию: «Дело подлежит удовлетворению, если опираться на данные, но дело удовлетворению не подлежит». В конторе есть, оказывается, свой специалист по почерку Директора. Но даже он, воспроизведя этот шедевр казенной мудрости, не в силах растолковать его на словах. Впрочем, если надо, он готов все изложить письменно — и там-то все сойдется.

Как оно сходится, не там, на бумаге, а в наших душах, — вот что занимает повествователя. С его подсказки мы понимаем: они — на другом жизненном режиме, как бы в спячке. Искренность — на миллиметр, доброта — на миллиметр, разум — на миллиметр, не больше, чтобы при нужде тут же вернуться на правильную, то есть указанную начальством дорогу.

Но есть у этого противоестественного образа жизни еще и своя изнанка, кулисы. Там как раз никакой невнятицы, никаких абсурдистских сочетаний несочетаемого. Там все грубо, зримо и настолько ясно, что можно не заканчивать предложения — собеседник понял, кто опасен, как его надо устранить

и кого придется подобрать для этого разбойного налета. За-прави́лы иностранной концессии, отсуживающие лес для своих барышей, умеют в торжественной речи, над ленточкой, кото-рую предстоит перерезать, говорить торжественно и непонятно (гротесковский, почти карикатурный эпизод). Но вот они в своей среде, на загородном пикнике, за столами в окружении бескрайнего кустарника.. Фильм и раньше не был строг по части исторической оправданности одеяний, а здесь он допускает саркастический, бьющий по глазам анахронизм. Концессионеры одеты по сегодняшней моде. Будто только что шиты эти узкие, расклешенные брюки, эти пиджаки с разрезами, по шведским, итальянским, французским журналам. И галстуки не прошлого века, нынешнего. И тон разговора — не вековой давности, теперешний, с учетом, что для дельца время — деньги.

Знакомое становится верхом отстранения, в привычном мы видим самый разнузданный маскарад.

Эффективный ход, но, честно говоря, удар получился слабее замаха. Притча в этих эпизодах теряет многозначность, сужается до жесткого одноцветного плаката. Значит, и весь туман накануне, вся эта вымороченность казенного городка — всего только дым в глаза, маскировка откровенного заговора?

Зато с удвоенной эпической силой решены эпизоды поимки Нико и, в особенности, его поиски Девушкой, бесстрашной и неостановимой, как сама невинно обиженная душа в скандинавских народных сагах. Всем ты нужен, заступник Нико, начинающий, незадачливый мессия, все ищут тебя, для приличия или всерьез, беспокоясь о себе или о деле. Рьяный, разгневанный Учитель, обеспокоенная Мать, скучающий, рассеянный Чиновник... И снова — Девушка, глядящая с экрана в зал с немым укоряющим вопросом, а в глазах ее — вся боль земли, все слезы обиженных, разлученных и угнетенных.

Собственно, здесь, на горьком, терзающем душу многоточии, и обрывается фильм. Последующий монтажный кусок, когда все село, с мотыгами, колыями и берданками, шумно заполняет посветлевшую лесную чащобу, — это уже из другого фильма, из истории бунта, безнадежного, но правого. А нам рассказывали другую повесть — о неподеленном лесе, о Заступнике, честном, но беззащитном в своей честности, что не в силах оказался одолеть вымороченный чиновный мир мертвых душ..

Такие вот мысли приходят в голову на просмотре режиссерского дебюта Александра Рехвиашвили, — одного из самобытнейших произведений советского кино последних лет, где каллиграфическая виртуозность стала естественным способом изложения глубоко оригинальной авторской мысли.



В ГОСТЯХ У НОДАРА ДУМБАДЗЕ

В первый день Нового, 1981 года кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Э. А. Шеварднадзе посетил видного грузинского писателя Нодара Думбадзе, которому накануне были вручены знак и диплом лауреата Ленинской премии, и поздравил его с этой высокой наградой Родины.

Товарищ Э. А. Шеварднадзе высоко оценил литературную и общественную деятельность писателя, особо подчеркнул, что его романы, повести, рассказы, публицистические выступления вносят большой вклад в духовное формирование наших современников. Всем своим многогранным творчеством писатель служит высоким идеалам партии, великому делу строительства коммунизма в нашей стране, способствует претворению в жизнь курса ЦК КП Грузии на окончательное оздоровление морально-психологической обстановки в нашей республике. Роман Н. Думбадзе «Закон вечности», за который писатель удостоен Ленинской премии, народ по праву воспринял как проявление высокой нравственности советских людей.

Товарищ Э. А. Шеварднадзе пожелал писателю новых творческих успехов в 1981 году, крепкого здоровья и большого счастья.

Н. Думбадзе поблагодарил Э. А. Шеварднадзе за оказанное внимание и сказал, что счастлив столь высокой оценкой его труда и творческой деятельности Коммунистической партией и правительством СССР.

Вместе с товарищем Э. А. Шеварднадзе Н. Думбадзе поздравили с Новым годом и вручением Ленинской премии товарищи Г. Н. Енукидзе и Т. Н. Ментешашвили.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ—ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Секция научного совета диалектологии и истории языка Академии наук Грузии, Институт языкознания Академии наук республики и Горийский государственный педагогический институт имени Н. Бараташвили провели в Гори вторую республиканскую научную диалектологическую сессию.

Научную сессию вступительным словом открыл академик Академии наук Грузинской ССР Ш. Дзидзигури.

За три дня работы сессии были заслушаны доклады по актуальным проблемам диалектологии.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ С. ДЖАНАШИА

В Сухуми прошла юбилейная научная сессия, посвященная 80-летию со дня рождения ака-

демика Симона Николаевича Джанашиа, организованная по инициативе Академии наук Грузинской ССР, Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. Гулиа АН Грузии и Абхазского государственного университета имени А. М. Горького.

Сессию вступительным словом открыл президент Академии наук Грузинской ССР Е. Харадзе.

Были заслушаны доклады: о жизни и деятельности С. Джанашиа — академика АН республики Г. Меликишвили, «Джанашиа-языковед» — академика К. Ломтатидзе, о роли ученого в становлении Абхазского института языка, литературы и истории, в воспитании национальных научных кадров — члена-корреспондента АН Грузинской ССР Г. Дзидзария и другие.

Здесь же, в Сухуми, состоялось выездное заседание президиума Академии наук, посвященное ряду организационных вопросов.

ИЗДАНО В ПОЛЬШЕ

В издательстве «Искры» (Варшава) вышел в свет поэтический сборник Михаила Квливидзе, озаглавленный «Три дождя». Книжке предпослано предисловие ее составителя и редактора Ежи Литвинюка, которое, думается, будет интересно для наших читателей. Предлагаю его перевод:

«Пробивающаяся в волосах седина, раньше времени сработавшиеся руки, голые стекла очков. Химия? Ки-

бернетик? По чему определить, что он грузин?»

Есть что-то такое Удьяка. Широкая и привлекательная, как грузинское гостеприимство, сверкающая и достойная, как материя традиционных тостов.

«Я не теоретик».

«По моему мнению поэзия — это попытка возвращения нарушенной гармонии жизни».

«Мне кажется, что главной задачей современной поэзии является моральное и эстетическое воздействие на человека, чтобы сделать его достойным той силы и свободы, которой он сегодня располагает».

Михаил Квливидзе окончил Тбилисскую академию художеств. Перевел на грузинский язык «Сирано де Бержерака». Переводит также польских поэтов. Часто посещает нашу страну. Год рождения — 1925. Остальная биография — в стихах.

К удивительным совпадениям между явлениями в культуре отдаленных подчас народов поэт возвращается упорно, это его — можно сказать — навязчивая идея. Речь идет не столько об усатых предках с кривыми саблями или даже о духовном родстве творцов «Витязя в тигровой шкуре» и «Орландо безумного», сколько о сегодняшнем дне, в котором взрыв технического прогресса может стать равно как источником «силы и свободы», так и уничтожения рода человеческого. Отсюда беспокойство и сознание долга у поэта, темик которого был издан в Италии под знаменательным заголовком

«Поэзия обнаженного сердца».

Однако ж «стихи это не школьные учебники, поэзия — не педагогика, поэт не учитель и даже не проповедник. Поэт это художник».

Это линии защиты поэзии и самого себя, круг самоопределения. На скрещении эпох и культур, между обязанностью гражданина и художника поэт сохраняет равновесие, стоит на собственных ногах.

Древний мир передал нам не одну легенду о рае земном. Однако же чем была бы легендарная Колхида без сегодняшней Грузии? Это некая эстафета сквозь деяния, полные крови и уничтожения, перенесенная в сегодняшний день совместным усилием природы и человека. И удивляйся после этого жизнестойкости древнего обычая!

Квливидзе не является трубадуром традиции в ее формальных проявлениях, но тем внимательнее он прислушивается к ее духу. Его впечатлительность — это индивидуальный дар, его гру-

зинский романтизм — это не наследственное, отблеск рыцарства, хоть давно уже без тигровой шкуры...».

В сборнике собраны стихотворения «Телефон», «Стихи», «Весенний стих», «Бегство от тебя в Мцхета», «Баллада о любви», «Ушба», «Гагра» и другие. Их перевели известные польские поэты Виктор Ворошильский, Анатолий Стерн, Северин Поллак, Анджей Мандалаян...

В издательской аннотации, в частности, говорится: «Он один из самых выдающихся современных грузинских поэтов. Его стихи переведены на многие языки. Польскому читателю они известны по переводам в литературной прессе».

Михаил Квливидзе представлен шестью произведениями и в двухтомной антологии советской поэзии «Стихи ста народов», изданной Государственным издательским институтом в Варшаве в 1979 году.

А. ГЕРШТЕНБЛИТ

АЛИМОНАКИ Лери Александрович. Род. в 1940 г. Окончил технологический факультет сельскохозяйственного института. Член СП. Автор ряда книг и критических статей о современной грузинской поэзии.

БАТИАШВИЛИ Гурам Александрович. Род. в 1938 году. Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Драматург, литературный критик, переводчик. Автор пьес «Кинотрамм вкусного хлеба», «Лали, любовь и другие», «Долг» и др., сборника литературно-критических статей «Потоки», переводчик с турецкого произведений Назыма Хикмета, Сабахатдина-Али, Азиза Несина.

БЕСТАВАШВИЛИ Анаида Николаевна. Окончила Литературный институт им. Горького, преподает в нем. Автор многочисленных переводов и статей о литературе и искусстве.

БИБИЛУРИ Тамаз Александрович. Род. в 1934 г. Окончил ф-т журналистики ТГУ. Печататься начал в 1958 г. Его первая книга рассказов и очерков «Скоро!» вышла в 1975 г. Он автор нескольких сборников рассказов, романа и телевизионных пьес. На русском языке издан сборник его рассказов «Маска». Отдельные рассказы Т. Бибилури переводились на украинский язык и публиковались за рубежом.

БОБУЛОВ Камбаралы. Род. в 1936. Поэт, прозаик, литературный критик. Кандидат фи-

лологических наук. Член международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Член Союза писателей СССР с 1959 года. Автор повестей «Девушка с юга», «Чужой человек», сборников стихов «Остров любви», «Утренние зори» и сборников критических статей «Литературно-жизненные размышления», «Литература и время», «Литература и фольклор» (на киргизском языке), «Проблема, традиция и новаторство в киргизской прозе» (1966), «Проблемы реализма в киргизской прозе» (1960) и «Критика и литературный процесс» (1976) — на русском языке.

ГВЕРДЦИТЕЛИ Гурам Евстафьевич. Род. в 1930 г. Критик, кандидат филологических наук. Заведующий отделом современных литературных процессов Института истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР, автор ряда книг и монографий.

КАУФОВ Хачим Хабасович. Род. в 1940 г. Кабардинский писатель, автор восьми сборников документально-художественных повестей, рассказов, стихов, очерков, статей о видных деятелях литературы Кабардино-Балкарии, знаменательных явлениях истории культуры народов Кавказа.

КИНЦУРАШВИЛИ Кетеван Семеновна. Окончила факультет искусствоведения Тбилисской академии художеств. Публиковалась в периодической прессе, в журналах «Декоративное искусство», «Сабчота хеловнеба», «Цискари». Работает в основном над вопросами сценографии.

НАДИРАДЗЕ Колау (Николай) Галактионович. Род. в 1895 г. Один из видных представителей грузинского символизма. Окончил юридический факультет Московского университета. Первая книга вышла в 1920 году. Автор нескольких сборников стихов и прозы. Переводит на грузинский язык стихи русских поэтов.

НАЦВЛИШВИЛИ Паата Теймуразович. Род. в 1952 г. в Тбилиси. Окончил в 1974 г. отделение журналистики Тбилисского государственного университета. Член Союза журналистов СССР. С 1971 года выступает в грузинской периодической печати со стихами, очерками, рассказами — некоторые из них переведены на русский, армянский, азербайджанский, болгарский, немецкий и другие языки братских народов. Вышло два сборника его очерков — «Пусть всегда будет солнце» и «Бумажный журавлик».

НЕРЛЕР Павел Маркович. Род. в 1952 г. Поэт и критик. Автор работ о русско-грузинских литературных взаимосвязях.

ОСИНСКИЙ Владимир Валерианович. Род. в 1932 г. Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Печататься начал в 1952 г. Автор произведений, публиковавшихся в республиканских и союзных изданиях и сборниках. Переводился на японский и венгерский языки. В 1975 г. вышла его книга фантастических рассказов и повестей «Что там?»

ПЕТРИАШВИЛИ Гурам Миленьевич. Род. в 1942 г. Окончил кинопорежиссерский факуль-

тет Тбилисского театрального института. Автор поэтических сборников, сборников сказок, а также критических статей о поэзии.

СТРУК Арсентий Данилович. Род. в 1935 г. Поэт, прозаик, критик и переводчик. Автор стихотворных сборников, книги художественных очерков и статей.

ТУРНАВА Сергей Эрастович. Род. в 1914 г. Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник Института истории грузинской литературы им. Ш. Руставели АН ГССР. Член-корреспондент Центра культуры Артюра Рембо во Франции. Работает в области исследования грузино-зарубежных литературных взаимосвязей. Автор семи книг, научных работ и критических статей.

ЧЕИШВИЛИ Реваз Бенедиктович. Род. в 1933 г. Окончил филологический ф-т ТГУ. Автор нескольких книг прозы, а также сценариев. Первая книга была издана в 1961 г. В переводе на русский язык вышел сборник его рассказов «Последнее лето в Цхалтубо» и роман «Мой друг Нодар».

ЭБАНОИДЗЕ Александр Луарсабович. Род. в 1939 г. Окончил Литературный институт им. Горького. Писатель и переводчик. Его роман «Брак по имеретински», удостоенный первой премии журнала «Дружба народов» за 1976 г., переведен на 13 языков, в том числе: французский, испанский, немецкий, польский, чешский, словацкий, эстонский, литовский и др. В настоящее время закончил работу над новым романом «Где отчий дом».

ОТ РЕДАКЦИИ: Статья Тамаза Чиладзе «Галактион Табидзе» опубликована в № 12 за 1980 год в переводе Аяанды Беставашвили.

40. 12/2



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

На первой странице обложки: Окно северного фасада храма в Ошки.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურისა და ხელოვნების“

— უკველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და ხელოვნების ბოლიტაკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

გავრდის 1957 წლის ივნისიდან. № 1, იანვარი, 1981 წ.

Сдано в набор 2.XII.1980 г. Подписано к печати 26.I.1981 г. УЭ 01506. Формат 84×108¹/₃₂. Высокая печать. Печ. л. 7,0 — усл. печ. л. 11,97. Уч-изд. л. 9,4. Тираж 7.500 экз. Заказ № 3110. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

«ГРУЗИНСКИЕ РОМАНТИКИ». Сборник переводов стихотворений. Вступительная статья Г. Асатиани и Т. Буачидзе. Ленинград, 1980, 431 с. (Б-ка поэта. Малая серия. Изд. 3-е). 50.000 экз. 1 р.

«МЕРАНИ»

ДЖАПАРИДЗЕ Р. «Дым Отечества». По Бельгии и Нидерландам. Размышления и статьи. Авториз. пер. с груз. Тбилиси, 1980. 411 с. 20.000 экз. 1 р. 60 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ПЕТРИАШВИЛИ Г. «Сказочные истории маленького города». Послесл. Т. Мамаладзе. Рис. В. Нагаева. Москва, 1980. 95 с. с ил. 150.000 экз. 40 к.

«МЕЦНИЕРЕБА»

КИКНАДЗЕ Р. «Очерки по источниковедению истории Грузии». Парсадан Горгиджанидзе и «Картлис цховреба». Тбилиси, 1980. 201 с. 2.000 экз. 1 р. 90 к.

«АЛАШАРА»

ЧКАДУА Ш. «Супружеская жизнь». Повести и рассказы. Пер. с абх. Сухуми, 1980. 227 с. 30.000 экз. 60 к.

ИНАЛ-ИПА Ш. «Страницы абхазской литературы». Статьи, очерки и выступления. Сухуми, 1980. 249 с. 1.000 экз. 80 к.

